М. Покровскій

II - 17010

Проф. 52

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

II - 17010

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

в 4-*х*
ТОМАХ

ОГИЗ

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

III
ТОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1933

ГЛАВА XI.

МОНАРХИЯ XVIII ВЕКА.

1. Бироновщина.

Верховный тайный совет был низвергнут шляхетством. Казалось бы, с его падением давно подготовлявшаяся дворянская реакция должна была найти свое политическое завершение: власть должна была перейти в руки того класса, который при Петре должен был поступиться ею в пользу коалиции крупных землевладельцев с владельцами торгового капитала. Это было бы до такой степени естественно, что многим историкам кажется, будто именно так и случилось. Собравши воедино кое-какие меры императрицы Анны, шедшие навстречу пожеланиям шляхетских проектов 1730 г., выводят заключение, что Анна, не согласившись поделиться с дворянами властью, вознаградила их за то уступками в социальной области. Облегчена была будто бы воинская повинность—как тем, что было сформировано два новых гвардейских полка, Измайловский и Конный, так что для дворянской молодежи очистилось больше места в гвардии, где служить было приятнее, нежели в армейских полках,—так и тем, что был учрежден кадетский корпус, откуда молодых дворян выпускали на службу прямо офицерами. Самая служба стала легче и притом ограничена известным сроком—впрочем, как признают все историки, ограничена, пока что, на бумаге. Отменен указ о майорате, будто бы чрезвычайно стеснявший дворянство. Ссылаются и на новый порядок взимания подушной подати, платившейся, как мы знаем, за крестьян их помещиками и потому интересовавшей последних не менее, чем первых. Эта ссылка есть уже чистое недоразумение: Анна закрепила тот способ сбора подушных, какого с колебаниями держались верховники. Констатируя неуспех меншиковской меры 1727 г.—передачи сбора подушных из рук военного в руки штатского на-

чальства,—благодаря которой «многая на крестьянах доимка запущена», что будто бы и самим крестьянам «к большему разорению, а не к пользе произошло», именной указ 31 октября 1730 г. категорически восстановляет петровские порядки, предписывая «тот с крестьян *подушный сбор положить на полковников с офицеры*, по прежнему дяди нашего и государя определению...» До 1735 г. по всей России действовала «экзекуция для сбора подушных денег», правившая их с такой свирепостью, что правеж этот в памяти масс остался едва ли не самым ярким признаком «бироновщины». На самом деле инициативе, кажется, именно Бирона принадлежит состоявшаяся в январе названного года отмена «экзекуции»[1]. Но мотивы одного, современного этой мере, проекта указа свидетельствуют, что и тут нельзя видеть победы дворянской политики. Нам известно, говорит императрица в этом замечательном проекте, что доимка учинилась «как от слабости и попущения будучих на штабных дворах офицеров, *так и от некоторых бессовестных помещиков*», которые «происком своим с начала 1724 г. никогда сполна, а иные и ничего не платили, и все оные не столько старание имели ту государственную подать исправно платить, сколько *нерассудно крестьян своих многими излишними работами и положенными оброками отягощать, не чиня им в нужный случай никакого вспоможения*, от чего крестьяне их пришли в худшее состояние...» Опубликовавший этот проект исследователь справедливо догадывается, что кабинет министров «задержал указ, боясь раздражить свое сословие». Тем более, что у этого сословия было уже достаточно поводов к раздражению. Донесения иностранных дипломатов и бумаги кабинета министров весьма согласно и основательно разрушают предрассудок насчет того, будто бы воинская повинность шляхетства стала при Анне легче. По поводу образования Измайловского полка—якобы «популярной» шляхетской меры—вот что писал английский резидент Рондо: «Ее величество формирует новый гвардейский пехотный полк, который имеет состоять из двух тысяч дворян; полковником же его назначается генерал-майор граф Левенвольд; *все офицеры набираются из ливонцев или иноземцев*—это будет так называемая лейб-гвардия ее величества. То будет третий гвардейский полк после Преображенского и Семеновского; но так как предполагают, что этот полк станет любимым полком государыни, *гвардейцы двух прежних полков очень недовольны*. Каковы будут последствия этого шага, покажет время: полки Преображенский и Семеновский—сильные полки; в составе их семь тысяч человек, из которых некоторые принадлежат к знатнейшим русским фамилиям». В другом донесении Рондо прибавляет маленький штрих, дополняющий физиономию но-

[1] См. *В. Строев*, «Бироновщина и кабинет министров», М. 1909; стр. 108 и сл.

вой «лейб-гвардии ее величества»: «около 800 человек этого полка уже прибыли *из Украины*», пишет он. Таким образом, не только офицерский корпус измайловцев, но и состав солдат должен был представлять известное этнографическое своеобразие. Как и два его старших товарища, новый полк возник в ответ на потребности внутренней, а не внешней политики: то была попытка создать *своих* преторьянцев, так как петровские не внушали более доверия. Но гвардия, провозгласившая Анну самодержавной императрицей, состояла именно из преображенцев и семеновцев; они должны были теперь убедиться, как странно намерены с ними расплачиваться за их услугу. То, что на первый взгляд кажется отражением «шляхетской» политики, на самом деле при ближайшем рассмотрении оказывается шагом, направленным чуть не прямо против шляхетства 1730 г., которое это хорошо поняло: о недовольстве преображенцев и семеновцев Рондо говорит не один раз. Едва ли не такой же иллюзией, в смысле удовлетворения шляхетских требований, был и кадетский корпус. В его стенах могло найти себе место лишь ничтожное меньшинство дворянских «недорослей», подавляющее большинство должно было начать службу по петровскому обычаю рядовыми, и при том не столько в гвардии, сколько в армии. В бумагах кабинета министров анненских времен сохранилось несколько списков «недорослей», призываемых на службу. В одном из них на одного счастливца, попавшего в кадеты, приходится пять менее удачливых товарищей, отосланных в военную коллегию «для определения в полки в солдаты». В другом на четырех гвардейцев приходится 38 человек, которым пришлось начинать «солдатскую науку» в глухой армии. Не один раз встречаются требования о пересмотре списков отставных чинов с целью призыва обратно на службу тех, кто еще к ней годится: имелись в виду едва ли не те, кому слишком легко были выданы указы об отставке в меншиковский период тайного совета. Можно думать, что воскрешение таких «петровских традиций» не слишком обрадовало старых петровских служак, и что не один из них по этому поводу вздохнул о верховном тайном совете, при всем пренебрежении к интересам мелкого дворянства, до таких мер не доходившем. Но был пункт, где посаженной шляхетством императрице удалось побить рекорд не только тайного совета, но, что было труднее, начальника тайной канцелярии, преемницы знакомого нам преображенского приказа. В 1736 г. в военном суде разбирался один из так хорошо знакомых всем временам и всем поколениям русского общества интендантских процессов: для целого ряда офицеров тогда, как и теперь, оказывалось гибельным прикосновение к промышленному миру—они не могли увидеть подрядчика или мануфактуриста без того, чтобы не взять с него взятки. «Фергер и кригс-рехт», действуя по всей строгости петровского артикула, приговорил злосчастных офицеров к наказанию

кнутом, вырезанию ноздрей и ссылке «в вечную работу на галеры». Но начальник тайной канцелярии, страшный Андрей Иванович Ушаков, одно имя которого доводило тогдашних дворян до озноба, а дам—до обморока, в числе других сенаторов, пересматривая приговор, сжалился над своей братией и предложил заменить кнут и каторгу разжалованием в солдаты. Императрицу страшно возмутило такое слабодушие ее заплечных дел мастера, и она положила резолюцию, одинаково грозную и для подсудимых и для помирволившего им сената. «Учинить во всем по сентенции военного суда,—написала Анна на приговоре (т. е. бить кнутом и рвать ноздри).—А представленный от военной коллегии и от сената резон для облегчения приговоренного им штрафа, а именно, будто оные впервые сию продерзость учинили, *не токмо не приличный, но и удивительный*. Оные впервые в воровстве пойманы, а не впервые и не один раз, но сие свое воровство через многие годы, не престаючи, продолжали. А что по конфирмации сената, сверх от оного опробованного облегчения, и полученных взятков с них не взыскивать (сенат предлагал взыскать только убытки казны), и то еще удивительнее того,—разве нагло нашу казну разворовать не в воровство вменяется?»[1].

Этот случай—один из массы, без сомнения,—объясняет нам, почему «бироновщина» на несколько поколений осталась пугалом для русского дворянства в самых медвежьих углах. Били жестоко—не менее жестоко, чем при Петре,—и били всюду и всех: если не кнут, то правеж за неуплату подушных почти всякий дворянин если не испытал на себе, то видел своими глазами на себе подобных. Что тот, кто дал имя этому режиму, не был характерным его представителем—так утверждают новейшие исследователи, готовые приписать фавориту Анны Ивановны чуть не ангельскую кротость, хотя современники сохранили нам достаточно образчиков, по крайней мере, грубости Бирона,—от этого жертвам «бироновщины» было, разумеется, не легче. И отмена существовавшего больше на бумаге указа о майорате всего меньше могла, конечно, уравновесить в глазах дворянства тот гнет, который обрушился на его плечи после 1730 г. Оно должно было увидеть, что, сбросив верховников, оно не избавилось даже от верховного совета как учреждения. Всего через несколько месяцев после переворота верховный тайный совет вновь воскрес под именем кабинета ее величества, официально учрежденного указом 6 ноября 1731 г., фактически же существовавшего уже в первый год царствования Анны. Неоднократно цитированный нами английский дипломат совершенно определенно указывает цель этого учреждения еще в мае 1730 г.:

[1] Сборник Русск. истор. о-ва, т. 117, стр. 51—52. Напечатанный текст не передает орфографии императрицы Анны, которая и здесь была верна петровской традиции. «Апробуется» она писала так: «опробуэца».

изъять из ведения сената, формально только-что восстановленного во всех своих правах и прерогативах, наиболее важные дела. Русские современники, писавшие о кабинете по свежим следам, вполне подтверждают эту оценку. «По учреждении сперва верховного совета, а потом кабинета—*ибо хотя имена разные, а действо почти одно в обоих было*—сенат остался уже не в такой силе, как прежде было...», говорит одна докладная записка, представленная императрице Елизавете Петровне. Как и верховный совет, кабинет фактически заменял императрицу—указ, подписанный двумя кабинет-министрами (всех было три), имел такую же силу, что и высочайший указ. Для довершения сходства двое первых кабинет-министров и взяты были из числа верховников: Головкин и Остерман. Третий был кн. Черкасский—лидер шляхетства 1730 г., но лидер лишь номинальный, декоративная фигура во главе дворянских петиционеров, он остался такой же декоративной фигурой и в новом учреждении. От верховного тайного совета это последнее на практике, конечно, очень отличалось не к своей выгоде. Когда вы от протоколов и журналов верховного совета переходите к кабинетским бумагам—и те и другие изданы в одном и том же сборнике русского исторического общества,—вас поражает картина политического измельчания и опошления. Там была яркая, определенная, сознательная политика; здесь—жизнь со дня на день, куча бюрократических мелочей, среди которых невозможно уловить никакой определенной политической линии. Рядом с такой финансово-экономической катастрофой, как восстановление соляной монополии, стоят розыски мужика, который «умеет унимать пожар», и заботы о родившейся в Москве мартышке: императрица непременно требовала доставить ей в целости и мать и новорожденного. Не мудрено, что найти юридическую формулу для этого учреждения было еще труднее, нежели для верховного тайного совета, но ежели взять для сравнения крепостную «контору» большой барской вотчины, смысл кабинета императрицы Анны будет нам очень понятен.

Эта реакция феодальной простоты после буржуазных замашек правительства Петра давала себя чувствовать в домашнем быту еще сильнее, нежели в официальной жизни. После царя-плотника и царя-солдата Анна была первой представительницей того типа коронованного помещика, который так надолго удержался в России. Между подданным и холопом для нее было так же мало разницы, как между камердинером или управителем и министром. Андрей Иванович Ушаков был начальником тайной политической полиции, но он же был и чем-то вроде главного швейцара императорского дворца. Приводили сказочницу во дворец — Анна любила на сон грядущий слушать рассказы о разбойниках,—ее прежде всего направляли в «дежурную, к Андрею Ивановичу»; нужно было наказать дерзкого придворного (осмелился побрезговать ее величеством),—гневный голос

императрицы звал того же «Андрея Ивановича». Коренное дворянское развлечение—охота вошла в честь при русском дворе еще с Петра II; Анна, несмотря на свой пол, явилась и здесь ревностной продолжательницей традиции если не своего дяди, то своего племянника; следом за нею московские дамы и девицы стали учиться стрелять, и императрица живо интересовалась их успехами. Но предметом барской потехи были не только звери, а и люди. О шутах, переполнявших двор Анны Ивановны, слишком хорошо известно, чтобы стоило распространяться на эту тему. Наличность в их среде отпрысков старинной знати уже современников наводила на мысль, будто здесь было не без политической аллегории: Анна хотела, видите ли, унизить в их лице те «боярские фамилии», которые собирались ограничить ее власть в 1730 г. Едва ли такие мысли приходили в голову самой императрице: она просто тешилась тем, что ей попадало под руку, когда она приходила в шутливое настроение. То это была старуха-сказочница, которую не женски сильная рука Анны трясла так, что ей «ажно больно было», то доставалось какой-нибудь не в добрый для себя час попадавшей на глаза императрице челобитчице, иногда вовсе не простого звания. «Приехала одна знатная полковница в Петербург бить челом о заслуженном мужа ее жалованьи, которого было с 400 рублев, и видя, что нигде определения сыскать не может, намерялась просить самое государыню в надежде той, что ее давно знает, и, долго ища случая, улучила видеть, и как ее государыня спросила, давно ли она приехала, то она доносила свою нужду и просила с челобитною о решении; то де государыня сказала ей: «ведаешь, что мне бить челом вам запрещено», тотчас велела ее вывести на площадь и, высекши плетьми, деньги выдать, и как ее высекли, то, посадя в карету, хотели везти к рентерее, чтобы деньги выдать, но она, боясь, чтобы еще там не высекли, оставя деньги, уехала домой»[1].

У сердитой барыни, как водится, был немец-управитель. И современники, и история долго ошибались насчет его имени: считали им Бирона, а на самом деле душою анненского режима был Остерман. Бирон состоял лично при особе императрицы, и состоял настолько неотлучно, что уже одно это мешало ему фактически быть министром, чем он не был к тому же и номиналь-

[1] См. *В Строев*, назв. сочин., стр. 40—41. Из одного тогдашнего следственного дела. Прелестную жанровую картину из придворной жизни времени Анны Ивановны сохранили записки кн. Дашковой. «Императрица изъявила желание видеть русский танец и приказала четырем из первых петербургских красавиц исполнить его в своем присутствии. Мать кн. Дашковой, замечательно грациозная плясунья, была в числе этой партии; как однакож они ни желали угодить царской воле,но,испуганные строгим взглядом государыни, смешались и позабыли фигуру танца; среди общей суматохи императрица встала с кресел и, приблизившись к ним с полным достоинством, отвесила каждой по громкой пощечине и велела снова начинать, что они и исполнили, чуть живые от страха».

но: в состав кабинета он никогда не входил. Несколько преувеличивая свое порабощение, курляндский герцог впоследствии даже нехождение в церковь по праздникам объяснял тем, что, как «всякому известно, ему от ее императорского величества блаженные памяти никуды отлучиться было невозможно». Скорее Анна не считала возможным отлучиться от своего фаворита. «6 июля (1731 г.) государыня должна была обедать у Михайла Гавриловича Головкина,—писал своему министру английский резидент,—но обер-камергер имел несчастие, сопровождая ее, упасть с лошади и вывихнуть себе ногу, и она вернулась с ним во дворец. Этот случай вызовет, конечно, у вашего превосходительства то же размышление, которое он вызывает здесь у каждого: странно, что ее величество не доехала к графу Головкину и не обедала у него только потому, что граф Бирон не мог обедать с нею». Как бы то ни было, что Бирон мало интересовался русскими внутренними делами, и если вмешивался энергично в политику, то только внешнюю (гораздо более доходную, как скоро увидим), это едва ли подлежит сомнению. Функции управителя и фаворита при Анне отнюдь не смешивались. Но это не значит, чтобы условное имя «бироновщины» было просто недоразумением: не Бирон делал то, что окрещено этим именем, но для него это делалось, ибо в нем был весь смысл существования хозяйки и госпожи всего и всех. Когда мы читаем у того же английского дипломата, что «двор на зиму (1731—1732 г.) переберется в Петербург, так как фавориты надеются там избежать ежедневно раздающихся жалоб, находят и жизнь там менее опасною, чем здесь, так как всегда есть возможность помешать приезду недовольных в Петербург», то—это бироновщина, ибо вся система этой политики диктуется соображениями личной безопасности Бирона. «Ваше превосходительство не может вообразить себе, до какого великолепия русский двор дошел в настоящее царствование, несмотря на то, что в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят, что тоже много содействует общим жалобам,—продолжает свой доклад тот же беспристрастный свидетель анненского царствования.—Не взирая на недостаток в деньгах, огромные суммы тратятся придворными на великолепные костюмы для маскарада, предложенного здесь в непродолжительном времени; кроме того, из Варшавы со дня на день ожидается прекрасная труппа актеров, присылаемая королем польским для развлечения ее величества, все мысли которой отданы удовольствиям и заботе о том, какими бы богатствами и почестями осыпать графа Бирона и как обогатить его брата»[1]. У Анны была одна забота—дать: как достать то, что дается, об этом заботилась не она и не тот, разумеется, кому давали, а люди менее видные и более деловые. Как мы уже упоминали, Остерман был первым из них. Сравнение этого фак-

[1] Сборн. Русск. истор. о-ва, т. 66, стр. 272—273.

тического правителя России семьсот тридцатых годов с его предшественниками из верховного тайного совета дает точь-в-точь такое же впечатление, как сравнение бумаг этого учреждения с бумагами кабинета, непременным членом которого во все царствование Анны был Остерман. Любопытно, что он был уже и в совете, и многие шаги буржуазной политики верховников номинально связаны с его именем: он был например председателем «комисии о коммерции». Но в кабинетских делах мы не найдем никаких следов того, что предлагала эта самая комиссия в дни верховного совета: лучшее указание на то, что душою экономической политики этого последнего был во всяком случае не Остерман. Этот неудавшийся школьный учитель справедливо пользовался репутацией самого хитрого и ловкого интригана, какого только можно было найти при тогдашних европейских дворах. Он превосходно знал бюрократическую рутину, но в нем не было ни крупицы настоящего политического деятеля, и он сам себе выдал свидетельство о бедности по этой части, оставив известный проект «о приведении в благосостояние России»[1]. Когда ему пришлось формулировать свои политические взгляды, он не нашел у себя ничего, кроме полузабытых обрывков школьной морали: «страх божий; милосердие и снисходительство; любовь к правосудию»... Дальше идет перечисление мелких бюрократических приемов, как завести порядок в делах, мелких уловок, как привлечь на свою сторону тех или других влиятельных чиновников. Забота о распространении школ является единственным живым словом в этой части канцелярской программы, а наивные мечтания о торге с иностранными государствами ружьями, которые изготовляет тульский завод, исчерпывают всю «экономическую политику». Перечислить все мелочи оказался, однако, бессильным даже этот, живший исключительно мелочами, ум, и каталог благополучия российского государства остался недоконченным. Любопытно, что в беловом тексте эти мелочи, хоть несколько осмысливающие голые фразы о страхе божьем и любви к правосудию, вовсе отсутствуют: обобщить их автор не сумел, а перечислить их все постеснялся, щадя свою высокую читательницу (правительницу Анну Леопольдовну). В результате получился документ, своею высокопарной бессодержательностью выделяющийся даже в литературе русских официальных проектов.

Но если деятели бироновщины сами не умели возвыситься до политических обобщений—и тем дали потомству случай оценить всю разницу между ними и людьми такого калибра, как Дм. Голицын[2] или хотя бы даже Меншиков,—это не значит,

[1] Этот проект и дополняющая его черновая «записка для памяти» напечатаны в «Архиве кн. Воронцова» кн. 24.

[2] Без которого они все же не могли обойтись до своей окончательной опалы в 1737 г. Д. М. Голицын нередко появляется на заседаниях кабинета в качестве консультанта по иностранной политике.

чтобы в их поведении не было никакой общей политической линии. Ее давала обстановка, независимо от того, сознавалась она или нет. Ища этого общего в политике своих врагов-правителей, русские дворяне времен Анны—совершенно так же, как впоследствии крепостные мужички их внуков—видели все зло в немецком присхождении Остермана, Бирона и их компании: «немец-управитель», известно, всегда «отчаянный грабитель». Ввиду тенденции новейшей историографии просто-напросто устранять из поля своего зрения национальные конфликты, вместо того чтобы объяснять их, сводя к социальным, приходится очень подчеркнуть, что борьба с бироновщиной, как с «немецким игом», вовсе не выдумана позднейшей литературой, как нередко бывает в подобных случаях. Субъективно идеология русского шляхетства около 1740 г. носила, несомненно, резко выраженный националистический характер—это факт, не менее осязательный, нежели, например, шовинизм английской буржуазии в дни войны с бурами. «Немецкую партию» сочинил не XIX в., как кажется некоторым новейшим историкам: о ней весьма дружно говорят сослов русской публики современные иностранные дипломаты. «Надменность и наглость, с которою ведут себя теперь при здешнем дворе курляндцы и лифляндцы, увеличивают почти до невероятной степени ненависть к ним московитов; и самые благоразумные поэтому начинают опасаться, как бы их (mm. les courlandais) не постигла когда-нибудь та же катастрофа, которая случилась некогда с поляками, которые властвовали над Россией, как теперь эти»: такие слова были написаны немного больше, чем через год после воцарения Анны, и не квасным русским патриотом, а французским резидентом при русском дворе, делавшим своему двору чисто деловое сообщение. И такой отзыв не один—разговоры о «господстве иностранцев» составляют нечто вроде припева ко всем донесениям Маньяна, а на этих донесениях строилась вся политика французского кабинета относительно России; спекуляция на оскорбленное национальное чувство русского «народа»—т. е. русского дворянства—широкой полосой входила в эту политику, о которой нам еще придется говорить: и ее удача, успех *французской* кандидатуры цесаревны Елизаветы, сама по себе достаточно доказывает, что правительство Маньяна строило не на песке. Просто отмахнуться от этого факта, заявив, что русско-немецкий антагонизм не играл никакой роли при Анне, конечно, очень облегчает задачу историка; но это равносильно в то же время отказу понять то, что творилось в России в 1730 г. Приходится искать объективных оснований для русско-немецкой вражды, и мы без большого труда находим их в донесениях коллег Маньяна, английских представителей—Рондо и Финча. Их еще более деловые сообщения освещают нам экономическую базу «бироновщины». «Иноземное иго», о котором толковали русские патриоты того времени, в переводе на экономи-

ческий язык означало господство западно-европейского капитала над русской внутренней и внешней политикой при Анне Ивановне,—господство настолько прямое и бесцеремонное, что ничего подобного этому мы не найдем в предшествующую эпоху. Но история как бы нарочно постаралась демонстрировать, что «национальное чувство» в качестве «голоса крови», так сказать, здесь не при чем—иностранцы, в жертву которым немецкое правительство приносило русские интересы, были как-раз не немцы, а *англичане*. Бирон служил не тем, кто говорил на одном с ним языке[1], а тем, кто ему больше и лучше платил.

Экономические основания для того, чтобы «иноземное засилье» приняло в России того времени форму «английского засилья», были вполне достаточные. «До очевидности ясно,—говорит одна современная записка (английская,—этим объясняется ее тон),—что торговля с Великобританией в течение многих лет была и поныне продолжает быть для России более выгодною, чем торговля со всякой другой европейской нацией; по нашим расчетам одна торговля с нами доставляет ей более дохода, чем торговля со всеми прочими европейскими нациями, вместе взятыми: великобританские подданные вывозят две трети всей вывозимой пеньки, более половины всех вывозимых кож, столько же льна, более трех четвертей всех полотен и, по крайней мере, столько же железа, весь поташ, бо́льшую часть ревеня, рыбьего клея, щетины, воска и пр., и за три четверти этих товаров в течение последних лет платили и поныне платят русскими деньгами. И вся эта масса русских продуктов, исключая кожевенного товара, ввозится в Великобританию». Но англичане, естественно, считали для себя не очень выгодным такое положение вещей: им было бы больше расчета ввозить в Россию в обмен на сырье свои *товары*. Если бы при этом цены на эти последние и на русские продукты установились достаточно для англичан выгодные, Россия экономически попадала бы в разряд английских колоний. В правление верховного тайного совета, покровительствовавшего туземной буржуазии, дело шло однакоже как раз наоборот: «хотя,—продолжает цитируемая записка,—в Англию русских товаров ввозится и теперь почти столько же или даже сполна столько же, как и в предыдущие годы, вывоз из Англии в Россию за последние десять лет уменьшился, по крайней мере, наполовину». Англичане видели этому две причины: во-первых, конкуренцию прусских и голландских мануфактур, во-вторых, перенесение торговли из Архангельска на Балтийское море. С 1724 г. пруссаки сделались постоянными поставщиками сукна для русской армии: косвенное,

[1] Немецкий язык был тогда чем-то вроде официального языка высших петербургских сфер: вновь назначенный английский посланник первым делом начал в Петербурге учиться по-немецки, «хотя это и трудно в моем возрасте», прибавляет он.

но очень яркое доказательство краха, постигшего петровские суконные мануфактуры. Из Голландии главным образом шли те фабрикаты, что служили для меновой торговли с Персией,— их ввозили туда в обмен на вывезенный шелк-сырец. Замена же Архангельска в деле английского вывоза не Петербургом, как бы мы ожидали, а Ригой, невыгодна была в том отношении, что на рижском рынке приходилось расплачиваться наличными деньгами, тогда как в Архангельске торговля была меновая. Это положение вещей намечало, таким образом, три основные линии английской торговой политики: устранение прусской конкуренции, воскрешение на Балтийском море добрых старых обычаев Архангельска и в, качестве венца всех успехов, захват в свои руки вывоза шелка из Персии. При Бироне Англии суждено было иметь триумф на всех этих трех полях битвы, не исключая и последнего.

Уже в апреле 1732 г., когда новое правительство только-что уселось прочно в седле и начало пользоваться своим успехом, Рондо мог писать своему начальству в Лондоне: «касательно затруднений, с которыми связана была торговля великобританских купцов в течение многих лет, ее величеству (императрице Анне) угодно было приказать, дабы манистры ее рассмотрели статьи переданной мною записки и выполнили мои желания, насколько окажется возможным без ущерба интересам России и подданных ее величества». Какого рода директивы даны были коммерц-коллегии, видно из того, что она легко и скоро согласилась на *все* английские требования. «Могу, кажется, утверждать, что вряд ли найдется в России другой пример такого быстрого успеха подобных переговоров,—восклицает с чувством законной гордости английский резидент.—Это убеждает меня, что здесь у нас много друзей, помогавших исходу дела, столь выгодно для торгующих в этой стране подданных его величества» (короля английского). Счастливый дипломат не мог выразиться осторожнее; французский агент, сообщая об одной из прежних английских неудач в другом подобном деле, был откровеннее и грубее: «эта *милость*,—говорит он о сохранении поставки сукон за пруссаками,—стоила весьма дорого, так как ее можно было приобрести лишь при помощи значительных денежных сумм, розданных как обер-камергеру Бирону, так и графу Левенвольде и прочим фаворитам». Приобретение «милости» и англичанам впоследствии обходилось недешево; об одном из них сам английский консул высказывал опасение, как бы смелый купец не разорился: «такие, как уверяют, огромные суммы пришлось ему выдать, чтобы провести контракт». Но англичане знали, что делали, ведя борьбу до конца на этом аукционе. Им удавалось добиваться «милостей» уже совсем необыкновенных. В мае того же 1732 г. фельдмаршал Миних (кто бы подумал, что знаменитый генерал так заботился о мирной коммерции?) велел внезапно произвести обыск в домах ино-

странных купцов, проживавших в Петербурге, с целью открытия контрабанды. При этой внезапной ревизии английские коммерсанты оказались чисты, как голуби: у них ни кусочка не нашлось, не снабженного надлежащим таможенным клеймом; английский консул сообщал об этом не без умиления и с искренней жалостью добавлял, что, вот, у пруссаков и голландцев, кажется, не так хорошо—«найдено много неоплаченных товаров». Само собою разумеется, что английский представитель не отказался принять официальное участие в протесте всех иностранных дипломатов против набега фельдмаршала на торговые склады. Но фльдмаршал не только не рассердился за это на англичан (честные торговцы, но и добрые товарищи при этом—военный человек должен был особенно это оценить), а и счел долгом специально наградить английскую добродетель, проведя с чисто военной быстротой контракт на поставку одной английской компании поташа, золы, пеньки и сибирского железа (казенных товаров) по баснословно дешевой цене. На несчастие Миниха, он не поделился с Левенвольдом, и тот намекнул Анне Ивановне, что она теряет на этой сделке не меньше 180 тыс. руб. (около полутора миллиона золотом). Миних был очень сконфужен, а сделка немедленно кассирована; но так как англичане, не жеманясь, тотчас же накинули от 8 до 20% на условленную ранее цену, то казенные товары остались все же за ними.

Мы видели еще раз, как условно название «бироновщины»: во всей этой истории имя курляндского герцога никем и не упоминалось, а между тем какая она характерно «бироновская». Быть может, однакоже, просто размеры этого дела, крупного, но еще не вполне «государственного» по своему масштабу, ставили его ниже внимания фаворита Анны Ивановны. Для нас не ясна его личная роль в истории с сукном, которое в результате всех перипетий попало таки в английские руки, хотя и не прямо: в качестве посредника к делу успел примазаться голландский купец, чуть ли не специально для этого принявший,впрочем, английское подданство. Это очень огорчило патриотическое сердце сэра Клавдия Рондо, и, в припадке досады на неуклюжесть своих земляков, давших выхватить у себя добычу из-под носу, он обмолвился несколькими откровенностями, от которых, без сомнения, воздержался бы в спокойную минуту. Благодаря этому мы узнаем, что хотя вообще английские сукна были и лучше прусских, но специально в Россию англичане норовили сбыть всякую дрянь, подмоченную и залежавшуюся. Надежды Рондо, что наученные опытом англичане теперь поостерегутся, повидимому, не оправдались, и русское правительство от английского не раз вынуждено было снова обращаться к прусскому сукну, которое хотя по существу тоже никуда не годилось, как свидетельствовал сам кабинет министров, но за то было так подкрашено и подклеено, что хоть на приемке

имело приличный вид. Но главной целью английских домогательств было все же не сукно и не поташ с пенькой, а—читатель, помнящий историю торгового капитализма в России, уже догадался об этом—торговля с Персией. Сменивший Рондо Финч едва ли и приехал в Россию не с двумя главными целями: открыть персидский транзит через Россию английским купцам и получить некоторое количество русских штыков на английскую службу. Последнее, конечно, носило форму союзного договора между двумя великими державами; первое было облечено в более скромную форму привилегии, данной императрицей частной компании, но, следя шаг за шагом за хлопотами Финча, с трудом представляешь себе, что было важнее. Речь ведь шла не о том только, чтобы вывозить шелк-сырец из Персии: это было лишь начало; через Персию англичане надеялись, с одной стороны, наводнить своими товарами всю Среднюю Азию, с другой—проложить себе путь в Индию, которая тогда стояла на распутьи и могла так же легко сделаться французской, как и английский. Переговоры об этих важных делах Финч вел с Бироном лично (для того и понадобился ему немецкий язык), и герцог курляндский оказался куда податливее, нежели упрямые московские бояре XVII в., так неумолимо отстаивавшие от всей Европы русскую монополию на персидский шелк. За ничтожную пошлину образованная в Англии «персидская компания» получила возможность расположиться на Волге и Каспийском море, как у себя дома. Не нашли нужным выговорить даже пользование русскими судами и русскими матросами: в Казани было выстроено средствами тамошнего русского адмиралтейства, но по английским планам особое судно, годное как для Волги, так и для Каспийского моря, ставшее собственностью английской компании и снабженное английским экипажем. Таможенный контроль по отношению к этому судну в Астрахани был сведен к такому минимуму, что оно весьма свободно могло возить контрабанду, уклоняясь от платежа даже той ничтожной пошлины, которая была выговорена трактатом. Не мудрено, что английский посланник был преисполнен живейшей благодарности к русскому правительству (трудно было быть щедрее и великодушнее!) и расплатился с ним за это чрезвычайно оригинально. Через него бироновское правительство, уже лишенное, к огорчению Финча, своего номинального главы, но под управлением Остермана не менее еще «бироновское», получило первые и чрезвычайно обстоятельные сведения о заговоре, угрожающем его существованию. То, что даже и после этого заговор удался, принадлежит к числу самых любопытных эпизодов не одной русской истории.

Заговор носился в воздухе все время царствования Анны. Правительство, вышедшее из государственного переворота, могло быть сильным, только верно соблюдая молчаливый договор с теми, кто этот переворот устроил в его пользу. Но мы знаем,

как оно было далеко от этого. Шляхетство медленно приходило к сознанию, что его обманули, что его использовали «курляндцы и лифляндцы». Но было настолько ясно, что рано или поздно это будет понятно, что нетерпеливые люди спешили использовать оппозиционное настроение шляхетства раньше, нежели оно успело сложиться. Одно донесение голландского посланника из Москвы от 6 января 1731 г.[1] показывает нам неудачный финал заговора, сложившегося в Москве меньше, чем через год после патетических сцен «восстановления самодержавия». Во время одной из почти ежедневных поездок Анны в Измайлово под одной из придворных карет, ехавшей непосредственно перед каретой императрицы, внезапно осела земля; в провале увидали «бревна, открывающиеся и падающие друг на друга вместе с огромными глыбами камней, нагроможденных по бокам». К очастию для Анны Ивановны технические средства, которыми располагали эти отдаленные предшественники народовольцев, были далеко ниже поставленной ими себе задачи: мина без пороха действовала так медленно, что пассажиры кареты успели из нее выскочить без всякого вреда для себя. Тем не менее императрица немедленно вернулась во дворец. Последовали, разумеется, аресты, но открыть, видимо, ничего не удалось; придворные сплетни приписывали дело первой жене Петра, монахине Евдокии Лопухиной. Но последующее донесение уже самого Маньяна ясно показывает, что не было надобности искать заговорщиков так далеко. Вот целиком это донесение, как нельзя более выразительное в том, что оно говорит о настроении верхних слоев русского общества на другой год после воцарения Анны. «Судя по тому, как продолжают говорить о недовольстве, выказываемом повсюду русскими, вследствие злоупотреблений милостями царицы со стороны Биронов и братьев Левенвольде, весьма вероятно, что это и заставляет здешнюю государыню более всего оставаться в своей столице, для предупреждения, быть может, беспорядков, которые могли бы быть вызваны ее отсутствием... Здесь уже не скрывают, что нынешние фавориты являются для русского народа еще гораздо более ненавистными, чем были Долгоруковы в последнее царствование, и что, кроме нововведений и новых обычаев, вводимых фаворитами как при дворе, так и в войске, путешествие, задуманное царицею, удобно только для них одних; что касается других русских вельмож, обязанных следовать за царицей, то, так как они по большей части уже вполне почти разорены роскошью, к которой их обязывают, эта поездка была бы для них разорительнее четырехлетней войны с турками... Так, можно сказать, думают русские в настоящее время, и это дает место среди них ропоту,

[1] Оно в качестве любопытного документа было переслано Маньяном своему правительству—и потому напечатано среди французских бумаг. Сборн. Русск. истор. о-ва, т. 81, стр. 156 и сл.

который, может быть, был бы опаснее, чем он есть в действительности, если бы недовольные не были лишены, как оно есть на самом деле, руководителя, способного вызвать тревогу при дворе, и если бы, кроме того, *царица не полагалась до такой степени на свою гвардию*»[1].

Итак, бироновщина уже на второй год своего существования «сидела на штыках»... Необычайно яркую картину настроения, переживавшегося теми, кто, казалось, так твердо занял престол, дает рассказ того же автора о способе, каким Анна обеспечила престолонаследие за своей, т. е. старшей, линией дома Романовых, потомками царя Ивана Алексеевича. Самая пылкая фантазия может себе представить при этом обстоятельстве дворцовые интриги, бурные заседания высших государственных учреждений, может быть, подтасованные их решения, но не то, что происходило в действительности. «В ночь с прошлого четверга на пятницу [дело было в декабре 1731 г.] царица повелела своему оберкамергеру [Бирону] призвать майора гвардии Волкова и предписать ему собрать к четырем часам утра все три гвардейских полка перед входом во вдорец. Майор, встревоженный тем, какое обстоятельство могло вызвать подобное распоряжение среди ночи, стал просить обер-камергера открыт ему причину, но последний ответил ему, что и сам ее не знает и не советует ему вдобавок итти за объяснениями к царице. Волков повиновался. В четыре часа войска стояли под ружьем, а на рассвете царица призвала в свои аппартаменты членов своего совета и главных офицеров своей гвардии и обратилась к ним с речью, содержавшею вкратце следующее: для предупреждения беспорядков, подобных наступившим по смерти ее предшественника, царя Петра II, и столь противных древним заветам русского правительства, что следствием их чуть не явилась окончательная гибель государства, она, царица, полагает, что в этом случае нет более верного средства, как назначить себе преемника при жизни». Вслед за тем сначала приглашенные высшие чины, а следом за ними и вся гвардия присягнули новому наследнику, не столько назначенному, сколько, употребляя военное выражение, «обозначенному», ибо он еще не родился... Им должен был стать несчастный Иван Антонович, политическое существование которого началось, таким образом, под штыками, покончившими с его физическим существованием впоследствии. На редкость «военный» царь, хотя он ни разу в жизни не был на плацпараде! И для дополнения военного характера всего события, оно закончилось арестом генерал-фельдмаршала, последнего уцелевшего представителя фамилии Долгоруких, князя Василия Владимировича.

Определенные признаки брожения не только при дворе, а и в более широких кругах, можно было заметить уже к осени

[1] Ibid, стр. 159—160.

1732 г. «На сих днях в разных местах появились пасквили,— доносил 23 сентября этого года саксонский резидент,—в крепость заключены различные государственные преступники, между которыми не мало священников; третьего дня привезли еще из Москвы трех бояр и одиннадцать священиков; все это держится под секретом. Главная причина народного неудовольствия то, что возобновили взимание недоимок, от которых должны были отказаться царица Екатерина и Петр II». Другие донесения прибавляют еще кое-какие мотивы «народного недовольства»— в особенности натуральные повинности, при помощи которых строились не только крепости, а и дворцы Анны Ивановны. Отнимая рабочие руки у помещиков, правительство сильно озлобляло последних; читатель не забыл, конечно, что «народ» иностранных дипломатов это и есть «шляхетство». С формальным заговором, однакоже, курляндское правительство встретилось не раньше 1738 г. Он связан с именем Долгоруких и известен исключительно со слов иностранцев: русские документы о нем молчат, и русские историки, начиная с Соловьева, не видят во всем деле ничего, кроме сплетни, пущенной в ход бироновцами для того, чтобы оправдать перед европейским общественным мнением «всенародное» истребление несчастной семьи; на самом деле новая опала Долгоруких объясняется исключительно мстительностью Анны и Бирона. Психологически не совсем понятна месть, отложенная на семь лет: придумать сплетню было ведь так же легко в 1732, как и в 1738 г. Гораздо труднее было обставить дело так, чтобы сплетня подходила к событиям не только 1738, а и 1741 г., оправдавшим именно то, что в рассказе иностранцев кажется всего невероятнее. Вот этот рассказ в существенных чертах: возмущенные разорением страны и господством немцев, «некоторые из значительнейших русских фамилий» стали «искать наиболее подходящих средств, чтобы освободиться от ига чужеземцев и ввести в России при помощи революции новую форму правления. Князья Долгоруковы, Нарышкины и Голицыны составили с этой целью неудавшийся заговор, пытаясь возбудить всеобщее волнение и заставить взяться за оружие подданных, принадлежавших к их партии; *рассчитывая на поддержку со стороны Швеции*, они хотели, таким образом, устранить царицу, принцессу Анну (мать будущего императора Ивана) и супруга ее, принца вольфенбютельского, равно как и всю семью герцога курляндского, истребить, кроме того, немцев или прогнать их из страны. Еврей Либерман, придворный банкир и фаворит герцога курляндского, должен был быть предан в руки разъяренной черни. *Согласно этому невыполненному замыслу принцесса Елизавета должна была быть провозглашена императрицей*». Какая дичь, скажет всякий, дойдя до места, где говорится о «поддержке Швеции». Но в 1741 г. Елизавета стала русской императрицей именно при содействии Швеции, *которого она сознательно и настойчиво*

добивалась, восшествие ее на престол сопровождалось националистической реакцией, и, в частности, ее правление ознаменовано резкими проявлениями антисемитизма, до тех пор настолько чуждого русским официальным кругам, что крещеный еврей мог быть царским министром и одним из «верховных господ». Чтобы сочинить сказку, которая *два года спустя* сделалась правдой, нужно было или чтобы «сказочники» были гениальными людьми—но именно это качество всегда труднее было бы найти у бироновцев,—или чтобы история подарила нас случайностью, которая бывает раз в две тысячи лет: но наличность такой случайности нужно, конечно, доказать сначала. По обязанности историка в случае нескольких возможных объяснений выбирать наиболее простое и правдоподобное — приходится остановиться на том, что в процессе Долгоруких мы имеем первую вспышку того, можно сказать, международного заговора, который тянулся около пяти, может быть, лет и закончился событием 25 ноября 1741 г.—появлением ночью во дворце цесаревны Елизаветы в качестве «капитана гренадерской роты». Самым же невероятным во всей истории являются не те, отмеченные нами, подробности, которые внушили недоверие к рассказу русским историкам,— а то, что в последний год заговор был «открытой тайной», известной всем и каждому: но у бироновцев было так мало гениальности, что даже при такой обстановке они не сумели с ним бороться.

Зависимость курляндского правительства от Англии не могла ограничиться одной экономической областью. Как ни велики были интересы английских купцов в России, они были ничтожны сравнительно с интересами всемирной английской торговли—сравнительно с задачей создания колониальной Британской империи, задачей, падавшей именно на те годы, середину восемнадцатого столетия. В наши дни трудно себе представить, чтобы серьезной соперницей Англии на этом пути могла быть Франция: так кажутся несоизмеримы силы этих двух держав на море. Но этой несоизмримости не было еще даже в первые годы XIX в., до Трафальгарской битвы, а за семьдесят лет перед Трафальгаром колониальное расширение Англии на всех пунктах земного шара наталкивалось на энергичное и иногда успешное противодействие французов. Белый флаг с лилиями попадался везде на дороге красному английскому: в Северной Америке, в Ост-Индии, в Африке, на Средиземном море и даже в России. Но Россия после Петра была не только рынком: это была крупная военная держава, имевшая и свой флот—в нем, правда, англичане не нуждались—и сухопутную армию, в которой бедная солдатами Англия нуждалась всегда. Наем на английскую службу русских штыков стал хроническим явлением в начале XIX в. в дни наполеоновских войн. В половине предыдущего столетия предпочитали нанимать прусские штыки: Фридрих II всю Семилетнюю войну провел при

помощи английских субсидий. Но и русскими уже не брезговали, и первый случай найма мы имеем как раз в дни бироновщины: пребывание Финча в Петербурге кончилось (уже после смерти Анны) заключением союзного договора России с Англией, предоставлявшего в распоряжение английского короля корпус русского войска, причем не нашли нужным даже определить, против кого. Указать противника, ненавистью к которому должны были проникнуться сердца русских солдат, любезно предоставлялось Георгу II. Не нужно, впрочем, думать, что этим делалось какое-нибудь исключение для англичан: за несколько лет раньше правительство Анны Ивановны на таких же любезных условиях предоставило 30 000 русского войска австрийскому, в те времена еще «германскому» императору. Чтобы достигнуть этой цели, императорский посланник роздал Бирону и его коллегам, во-первых, все те подарки, которые предназначались для Долгоруких, но прибыли уже после смерти Петра II и восшествия на престол Анны (их оценивали в 100 тыс. тогдашних рублей), а к этому еще не одну сотню тысяч флоринов наличными деньгами. Подписание русско-английского трактата дало повод к сцене, не менее выразительной. «8 ноября, отправляясь к графу (Остерману) для обмена ратификаций,—рассказывает Финч,—я захватил с собой и вексель Лаутера на 1 500 фунтов на имя его сиятельства, написав на обороте перевод на его банкира, Вольфа, живущего с ним дверь о дверь, дабы графу, для получения денег, оставалось только подписать свою фамилию. «Ваше сиятельство,—сказал я ему,—не раз говорили мне о своем желании посетить меня в Англии и провести там остаток дней философом (в часы грустного настроения граф действительно высказывал мне эту мысль). Как ни мало вероятно осуществление такой мечты, в случае ее осуществления, однако, вам пришлось бы, прежде всего, подумать о фунтах стерлингов; поэтому, повинуясь приказаниям короля, позволяю себе просить вас, не разрешите ли мне вместе с благодарностью его величества вручить вам от его имени вексель в 1 500 фун. которые сосед ваш, Вольф, выплатит вашему сиятельству немедленно, как только вы подпишете передаточную подпись?» Остерман тогда, после падения Миниха, чувствовавший себя некоронованным императором России, не стал марать руки о такую ничтожную сумму (1 500 фун.—6 тыс. руб. по тогдашнему курсу: англичане, действительно, пожадничали, но ведь договор был *уже* заключен...) и отказался.

В ту минуту, когда происходил этот любопытный разговор, деньги оказались бы выброшенными в форточку: всего через три недели некоронованным императором чувствовал себя французский посланник, маркиз Шетарди. Что Франция не могла потерпеть русско-английского договора, это разумелось само собой. Помешать заключению такого договора было главной задачей предшественника Шетарди, Маньяна. Сначала, повиди-

мому, французы имели в виду бороться на равном оружии и действовать подкупом. В этой плоскости шли разговоры французского резидента с Минихом. Всего легче, повидимому, было удовлетворить самое императрицу Анну: для этого казалось достаточным признать за ней императорский титул (для французского правительства она была по-старому только «царица»). Услыхав такое предложение от Маньяна, Миних пришел в чрезвычайное оживление, четыре раза повторив, что императрицу ничто не может сильнее побудить к заключению союза с Францией, нежели этот акт вежливости; при этом фельдмаршал «двигался на своем стуле с необыкновенно сильными проявлениями радости». Если бы к этому еще послать несколько кусков хороших вышитых обоев (роскошь, тогда только-что начавшая входить в моду в русских барских домах), то дело относительно Анны было бы совсем в шляпе, по мнению Маньяна. Но окружавшие императрицу «курляндцы и лифляндцы» были людьми более практическими: им нужны были «экю», о которых так часто и с такой тоской говорит в своих донесениях французский резидент; а по этой части не только англичане, но даже имперцы были куда сильнее бедного представителя Людовика XV.

Французское министерство иностранных дел дрожало над каждым грошем и неумолимо держалось при этом бюрократической отчетности, совершенно немыслимой, когда речь шла о «секретных фондах». Вместо того чтобы тратить сотни тысяч на подкуп русских министров, французский кабинет предпочел дать сотни экю на.. литературную борьбу с ними. В 1736 г. в Париже появилась книжка под напоминавшим известное юношеское произведение Монтескье заглавием «Lettres moscovites». В основу ее легли воспоминания некоего Локателли (в книжке не названного): по всему судя, то был один из мелких французских шпионов, появление которых в России того времени было более, чем естественно. Сам военный, он особенно близко интересовался положением русской армии, и большая часть «писем» посвящена рассуждениям на ту тему, что «московиты» на войне никуда не годятся и бояться их нечего. Быть может, это было и так, но нельзя не заметить, что при данной обстановке невольно вспоминается басня о лисице и винограде. Приключения Локателли кончились для него плачевно: он был арестован в Казани и после продолжительного пребывания в русских тюрьмах выслан за границу. Описанию московитских жестокостей, которое, нужно сказать, мало трогает под пером такого автора, посвящена другая половина книжки. Но всего замечательнее в ней ее послесловие: «издатель» воспоминаний французского шпиона, человек, повидимому, превосходно осведомленный в русских делах, по поводу описанных Локателли порядков делает ряд жестоких выпадов против «министров иноземцев», управляющих Россией, обещаясь заняться систематическим

разоблачением их подвигов в специально издаваемой для того газете. Неожиданный предшественник Герцена в 1736 г.! Рядом с этим—и здесь мы имеем самую интересную страницу всего памфлета—«издатель» является горячим сторонником кандидатуры на престол цесаревны Елизаветы Петровны, единственной, по его мнению, законной наследницы, угнетаемой и преследуемой будто бы правительством императрицы Анны.

Все перечисленные черты автора послесловия: ненависть к «немцам», преданность Елизавете, осведомленность в русских делах, давали бы, казалось, возможность назвать определенное имя—автором мог бы быть *Волынский* или кто-нибудь из его «конфидентов». Памфлетов они вообще не были чужды: очень известна тенденциозная переделка кем-то из кружка Волынского полоцкой летописи, переносившая борьбу с немцами в XIII в. причем курляндцы были заменены «поморянами». Соседство с французским шпионом не должно удивлять: «патриотизм» тех дней был совсем особенный—не видела же Елизавета ничего зазорного в том, что на русский престол ее посадят шведы. Гипотезе о родстве «московских писем» с кружком Волынского противоречит хронология: в 1736 г. Артемий Петрович был еще в прекрасных отношениях с «немцами» и делал карьеру при Бироне. Как-раз в это время он был назначен обер-егермейстером—не пустой титул, если мы припомним, какой страстной охотницей была Анна. Волынского откинула в оппозицию неудачная конкуренция с Остерманом. Возможно, что тогда он в самом деле втянулся в заговор, не им начатый, но где, конечно, с распростертыми объятиями приняли такого влиятельного союзника.

Вполне возможно, однако, что Волынского лично притянули к заговору и сделали его вождем просто для того, чтобы убрать с дороги Остермана, единственную крупную фигуру: насколько дело Долгоруких трудно объяснимо на одной личной почве, настолько гибель Волынского легко поддается такому объяснению. Внешние подробности трагедии слишком хорошо известны из учебников, чтобы стоило их передавать вкратце, и недостаточно интересны, чтобы стоило ими заниматься детально. Но, оставив в стороне личность Волынского, самое дело 1740 г., захватившее массу крупных лиц,—таких, как президент коммерц-коллегии Пушкин, например,—не могло быть отражением только личных дрязг между членами кабинета. По словам английского резидента, и тут дающего самые толковые сведения, не было почти знатной семьи, которая не была бы затронута следствием; Петропавловская крепость была переполнена арестованными, которых свозили со всей России. Это был новый «провал» заговора, притом гораздо более опасный, чем дело Долгоруких: чтобы воскреснуть, заговор должен был питаться из очень широких общественных слоев. Но питательная среда

была настолько хорошо ему обеспечена, что падение Волынского даже не затормозило дела сколько-нибудь серьезно[1].

Быть может, лучшим доказательством того, что Волынский не был чужд подготовлявшемуся перевороту, служит тон, каким отзывается о несчастном кабинет-министре человек, который ради этого переворота главным образом и был послан своим правительством в Россию. Послушать маркиза Шетарди, так не было человека менее его интересующегося делом Волынского и менее его понимающего. С неподражаемой наивностью маркиз передает официальную версию, какую давало русское правительство,—и ни звука о какой-либо подкладке, о том, что французский дипломат о чем-нибудь догадывается. Негодование по поводу того, что есть такие дурные люди, как Волынский, и только... Скорее всего так можно было держать себя (что донесения иностранных дипломатов читаются, это знали хорошо они все) именно относительно попавшегося и потому страшно опасного теперь сообщника. Бог знает, что он может наговорить под пыткой... Но Волынский не выдал на пытке даже имени Елизаветы, которое с долгоруковского процесса было у всех на устах, не говоря уже о более интимных подробностях. Впервые в Петербурге узнали эти интимные подробности лишь после смерти Анны, как мы знаем, из английского источника. 14 апреля 1741 г. Финч передал Остерману следующую депешу английского министра иностранных дел, лорда Гарингтона: «В секретной комиссии шведского сейма решено немедленно стянуть войска, расположенные в Финляндии, усилить их из Швеции еще 12 тысяч человек, снарядить со всевозможною поспешностью пятнадцать военных кораблей и все галеры. Франция для поддержки этих замыслов обязалась выплатить два миллиона крон. *На предприятия эти комиссия ободрена и подвинута известием, полученным от шведского посланника в С. Петербурге Нолькена, будто в России образовалась большая партия, готовая взяться за оружие для возведения на престол великой княжны Елизаветы Петровны* и соединиться с этой целью со шведами, едва они перейдут границу. Нолькен пишет также, что весь этот план задуман окончательно и улажен между ним и агентами великой княжны с одобрения и при помощи французского посла, маркиза де-ла-Шетарди, что все переговоры между ними и великой княжной велись через француза-хирурга, состоящего при ней с самого ее детства. Вы легко

[1] О деле Волынского см. очерк проф. *Корсакова* «А. П. Волынский и его конфиденты», в «Русской старине», 1885 г., октябрь—перепечатан в сборнике «Из жизни русских деятелей XVIII в.». Проекты Волынского, которым придает такое значение проф. Корсаков, теперь, когда мы знаем, какую обширную литературу проектов оставили современники Петра, ничего исключительного собою не представляют. О Волынском как представителе «шляхетских» взглядов см. ниже, отдел «Теория сословной монархии».

поймете, насколько для общего дела и в видах охранения свободы Европы (!) важно по возможности предупредить успех подобных замыслов, долженствующих отдать весь север во власть Швеции, а следовательно, поставить его в полную зависимость от Франции, так как великая княжна может удержаться на престоле единственно при ее помощи»...

Английская депеша совершенно точно устанавливала «соотношение сил» в заговоре: его инициатива шла действительно не от Франции, как следовало по логике вещей, а от Швеции. С французским проектом в данном случае было то же, что со многими другими французскими проектами; практический смысл он получил в руках не французов. Депеши самого Шетарди вполне подтверждают английскую версию; и у него на первом плане Нолькен со ста тысячами экю[1], тогда как сам французский посланник ссудил Елизавету всего двумя тысячами рублей, да и то заняв их у одного из чиновников своего посольства, который выиграл их в карты. Все позднейшие росказни о шестистах тысячах дукатов, которых будто бы стоило Франции воцарение дочери Петра Великого, не находят себе никакой опоры в документах. Восстановление на престоле «истинной наследницы» взяла на себя та самая держава, с которой Петр воевал всю жизнь, у которой он отнял восточный берег Балтийского моря: и Швеция затеяла все предприятие с исключительной целью—получить отнятое обратно. Это составляло самую пикантную сторону готовившегося переворота. Нолькен настойчиво требовал у Елизаветы Петровны письменного обязательства дать Швеции территориальное вознаграждение в случае удачи. То, как вела себя цесаревна в этом деле, показывает, что с 1730 г. она многому научилась. Искуситель не мог от нее добиться не только подписи на бумаге, но даже сколько-нибудь определенного словесного заявления. В беседах с Нолькеном и Шетарди Елизавета выражала свои чувства вздохами, взглядами, улыбками, покачиваньем головы, но говорила чрезвычайно мало и в самых общих выражениях. При этом поддержку Швеции она ценила необычайно высоко и не решалась сделать сколько-нибудь серьезного шага, пока стокгольмский кабинет определенно и официально не заявит себя ее союзником. Только обещанием шведского манифеста в соответствующем духе Нолькену удалось выманить у нее нечто более уловимое, чем взгляды и улыбки. 9 сентября 1741 г. в руках у шведского посланника был, наконец, документ, где было черным по белому написано, что Елизавета обязывается в случае своего воцарения: 1) вознаградить Швецию за все издержки (по ведению войны с Россией); 2) платить Швеции субсидии в течение всей своей жизни; 3) предоставить шведам все преимущества, предостав-

[1] Французская монета, по тогдашнему курсу 6 ливров—немного менее тогдашнего рубля.

ленные (правительством Анны) англичанам; 4) отказаться от всех договоров и конвенций, заключенных Россией с Англией и австрийским домом, и никогда не вступать в союз ни с кем, кроме Франции и Швеции; 5) *отстаивать, наконец, при всяком случае интересы Швеции и выдавать для этой цели шведам секретно, без ведома нации, всякие суммы*, в которых у этой державы может встретиться надобность. Едва ли нужно обращать внимание читателей на то, что русская история знает мало более скандальных договоров: особенно хорош последний пункт, которым Елизавета обязывалась обманывать свою «нацию», русский народ, в пользу его исконного неприятеля. Но формально цесаревна и здесь сумела удержаться на границе приличия,—правда, уже на самой границе, так что дальше итти было некуда. Во-первых, обещания территориальных уступок (для шведов, повторяем, в них было все дело) нет и здесь. А главное—и на этой бумаге, написанной, конечно, не ее рукой, не стояло ее подписи; по ней «присягнули» за Елизавету камер-юнкер Воронцов и (упоминавшийся в английской депеше) ее врач, Лесток; но такая «клятва» едва ли имела какое-нибудь значение с точки зрения международного права. Словом, франко-шведская союзница заранее принимала все меры, чтобы обмануть своих «друзей», как только представится к этому физическая возможность. А возможность представилась скорее и легче, чем, конечно, она сама могла ожидать.

Английский донос, повидимому, отдавал заговорщиков с руками и ногами правительству Анны Леопольдовны—номинальной регентши при номинальном императоре одного года от роду. Фактически Елизавета и ее союзники были в руках Остермана. Когда Остерман попал в руки дочери Петра, та знала, что с ним делать, и неудавшийся правитель России умер в Березове. Но когда эту счастливую позицию занимал сам «величайший русский дипломат», он совершенно не знал, как ему поступить. Из чрезвычайно сбивчивых объяснений его на допросе[1] можно понять только одно: по поводу «извета» Финча, тотчас же нашедшего себе подтверждение с разных других сторон, при дворе много толковали, и в конце концов пришли к весьма неопределенному решению—«наблюдать». Но наблюдали за Елизаветой давно; уже в январе этого года за ней была организована форменная слежка, доставлявшая аккуратно сведения, кто приходил к цесаревне, и куда она ездила. Ни малейшей попытки пойти дальше этого не было сделано. Заговор рос, как снежный ком, в него скоро было посвящено около трети всех гвардейских офицеров (54 из 160 по донесению Шетарди от 27 июня—за *полгода* до переворота!), а Остерман все «наблюдал»... Можно думать, что у великого человека петербургских канцелярий

[1] Напечатаны в исторических бумагах, собранных К. И. Арсеньевым, Сборник Отдел. русск. яз. и слов. Академии наук, т. IX.

просто нехватало духу тронуть гвардию, силу которой он знал и перед которой чувствовал себя совершенно беспомощным. Муж правительницы, по его совету, делал чрезвычайно жалкие попытки «перекупить» кое-кого из заговорщиков. Те деньги брали, но тотчас же с хохотом несли их показывать матушке-цесаревне, куме чуть не всего гвардейского Петербурга. Фельдмаршал Миних, придя раз в новый год поздравить Елизавету Петровну, «был чрезвычайно встревожен», увидав, что весь дом великой княжны наполнен гвардейским солдатами; он с четверть часа не мог притти в себя, а это просто кумовья пришли поздравить свою куму. А когда те же гвардейцы пришли поздравить «правительницу» Анну Леопольдовну, та спряталась от них за часовых и боязливо выглядывала оттуда на эти совершенно чужие ей лица. В этих двух анекдотах—все «соотношение сил» низвергавших и низвергаемых. Остерман имел основание быть осторожным...

Но мы были бы несправедливы, если бы отнесли столбняк остатков бироновщины в эту трагическую для них минуту только к их личной трусости. Бироновщина давно и неудержимо разлагалась. Хронологическая последовательность фактов была такова: 17 октября 1740 г. умерла от каменной болезни императрица Анна. «Не бойся» были последние сознательные слова, которые слышал от нее фаворит. Совет был кстати—Бирон был в жестокой панике, и паника была основательна. В противоположность Меншикову, который стал хозяином положения именно в ту минуту, когда его покровитель умер, курляндский герцог после смерти своей покровительницы чувствовал себя в положении рыбы, вытащенной на песок. Настаивая на том, чтобы его назначили регентом, он руководился не жаждой власти, а просто инстинктом самосохранения. Не только *под* ним почва тряслась—заговоры Долгоруких и Волынского были уже совершившимся фактом,—но и на своих он не мог положиться. В предсмертных судорогах он цеплялся за расположение тех, кто все царствование Анны был для него просто предметом эксплоатации. Сбор подушной подати снова (уже в который раз!) был передан в руки помещиков, причем сама подать уменьшена на треть, не считая прощения недоимок. Была обещана уплата полностью жалованья петербургским чиновникам и офицерам (оно при Анне платилось не очень исправно) и по крайней мере в половинном размере провинциальным. Масса галерников (часто сосланных за долг казне) были выпущены из тюрем. Но он сам не верил в эффект всех этих мер. Сообщив об этих милостях, французский посланник прибавляет: «питейные дома, которые были закрыты в течение нескольких дней, теперь снова открылись. Шпионы, которых там держат, ежедневно хватают и ведут в тюрьму всех тех, кого раздражение или водка побуждает отважиться на малейшее неосторожное выражение. Так как гвардии не доверяют, вызвано шесть

батальонов (армейских), а также двести драгунов». «Прибегать к таким предосторожностям тем более, может быть, благоразумно, что брожение среди народа весьма сильно,—прибавляет Шетарди:—гвардейские солдаты говорят смелей, чем когда бы то ни было и им не смеют ничего сделать». Едва ли это было злословие по адресу Бирона: лично против него сторонники Елизаветы Петровны пока ничего не могли иметь, ибо Бирон в числе других заискивал и перед нею, назначив ей ежегодную пенсию в 50 тысяч рублей (около 400 тысяч золотом). Удар пришел, однако, не оттуда, откуда его ждали: «народного восстания», хотя бы при участии одной гвардии, не потребовалось. Один из членов бироновского же правительства, Миних, с несколькими гренадерами оказался достаточно силен, чтобы произвести «государственный переворот»: в ночь на 9 ноября (1740 г.) герцог был арестован. Совершенно не видно, чтобы его счастливым соперником руководили какие бы то ни было политические соображения: он просто хотел сесть на место Бирона, воображая, что при своей популярности между солдатами он будет на этом месте прочнее. К его удивлению, когда его самого вскоре ссадил с этого места Остерман, гвардия не шелохнулась: ей нужен был совсем не Миних. Но это был в то же время единственный бироновец, умевший хоть разговаривать с солдатами. Победитель всех своих коллег, оставшись один у власти, оказался в том трагически-беспомощном положении, какое мы видели...

Для солдатской массы уже переворот 9 ноября был сделан в пользу Елизаветы: в казармах толковали, что Миних-де для этого и арестовал герцога. Когда выяснилось, что номинально последнего заменила Анна Леопольдовна, гвардейцы были жестоко разочарованы. А мало-мальски наблюдательным людям стало ясно, что для низвержения остатков бироновского правительства вовсе не нужно ни шведского флота, ни французских миллионов,—довольно немного решительности и одной роты гренадер. Шведский проект пришел слишком поздно для Швеции, и если Елизавета за него уцепилась, то главным образом потому, что у нее самой решительности было немногим больше, чем у ее противников. Как известно, гренадерам пришлось взять инициативу на себя, и роль Елизаветы в ночной операции 25 ноября 1741 г. была более декоративная. Так как шведы перед этим только-что допустили себя разбить в Финляндии, то Елизавета с большим основанием могла впоследствии утверждать, что ничем им не обязана. Гренадеры имели сердце более благодарное. Конечно, они слишком хорошо помнили северную войну, чтобы примириться со шведами. Но когда несколько из них, порядочно выпивши, пришли раз во дворец и застали там маркиза де-Шетарди, они, облобызав ручку императрицы, пожелали непременно поцеловаться и с французским посланником: он был теперь тоже их кумом. «И он поцеловался с

этими янычарами», со скрежетом зубов писал об этом факте английский посланник: ему его ставка казалась окончательно проигранной. Последствия не замедлили обнаружить, что он очень ошибался.

2. Новый феодализм.

«Третьего дня вечером,—писал своему начальнику злосчастный Финч, с небольшим через три недели после вступления Елизаветы на престол,—государыня, присоединив к 141 гренадеру еще сколько нужно других людей для комплекта в 300 человек, образовала из них лейб-компанию, в которой все нижние чины объявлены поручиками, капралы и сержанты—капитанами и майорами, а шесть человек, на долю которых выпали главные хлопоты при последнем перевороте,—подполковниками. Офицеры еще не назначены; определено однако, что прапорщики лейб-компании имеют пользоваться чином бригадира, два подпоручика—чином генерал-майора, а поручики—чином генерал-лейтенанта армии. Расквартирована лейб-компания будет в домах, нарочно для нее купленных государыней вокруг дворца. Капитаном ее будет сама царица. Она заказала себе гренадерскую шапку и мундирную амазонку и станет во главе лейб-компанцев, как только обмундировка их будет закончена.» В знак особенной милости, образчики этой обмундировки, занимавшей такое важное место в предпринимавшейся новой государыней важной мере, были показаны игравшим с нею в карты иностранным дипломатам—в том числе и Финчу; об его доносе уже знали, но старались соблюсти внешние приличия и продолжали его принимать. То же соблюдение внешних приличий заставляло позаботиться и еще кое о чем, кроме обмундировки. Разговаривая с теми же дипломатами по поводу нового мундира, Елизавета Петровна добавила, что намеревается «мало-по-малу из теперешнего состава лейб-компании удалить наиболее развращенных и пьющих (их там немало) и со временем устроить так, чтобы весь отряд состоял из одних дворян (хотя и теперешние все возведены в дворянство)». Но лейб-компанцев гораздо легче было украсить цветным сукном и золотым шитьем, нежели какими-нибудь буржуазными добродетелями, в роде трезвости и воздержанности. Когда одного запьянствовавшего гренадера из императрицыной роты его начальство посадило под арест, его товарищи, как один человек, объявили бойкот императорскому двору, и никто из них во дворец в этот день не явился. Елизавета, узнав об этом, «немедленно и очень любезно приказала освободить арестованного и простила его». «Замечательное поведение гренадер должно вызвать на размышления,—замечает по этому случаю Финч.—Они явно сплотились в строгий союз, дабы стоять одному за всех и всем за одного, что, пожалуй, не позволит ее величеству осуществить

предположенное удаление наиболее распущенных из их среды. Пожалуй, и объявленное прощение было вызвано не столько милосердием, сколько страхом; она [ее величество], пожалуй, признает себя зависимой от них; здешняя знать, по крайней мере, чувствует их господство над собой.»

Елизавету Петровну так принято изображать доброй русской барыней. Она, действительно, находила такое же удовольствие «быть постоянно окруженной толпой холопов», как и «менять свои туалеты по 4 и по 5 раз на дню»: и то и другое засвидетельствовал хорошо ее знавший человек, маркиз Шетарди. Смешно было бы отрицать в Елизавете генерические черты того типа, первый образчик которого на русском престоле явила императрица Анна. Но жанровая сценка, которую нарисовал нам только-что неудачливый противник счастливого маркиза, показывает, что в области генерических черт у нее, пожалуй, еще больше было сходства с ее матерью: как и Екатерина, Елизавета была, прежде всего другого, «полковницей». Эту параллель можно бы провести до мелочей,—до любви к венгерскому, например, столь прочной и интенсивной, что, по словам того же французского дипломата (который был для Елизаветы, кажется, кое-чем больше, нежели просто «представителем дружественной державы»), ничем нельзя было лучше угодить новой царице, как подарив ей хороший запас этого вина доброй марки. Или до любви к «развлечениям», опять таки столь интенсивной, что только богатырское здоровье дочери Петра, не подточенное притом хроническим недугом, как у ее матери, позволило ей продержаться двадцать лет, вместо двух лет царствования, которое судьба послала Екатерине I. Ни одно царствование, не исключая Екатерины II, не поддается до такой степени превращению в chronique scandaleuse, как это: не предполагая состязаться со специалистами этого жанра, мы не будем пускаться в подробности интимной жизни Елизаветы Петровны[1]. Отметим только, что черт сходства с казармой или с лагерем в придворном быту ее времени гораздо больше, нежели типичных черт помещичьей усадьбы. Последняя прежде всего нечто неподвижное, веками вросшее в землю: владелец

[1] Недаром «La dernière des Romanov» является несомненно лучшим томом в длинной серии трудов Валишевского, посвященных XVIII в. Нам случалось читать, что теперь и эту книгу перевели по-русски: не видав перевода, мы не можем ручаться за его полноту. Когда-то Валишевский удостоился очень сурового отзыва со стороны одного весьма известного историка-материалиста: писания Валишевского были охарактеризованы, как лакейские сплетни. Может быть, суровый критик вспомнит, что всего в девяностых годах прошлого столетия гораздо менее жестокую по своей правдивости «Историю Екатерины II» Бильбасова пришлось издавать в Лондоне? Разрушать официальный обман, гипнотизировавший ряд поколений, всегда дело полезное,—между прочим именно с точки зрения материалистического понимания истории: нигде исторический идеализм не чувствует себя так уютно, как под благодетельным покровом этого обмана.

если и выезжал из нее , то только по крайней необходимости. Почитайте записки Екатерины II: перед вами картина какого-то кочующего табора. «Зеркала, постели, стулья, столы и комоды перевозились из зимнего дворца в летний, оттуда в Петергоф, и даже ездили с нами в Москву»... Жили в наскоро построенных деревянных домах, где зимою вода текла со стен и куда людей набивали, как селедок в бочку. Великая княгиня (тогда единственная на всю Россию), жена наследника престола, должна была спать в прохладной комнате, через которую поминутно бегали ее камерфрау и просто горничные, в количестве семнадцати душ набитые в комнате рядом, не имевшей другого выхода, как через великокняжескую спальню.» Ассенизационные приспособления при этой женской казарме живо напоминают реалистическое описание русского бивуака в известной сцене «Войны и мира». Но этим неудобства не исчерпывались: «ко мне набиралось оттуда столько всякого рода насекомых, что я, бывало, не могла уснуть от них», жалуется Екатерина. Нередко эти эфемерные постройки рушились — и только по счастливой случайности от одной из таких катастроф уцелела русская династия. Еще чаще они сгорали, как груда щепок, раньше, чем успевали опомниться: от большого московского дворца Елизаветы в ноябре 1753 г. через три часа ничего не осталось, кроме кучи угольев.

Елизавета так привыкла к деревянным домам, что с трудом представляла себе другие: когда ей донесли о лиссабонском землетрясении, первое, что ей пришло в голову — это послать португальскому королю лесу на постройку нового города. Ее с трудом убедили, что, пока придет русский лес, португальцы давно успеют отстроиться. Но императорскому лагерю не всегда хватало даже этих деревянных бараков, и тогда двор размещался, как армия на походе, в палатках. Когда императрица «ходила пешком» из Москвы к Троице (эта экспедиция обыкновенно продолжалась целое лето), мы всего чаще встречаем ее в этом солдатском помещении. В палатке происходила и знаменитая сцена с ежом, которого императрицын шут принес показать своей госпоже, чем напугал ее до полусмерти. Так как императорский испуг—дело серьезное, то шутом и ежом занималась впоследствии тайная канцелярия... Приехала императрица в Ревель—бал устраивается в ее палатках; а так как во время бала полил, как из ведра, дождь, то скоро полностью была воспроизведена знакомая нам картина петровского праздника в Летнем саду. Промокшие гости могли по крайней мере утешать себя тем, что традиции преобразователя не забываются его дочерью. В Рогервике двор опять стоит в палатках, поставленных прямо на жесткие голыши прибрежья: у Екатерины четыре месяца потом болели ноги от ходьбы по этим голышам. Другой раз она сильно простудилась, потому что в ее палатку набралось по щиколотку воды. Для лагерной жизни

короткое платье лучше подходило, нежели пышные дамские «робы» того времени: и если мы так часто встречаем Екатерину, на страницах ее записок, в мужском костюме, то причиной этого было не одно кокетство—соображения практического удобства требовали того же. Военному быту соответствовали и военные нравы: в записках Екатерины карты встречаются не реже, чем они встречались бы в воспоминаниях какого-нибудь гусарского поручика. В Козельске (куда судьба ни заносила императорский лагерь!) «в большой зале, занимавшей середину дома, постоянно с утра до вечера шла игра в фараон и по большой цене, зато в остальных комнатах была теснота». Чтобы великая княгиня могла держаться на соответствующей ее званию высоте, ей выдавались специальные суммы «для игры в фараон»—суммы, довольно значительные: однажды упоминается 3 тыс. руб., не меньше двадати—двадцати пяти тысяч золотом. «На другой день по приезде нашем в Катеринеталь (в Ревеле) придворная жизнь пошла прежним, обыкновенным порядком, т. е. в зале, занимавшей середину двухъэтажного дома и составлявшей переднюю комнату императрицы, с утра до поздней ночи происходила карточная игра, довольно значительная... Я наравне с другими играла в фараон, которым обыкновенно занимались все любимцы императрицы, если не уходили в покой ее величества, или, лучше сказать, в ее палатку. Эта большая и великолепная палатка была разбита возле ее комнат... «Итак, даже когда были комнаты, предпочитали жить в палатке: правда, комнаты «были очень малы». Но на тесноту вообще, как мы видели, не обращали внимания[1].

Елизавета Петровна, может быть, очень хотела бы видеть вокруг себя лакеев, но в казарме и лагере чаще поневоле видишь солдат; а солдаты с первых же шагов показали, что с ними нельзя обращаться, как с лакеями. Гвардейское шляхетство твердо решило не повторять ошибки 1730 г. и, заняв престол своим человеком, не выпускать этого человека из-под своего наблюдения. «Интересы», которые таким наблюдением охранялись, пока дело шло о лейб-компании, были, конечно, весьма примитивные. Но за буйной и пьяной шляхетской молодежью стояло старшее поколение, для которого опыт бироновщины тоже не прошел даром. «Сенат, составленный из русской знати, начинает приобретать большой вес и старается возвратить ее царское величество к старорусским взглядам», доносил (от 8 июля 1742 г.) преемник Финча, сэр Кириль Уэйч. Полгода спустя он говорит даже, что сенат «покушается на прерогативы» императрицы. С целью будто бы отпарировать эти покушения, последняя организует «новый совет или кабинет из

[1] Мы далеко не исчерпали, само собою разумеется, бытового содержания записок Екатерины. Это, как известно, их самая сильная сторона: что касается рассказа о личных отношениях автора, то тут мы имеем в «записках» не историю, а роман, и притом весьма тенденциозный.

6—7 лиц». На таких воззрениях английского представителя, по-видимому, сказалась некоторая удаленность его от придворных центров, слишком естественная после инцидента с Финчем. Елизавета долго после не могла переносить англичан. Как-то она залюбовалась большим портретом Петра, висевшим в одной из комнат дворца. «Какой художник его писал?» спросила она. Ей назвали английское имя. Она поспешно отвернулась и пошла прочь: с тех пор портрет ей перестал нравиться. От более близкого к делам Шетарди мы знаем, что совет—не в виде учреждения, таким он никогда не сделался, а на правах домашнего кружка «ближайших сотрудников»—существовал уже через месяц после переворота. В него входят более влиятельные сенаторы (в их числе мы встречаем и обломок верховного тайного совета, в лице фельдмаршала князя Вас. Влад. Долгорукого, освобожденного Елизаветой из Шлиссельбурга, и бывшего лидера шляхетства 1730 г., кн. Черкасского, ставшего при Елизавете великим канцлером), но их близость к императрице так же мало стесняла сенат, как учреждение, как наличность кабинета из лидеров большинства палаты общин мало стесняет эту последнюю. Кабинет стесняет не парламент, а личную власть. Сенат Елизаветы Петровны больше подходил по своему политическому значению к верховному тайному совету, нежели какое бы то ни было другое учреждение раньше или после. Вассалитет феодальной монархини, провозгласив ее государыней (в самом буквальном смысле этого слова: как известно в манифестах о вступлении на престол Елизавета Петровна писала, что она приняла правление по прошению всех своих верноподданных. «*а наипаче лейб-гвардии нашей полков*»), стал вести себя, как вел всегда и везде всякий вассалитет: в лице наиболее крупных сеньеров он взял управление в свои руки. После полувекового перерыва Россия стала, наконец, опять той «дворянской Россией», какую мы видели накануне Петра.

В чем заключалось это, теперь уже действительно дворянское, управление Россией, начавшееся 25 ноября 1741 г., в день вступления Елизаветы на престол, и оборвавшееся 6 ноября 1796 г., почти ровно через пятьдесят пять лет, в день смерти ее невестки? В нем легко подметить две полосы: одну, когда просто выполняется программа 1730 г., не та, какая в довольно туманном виде носилась в голове литературных представителей движения, а та, которая была доступна и понятна каждому среднему «шляхетному», и которая вся сводилась к избавлению шляхетства от тягостей, навалennых на него службою торговому капиталу. Эта полоса охватывает царствование Елизаветы и Петра III ее кульминационным пунктом является манифест о «вольности дворянства» 18 февраля 1762 г. С этого момента пассивная оборона может считаться достигнувшей своей конечной цели: «тягости» с шляхетства все стряхнуты. Но одержанная социальная победа пробуждает дремавшие еще в 1730 г.

политические инстинкты. Дворянство скоро не довольствуется фактическим приспособлением к своим нуждам обломков петровских учреждений, как это было с елизаветинским сенатом. Оно хочет организовать все государство заново и по-своему. У него теперь оказывается, действительно, программа: правда, и теперь не особенно стройная, но во всяком случае гораздо более детально разработанная, нежели в 1730 г. Выполнение этой программы и споры около нее наполняют вторую полосу дворянской политики; межевыми камнями этой полосы можно поставить 1767 г., год созыва екатерининской комиссии, и 1785 г., издание жалованной грамоты дворянству. Но в тот момент, когда, казалось, остается только «увенчать здание», обнаружилось, что под ним уже нет фундамента. Пугачевский бунт наметил первый сдвиг почвы—и с тех пор непрерывно тряслось то там, то сям. Пришлось строить спешно новую оборонительную систему, чтобы защищаться уже не от деспотизма сверху, а от революции снизу. В этой лихорадочной работе были брошены мало-по-малу за борт все «заветы» предшествующего поколения; а когда система при Николае Павловиче была закончена, то оказалось, что ею нечего оборонять, ибо те «ценности», во имя которых велась вся работа, к сороковым годам XIX в. не стоили уже ни гроша. Надо было начинать всю стройку сызнова,— получились реформы Александра II.

Изучение последовательных этапов дворянской политики XVIII и первой половины XIX вв. составит содержание ряда ближайших глав «Русской истории». В настоящей главе мы не будем выходить из пределов первой полосы первого периода этой политики (1741—1796 гг.). Но прежде чем говорить о том, чем она была, излагать ее *положительное*, с точки зрения дворянских интересов, содержание, приходится сказать несколько слов о том, чем она *не была*: эта отрицательная ее сторона тесно связывает ее с предыдущим периодом. Иначе читатель может подумать, что 25 ноября 1741 г. было в самом деле какой-то катастрофой, что одна Россия провалилась в преисподнюю, а другая внезапно возникла на ее месте. Ничуть не бывало: в известном смысле—и притом в *главном* ее смысле—«бироновщина» непрерывно продолжала существовать во все царствование Елизаветы. До тех пор, пока она не задевала чувствительно интересов дворянства, на нее просто не обращали внимания. Только изведав на опыте Семилетней войны, к каким последствиям она может привести, ей положили конец—переворотом 28 июня 1762 г.

Мы видели, что дворянская оппозиция при Бироне шла под *национальными* лозунгами: «против немецкого ига». Мы видели также, что у этой субъективной стороны дворянского движения были известные объективные основания: «немцы» были на жалованьи заграничного капитала и продовали ему русские интересы и русские штыки по мере спроса. Мы видели

также, что собственно национальность «немцев» была здесь не при чем: курляндец Бирон продавал Россию не своим соотечественникам, но англичанам. После 25 ноября 1741 г. у власти должны были стать «чисто русские» люди: в смысле национальности это, действительно, и было так. Черкасские и Трубецкие, Куракины и Нарышкины, Головин и Бестужев, Ушаков, Чернышев, Левашов—эти имена членов императорского совета 1741 г. говорят сами за себя. Но вот странно: иностранные агенты хлопочут больше не около них, за некоторыми исключениями, а около не занимавшего никакого почетного поста человека с иностранным именем. И этот человек, врач Елизаветы Петровны, *француз* Лесток, скоро благополучно ставит внешнюю политику России на те *английские* рельсы, с которых она чуть-чуть не соскочила благодаря глупости правительницы Анны Леопольдовны и трусости Остермана. Приглядимтесь поближе к деятельности этого Лестока или, лучше сказать, к деятельности английских дипломатов по отношению к этому Лестоку: мы увидим очень знакомую картину. Меньше, нежели через год после торжества «национальных начал», вот что писал своему министру преемник Финча: «не стану беспокоить вас подробным рассказом обо всем, что я предпринимал со времени своего приезда к русскому двору для приобретения дружбы и доверия Лестока. Не жалея ни здоровья, ни денег, я провел с ним несколько ночей, играл с ним на большие суммы, чтобы приобрести его расположение и, наконец, нашел случай... внушить, что для него и почетно и выгодно будет воспользоваться своим влиянием на советников ее царского величества для поддержки мероприятий, угодных его величеству (Георгу II английскому). Он дал мне всевозможные уверения, что впредь будет держаться поведения, направленного к поддержанию теснейшего союза между королем и царицей. Чтобы поддержать Лестока в таком расположении, выгодном для службы королевской, я предложил ему именем его величества пенсион, который он и принял с готовностью, не допускающей сомнения в его намерении оказаться достойным милости, которую король разрешил мне оказать ему». В Лондоне не особенно доверяли хирургу Елизаветы Петровны— не в силу его французского происхождения, а так как знали, что он получает пенсион и от Франции. Английским министрам казалось невероятным, чтобы один и тот же человек мог служить сразу двум, враждующим между собою державам, не обманывая одной из них. Но Кириль Уэйч, к тому времени уже достаточно осмотревшийся в Петербурге, смотрел на вещи шире. Он вполне допускал, что Лесток, может быть, обманывает обоих своих давальцев, но что, тем не менее, при некоторой ловкости каждый из них может извлечь из него свою долю пользы. «Очень вероятно, что Лесток получает пенсион от Франции,—писал он,—но вне сомнения, что он на-днях же был мне очень полезен для ускорения подписа-

ния нашего контракта». И он настоял на том, чтобы этому полезному человеку дали пенсию (правда, не очень щедрую: 600 фунтов, т. е. около 2½ тысяч рублей тогдашних, в год, да еще взяли при этом нечто в роде расписки...). Притом же Уэйч—недаром «просвещенный мореплаватель»—был слишком осторожен, чтобы держать свой корабль в такое бурное время на одном якоре, у него было их несколько. Еще раньше, чем Лестока, он отметил будущего руководителя иностранной политики при новом царствовании. «Братья Бестужевы достойны получить осязательные доказательсва (some sensible proof) милостивого расположения к ним его величества,—писал он еще в июле 1742 г.—Поведение их всегда оставалось неизменным, всегда было направлено к утверждению теснейшего союза морских держав с Россией. И они, полагаю, не стеснятся принять милость от короля, так как его величество не может потребовать от них взаимно ничего, что бы не соответствовало их собственным взглядам, а также действительным, несомненным выгодам российской империи». Но час фавора Бестужевых еще не пришел, поэтому с пенсионом для них решено было обождать. Тем не менее один из братьев, скоро ставший очень знаменитым, Алексей Петрович, уже тогда занимал весьма крупный официальный пост: был вице-канцлером, товарищем министра иностранных дел, а фактически министром, так как номинальный канцлер, князь Черкасский, не знавший иностранных языков, притом старый и больной, мог только носить титул, но ничего не делал. Что такой важный чиновник, державший в руках все дела, мог на эти дела иметь меньше действительного влияния, нежели придворный доктор императрицы, это, конечно, необычайно характерно для елизаветинского режима. Но англичанин брал вещи такими, каковы они есть, и в то время как доктору платили постоянное жалованье, притом за полгода вперед, министр иностранных дел получал сдельно и лишь в случае удачи. Убедившись, что «вице-канцлер хорошо служит королю и раз чуть было не поплатился за расположение к благому делу», решено было выдать и ему 8 тысяч рублей единовременно. Бестужев закапризничал,—стал толковать, что он без разрешения императрицы не может взять денег, и такою добродетелью сначала поставил было втупик Уэйча. Тот никак не мог понять, что же собственно Бестужеву нужно? Ларчик скоро открылся просто: неподкупный человек желал иметь на 1 500 рублей больше. Английский дипломат не без брезгливости сообщает об этой мелочности «хорошо служившего» английскому королю русского министра[1]. Впоследствии англичане, однако, привыкли к изворотам Бестужева, постепенно дошедшего до такой виртуозности, что он брал взятки не только с разрешения императри-

[1] См. депешу Уэйча от 3 мая 1743 г. «Сборник Русск. истор. о-ва», т. 99, стр. 340.

цы (Елизавета знала, что ее министры берут, и раз в сердцах сказала это в глаза Бестужеву), но, можно сказать, ее руками. Операция обставлялась так: Бестужев «закладывал» свой дом английскому консулу; «заем» был, разумеется, фиктивный—фактически деньги шли из секретных фондов английского кабинета. Но императрице, улучив добрую минуту, обыкновенно за столом, после нескольких бокалов шампанского или венгерского, кто-нибудь из друзей канцлера докладывал, что тот дошел до крайней нужды—даже дом, где он живет, в сущности уже не его. Елизавета была женщина добрая, хотя и вспыльчивая; снести такой нищеты своего верного слуги она не могла,—кабинет получал приказание выдать Бестужеву потребную сумму на выкуп его дома. История умалчивает, получал ли что-нибудь из этой суммы английский консул: надобно думать, что он был бы крайне изумлен, если бы ему стали возвращать «долг». Бестужев же получал вдвойне, и притом лойяльность его была гарантирована настолько прочно, что в нее верили не только многие современники, но даже и профессора истории XIX в.[1].

Бестужев называл свою политику—не относительно дома, разумеется, а относительно Англии—«системой Петра Великого». На самом деле она гораздо больше заслуживала названия системы Бирона, первого покровителя Алексея Петровича, который в кабинете Анны сел на место Волынского. Результаты 25 ноября 1741 г. в области внешних отношений были быстро стушеваны: почти ровно через год, 30 ноября 1742 г., между Россией и Англией был подписан «союз дружбы, единения и обоюдной защиты, с принадлежащими к нему сепаратными и секретными статьями». Елизавета Петровна могла сколько угодно не выносить звука английского имени и уверять, что все английское «будет ей всегда противно»: она была такою же союзницей Георга II, как и обе Анны, императрица и правительница. В борьбе английского и французского капитализма, которая составляет основной фон всей международной политики первой половины XVIII в., и тот эпизод, который разыгрывался за кулисами петербургского двора, разрешился в пользу Англии. Недавний «кум» лейб-компанцев, второе лицо при дворе после императрицы («первый поклон отвешивают еще Елизавете, а второй уже, конечно, французскому посланнику», ядовито замечал один не французский посланник), маркиз Шетарди, скоро оказался в самом комичном положении «неприятного ино-

[1] *Бильбасов*, «История Екатерины II», т. I, стр. 71 примеч. Автор приводит этот факт, ничтоже сумняся, тотчас после того, как он присоединился к мнению Екатерины II о «неподкупности» Бестужева. Чего стоит мнение Екатерины по такому вопросу, мы сейчас увидим. Наивность же самого Бильбасова как не надо лучше демонстрирована Валишевским, которому, впрочем, не трудно было это сделать. См. «La dernière des Romanov», p. 117 ssq.

странца», высылаемого из России без права обратного въезда. Для достижения такого блестящего результата Бестужеву достаточно было показать императрице расшифрованную с большой ловкостью его агентами переписку ее французского «друга». Она нашла там такие выражения о своей особе, что в себя не могла притти от негодования, тем более что характеристика была верная[1]. Нужно прибавить, что в не менее комическое положение попала и Швеция, так рыцарски обнажившая меч на защиту прав дочери Петра: вместо обратного получения в награду за рыцарство провинций, отнятых у нее Петром, она должна была (по миру 1743 г.) уступить России еще добрую полосу своей финляндской территории. Ибо, вступив на престол, Елизавета немедленно позабыла с таким трудом вытянутые у нее обещания, а так как на поле битвы шведам не везло, то трудно было их напомнить. Англичане, постепенно возвращая себе все позиции, занятые при Анне и чуть не потерянные в 1741 г., одновременно могли себя утешить, что и привилегия одевать «национальную» армию Елизаветы Петровны осталась за ними, как и в дни «немецкого ига». В конце 1743 г. был подписан контракт с английскими купцами «на обмундирование трех гвардейских полков, полков артиллерии, флота и всех армейских полков». Контракт был пятилетний. «Это очень важно,— прибавляет, сообщая новость, Уэйч,—так как мы за это время из году в год будем в состоянии продавать русскому правительству на пятьдесят тысяч фунтов стерлингов одного грубого сукна, не считая лучших сортов и тончайшего сукна, отправляемого через Россию в Персию». Персидская английская компания также продолжала действовать при Елизавете, но не дала тех выгод, каких раньше от нее ждали.

У этих успехов английской дипломатии была, однако, оборотная сторона: они внушили победителям такую уверенность в себе, что те стали считать себе дозволенным все, раз дело шло о России. Не говоря ни слова своей союзнице, Англия заключила (5 января 1756 г.) наступательный и оборонительный союз с Пруссией, с которой у России с 1750 г. были прерваны всякие дипломатические сношения. Надо иметь в виду, что русско-английский союз был направлен главным образом против Пруссии; что Фридрих II был, можно сказать, «персональным» неприятелем Елизаветы Петровны, не терпевшей его, если это возможно, еще больше, чем англичан: она называла его «Шах-Надиром прусским» и с ужасом говорила, что прусский король, кажется, и в церковь не ходит; что, наконец, в это самое время Австрия, днем с огнем искавшая союзников против Фридриха, была в Петербурге наготове с баснословными по своей соблазнительности предложениями: Елизавета просила 4 миллиона

[1] Она напечатана (быть может, не без пропусков) с подлинника в 105-м томе Сборника Русск. истор. о-ва»., стр. 233 и сл.

флоринов субсидии и получила два. Так как от субсидий в карманах фаворитов и министров императрицы всегда оставалось достаточно, это могло быть уравновешено лишь исключительными щедротами английского кабинета, который как-раз теперь, взяв на содержание прусскую армию—первую армию в Европе,—стал скупиться на приобретение русской. Англичане везде предпочитали первый сорт. И вот—такова объективная сила денег!—англофильское правительство (канцлером продолжал оставаться Бестужев) принимает участие в Семилетней войне, последнем эпизоде великой колониальной борьбы Англии и Франции,—на стороне последней и против первой. Казалось, что было за дело русским помещикам и крестьянам, что где-то, на берегах реки св. Лаврентия, в Канаде, солдаты в синих мундирах обменялись выстрелами с солдатами в красных? Да что было до этого за дело и помещикам и крестьянам прусским? И тем не менее стоило начаться англо-французской войне, началась прусско-австрийская, а за нею и русско-прусская. Мы не будем входить в подробности этой войны—первой большой европейской, в какой после 35-летнего промежутка приняла участие Россия. Но, чтобы закончить характеристику «бироновщины после Бирона», нельзя не сказать несколько слов о том способе, каким Англия и в этом случае ухитрилась все-таки обеспечить свои интересы.

«Около Троицына дня (1755 г.—следовательно, за год до начала войны) прибыл в Россию английский посланник кавалер Уильямс,—рассказывает в своих записках Екатерина II.—В свите его находился граф Понятовский, поляк, отец которого держал сторону Карла XII, шведского короля. Императрица приказала отпраздновать именины великого князя в Ораниенбауме. К нам съехалось много народа; танцовали в той зале, которая при входе в мой сад, и потом в ней же ужинали; посланники и иностранные министры также явились. Помню, что за ужином английский посланник, кавалер Уильямс, был моим соседом, и мы вели с ним приятную и веселую беседу: он был умен, сведущ, объездил всю Европу—с ним нетрудно было разговаривать». Разговор шел впрочем не о всей Европе, а только о графе Понятовском. По случайности как-раз около этого времени Екатерина узнала, что прежний предмет ее внимания, Сергей Салтыков—после рождения Павла Петровича вынужденный покинуть Россию—ведет за границей очень рассеянную жизнь и «волочится за всеми дамами, какие ему попадаются». Женское самолюбие Екатерины было задето, в сердце ее чувствовалась пустота,—красивый и обаятельный польский граф, приехавший в Петербург в свите английского посланника, стал в великокняжеском дворце желанным гостем. Надежда Уильямса, что Понятовский «будет иметь успех в России», исполнилась очень быстро: впрочем, английская дипломатия и гораздо раньше, еще в дни Уэйча, имела ясное представление о

политической роли, какую может сыграть в России «красивый молодой дворянин». Только, держа на жалованьи русского министра иностранных дел, англичане пренебрегали этим средством, предоставляя им пользоваться более бедным—или более скупым—французам. Оценив Понятовского, нельзя было не почувствовать благодарности и к Уильямсу, виновнику его появления при петербургском дворе. Английский «кавалер» был притом не только интересный собеседник. Екатерина была страшная мотовка, как ни старается она замаскировать этот факт в своих мемуарах; в деньгах она постоянно нуждалась—просить же их у императрицы было не всегда удобно, вернее, всегда неудобно. Елизавета принималась в этих случаях ворчать и распространяться об ее собственной бережливости, когда она была цесаревной (в действительности она была в те времена в долгу, как в шелку, несмотря на то, что и Анна и Бирон были к ней щедрей, чем она к своей невестке). Можно себе представить приятное удивление великой княгини, когда она узнала от Уильямса, что под руками есть отличный способ «перехватить» в критическую минуту: все у того же волшебника, английского консула. Факт этих «перехватываний» удостоверен документально; самый крупный из известных заем в 44 тыс. руб. (более 350 тысяч на теперешние золотые деньги) относится к ноябрю 1756 г., когда война была уже решена и русский главнокомандующий, приятель Екатерины, Апраксин, уже отправился к армии. А 18 декабря Уильямс[1] вот что писал своему кабинету: «посылаю вам самые верные известия, которые только удалось мне получить относительно планов, касающихся русской армии. Они были сообщены мне здешним лучшим моим другом (ma grande amie), великою княгиней. Она имела весьма продолжительный разговор с фельдмаршалом Апраксиным в ночь накануне его отъезда в Ригу, и то, что я пишу вам теперь, есть только точный список того письма, которым ее высочество почтила меня на другой же день». 7 января депеша Уильямса была в руках Фридриха II,—а 8-го русский операционный план был сообщен фельдмаршалу Левальду, командовавшему против Апраксина. В утешение читателя мы можем только прибавить, что этот акт—находящий себе вполне определенную квалификацию не только в международном, но и в уголовном праве—практических последствий не имел. На практике русская армия обошлась без всяких операционных планов. Прошло чуть не полгода, раньше чем Апраксин, очень не хотевший воевать, собрался, наконец, перейти прусскую границу. К этому времени вся обстановка

[1] Так как война шла формально с Пруссией, а не непосредственно с Англией, то дипломатические сношения с последней не прерывались. Это было очень удобно англичанам...

[2] См. для всего этого инцидента *Бильбасова*, т. I, стр. 318 и сл. и приложение III—стр. 453 и сл. Бильбасов, конечно, отчаянно защищает свою героиню и храбро обвиняет Уильямса во лжи. Но аргументы его не силь-

настолько изменилась, что планы, составлявшиеся осенью предшествовавшего года, никуда более не годились[2].

Русское дворянство, тысячами клавшее свои головы в бессмысленной, с точки зрения его классовых интересов, войне против Пруссии, никогда не узнало, кто играл его головами. Но тягости пятилетней (для России) войны нельзя было не почувствовать. Ко времени смерти Елизаветы положение было таково, что всякое разумное правительство поспешило бы как-нибудь выпутаться из дела. Когда мы читаем, что за январскую треть 1760 г. жалованье войскам удалось выдать только в половинном размере, да и то медными деньгами,—а чтобы добыть эти последние, пришлось переливать пушки в монету,—знаменитая фраза Елизаветы Петровны о распродаже ее бриллиантов и туалетов, если понадобится, на нужды войны, перестает казаться только фразой. Но если императрице приходилось подумывать об отказе от привычной для нее роскоши (при дворе ее времени принято было переодеваться 3—4 раза в день, причем сама Елизавета Петровна редко надевала вторично однажды виденное публикой платье: так что цифра 15 000 платьев, о которой говорили современники, не покажется фантастической), то для дворянства, благодаря той же войне, начинало не хватать необходимого; если бы не отсрочка платежей в основанный Елизаветою дворянский банк, большая часть его клиентов осталось бы без имений. По этому положению заемщиков банка, составлявших привилегированное меньшинство помещиков, можно судить о положении большинства. Причина была та же, что и во время петровских войн: годами не живя в имении, офицер или солдат-помещик поневоле запускали хозяйство. А к исполнению воинской повинности тянули почти так же неукоснительно, как и при Петре: требовали даже старых, больных, даже никогда, фактически, военными не бывших—например горных офицеров отправляли в действующую армию. Рекрутские наборы следовали один за другим, отбирая у владельцев крепостных деревень лучшие рабочие руки. Манифест о вольности дворянства—дело рук, в действительности, елизаветинского министра Воронцова (Петр III к изданному им манифесту не имел в сущности никакого отношения)—был не только логическим завершением дворянского царствования: это было слишком естественное стремление разредить сгустившуюся атмосферу. Работа упраздненной одновременно тайной канцелярии была лучшим барометром, и барометр этот показывал бурю.

нее, чем в деле с Бестужевым. Что изложенный Уильямсом со слов Екатерины план был «нелепостью»—очень возможно: но мало ли в нашей военной истории нелепостей еще больших? А что Уильямс медлил с его сообщением полтора месяца (главный козырь историка Екатерины II), так тот сам объясняет причину, чего Б. не заметил. «Я все еще надеюсь добыть инструкцию, данную Апраксину,—пишет У.,—мне обещали уже два раза, но эти обещания еще не исполнены». Подлинная инструкция была бы куда ценнее дамского письма: было из-за чего подождать.

Когда Петр III под влиянием личных симпатий к Фридриху II поспешил заключить мир, этому, в сущности, все очень обрадовались. «Негодование» же он вызвал не этим, а намерением начать новую войну против Дании из-за Голштинии. Сопоставление фактов не оставляет ни малейшего сомнения, что непосредственный толчок к гвардейскому мятежу 28 июня 1762 г. дало именно это. Когда 3 июня высочайшим повелением были прекращены отпуска и всякие другие «отлучки» людей от полков—знак близкого похода,—по Петербургу толпами ходили гвардейцы, «почти въявь» ругая Петра III. В это же время вербовка заговорщиков Орловыми начинает итти особенно бойко, и только с этого времени самый серьезный человек заговора, Панин, серьезно за него принимается. Он понял, что груша созрела... Чем ближе поход, тем настроение острее. 26 июня был заготовлен провиант для гвардии от Петербурга до Риги. В тот же день вечером один капрал Преображенского полка спрашивает поручика Измайлова: «скоро ли свергнут императора?» 27 июня «преображенский солдат, вышед на галлерею, зачал говорить, что когда выйдет полк в Ямскую, в поход в Данию, то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу возлюбленную матушку-государыню, которой мы рады служить». Гвардии переворот помешал выступить, но двинутые ранее армейские полки, не дожидаясь приказаний, повернули к своим квартирам, как только узнали о низвержении Петра[1]. Судьба этого злосчастного государя становится нам понятна только в связи с его не менее, чем он сам, злосчастной внешней политикой.

До тех пор, пока дворянство не почувствовало внешней политики на своих боках, оно не имело поводов в нее вмешиваться. Если мы хотим найти дворянскую реакцию в царствование Елизаветы, мы должны ее искать в политике внутренней. Здесь картина получается совершенно отчетливая: шляхетство, наконец, добилось своего. Елизаветинский сенат, как уже давно заметили исследователи, был центром дворянского режима. «Без преувеличения, правление Елизаветы Петровны можно назвать управлением важнейших сановников, собранных в сенат», говорит Градовский: и «нельзя не согласиться, что сенат неуклонно вел подчиненное ему сословие к свободе рядом практических мер»[2]. Градовский совершенно справедливо отмечает, что такое значение сената было тесно связано с сосредоточением в столице массы дворян: сенат был орудием социальной политики гвардии, как лейб-компания—орудием ее придворного влияния. Возрождающийся феодализм нашел свой центр, составленный, как и все феодальные центры, из представителей вассалитета не по избранию, а по положению. В сенат вошло

[1] *Бильбасов*, т. II, стр. 2, 3, 6, 15 и сл., 36.

[2] «Высшая администрация России XVIII стол. и генерал-прокуроры», Сочинения, т. I, стр. 193 и 221.

все, что было повиднее среди шляхетства: «звание сенатора сделалось важнейшим отличием и ставится впереди всех других званий сановника. Петр Иванович Шувалов назывался просто сенатором Шуваловым». Особенно характерна для елизаветинского сената его власть над армией. «Обе воинские коллегии были обязаны строгою отчетностью пред сенатом в денежных суммах, находившихся в их распоряжении... По его (сената) распоряжению формируют новые полки. Он заботился об образовании молодежи, приготовляющейся к военной службе... Укомплектование полков и наборы вполне находятся в его распоряжении... Обмундирование и продовольствие армии находилось под его руководством, так что генерал-кригс-комиссары, кажется, имеют дело больше с ним, чем с военною коллегиею; точно то же следует заметить и о вооружении армии. Образцы оружия обыкновенно присылались в сенат, который уже распоряжался о сделании оружия по этому образцу для всей армии. Общий бюджет армии составлялся в сенате, который по представлению воинской коллегии распределял сумму на военные расходы»[1]. И в этой области классовое значение сената успело сказаться достаточно рельефно. Рекрутчина брала у помещиков много рабочих рук: сенат заботился, говоря словами одной записки Петра Шувалова, о сохранении в рекрутских наборах такой пропорции, чтобы и армия была укомплектована, «число же народа, прежде в то употребляемое, сим способом оставшееся, умножало б народ к земледелию». И если в проведении этой политики сенат, по словам той же записки, обнаруживал некоторую вялость, то он, во всяком случае, чрезвычайно энергично боролся с попытками крепостных самовольно поступать в армию,—попытками, которые петровским законодательством прямо поощрялись. Опираясь на петровские указы, дворовые «порознь и целою толпою» стали подавать Елизавете просьбы о принятии их в военную службу. «За таковое их вымышленное и противное указам (!) дерзновение учинено им на площади с публикою жестокое наказание; которые подавали челобитные не малым собранием, тех били кнутом, и пущие из них заводчики сосланы в Сибирь на казенные заводы в работу вечно; а которые подавали челобитные порознь, тех били плетьми, других батогами и по наказании отданы помещикам»[2]. В то же время для самих дворян служба всячески облегчалась. При Елизавете было отменено драконовское правило Петра, согласно которому недорослей, не явившихся к смотру, отдавали «вечно» в солдаты и матросы. Одновременно с этим при Елизавете окончательно укореняется обычай, не нашедший себе выражения в законодательстве, но который для дворян был полезнее всех писаных за-

[1] Ibid., стр. 207—208.

[2] Из журналов сената у *Соловьева* (изд. «Обществ. пользы», кн. V, стр. 158—159).

конов по этой части: обычай записывать в службу детей. Фактически дети, разумеется, не служили и нередко на руках у няньки уже пробегали первые ступеньки иерархии. Пяти- и семилетние капралы и сержанты к началу их действительной службы бывали уже офицерами, и пожелание шляхетских требований 1730 г., чтоб дворянских детей в нижние чины не отдавать, осуществлялось при помощи такого обходного движения без дальних хлопот и без помощи кадетского корпуса.

Но настоящей сферой дворянской политики сената должны были стать финансы: мы видели, что подушная подать являлась своего рода барометром, по которому сейчас же можно было узнать, от чьего имени действует правительство. При Елизавете этот барометр неизменно показывал для дворянства «очень ясно», и даже с наклонностью к «великой суши». Именно донесения иностранных дипломатов от самого начала царствования сохранили нам чрезвычайно любопытный проект—совершенного уничтожения подушных путем замены их увеличением соляного налога, который будто бы предполагалось отдать на откуп Демидову. Последний обещался доставлять ежегодно не меньше, чем давала подушная подать. В такой чистой форме проект не осуществился, но стремление к упразднению номинально крестьянского, а на практике дворянского налога (упомянутый нами иностранный дипломат необычайно точно определяет подушные, как «подать, платимую каждым помещиком со своих крестьян») составляет постоянную тенденцию финансовой политики Елизаветы, притом тенденцию сознательную. Душа этой политики, тот же П. И. Шувалов, писал сенату в 1758 г.: «народ есть главная сила государственная, и потому *надобно желать, чтобы народ, положенный в подушный оклад, от сего платежа совсем был свободен*». Это звучало очень красиво и как нельзя быть больше отвечало интересам помещиков. На практике возможно было, конечно, не достижение идеала, а только более или менее близкое к нему приближение. При вступлении Елизаветы на престол подушный оклад уменьшен на 10 копеек на два следующие года—1742 и 1743, что должно было оставить в карманах помещиков около миллиона рублей (9—10 млн. золотом). В 1752 г. подушный оклад вообще был уменьшен на $3^1/_4$ копейки, а манифестом 15 декабря этого года прощена вся недоимка подушного сбора с 1724 по 1747 г.—более двух с половиною миллионов рублей (20—25 млн. золотом). Не совсем грамотно, но очень велеречиво, манифест мотивировал эту высочайшую милость тем, что «империя так силою возросла, что лучшего времени своего состояния, какое доныне не было, несравненно превосходит в умножившемся доходе государственном»... Несравненно больше значения, нежели все частные льготы, имела мера принципиальная, назначенная в самом начале царствования по представлению сената, новая *ревизия*. Мотивировка ее не оставляет ничего желать по своей социальной выразительности. Сенат

просил императрицу учинить ревизию, «*для удовольствия всех помещиков* и пресечения доныне происходящих непорядков и в платеже отбывательства и запущения впредь доимок... и на будущее время производить ее через 15 лет, чем все непорядки... пресекутся, *а бедные и неимущие помещики*, кои сами и жены и дети в доимках под караулом содержатся и помирают, *от такого бедствия свободятся*». Даже крупнейшая финансовая реформа царствования—уничтожение в 1753 г. внутренних таможен—рассматривалась проводившими ее с той же точки зрения. Ее инициатор, все тот же Шувалов, начинал с указания на то, какие обиды терпит от устаревшей таможенной системы *крестьянство;* интересы буржуазии, которые нам кажутся естественно господствующими в подобного рода перевороте, для него стоят на втором плане, и не видно даже, чтобы главный из этих интересов, развитие внутренней торговли, им отчетливо осознавался. Главная выгода, какую извлечет из реформы купечество, по мнению Шувалова—это то, что оно избавится от таможенных должностей. Зато он много распространяется о тех мытарствах, которые приходится испытывать крестьянину, везущему «на продажу от Троицы в Москву воз дров». Но дрова эти чаще всего были барские или из вырученных за них денег крестьянин должен был заплатить барский оброк...

Естественно является вопрос, кто же расплачивался за все эти льготы в пользу шляхетства, льготы, которые должны были образовать порядочную брешь в государственном бюджете; одно упразднение внутренних таможен должно было уменьшить доходы казны на миллион почти рублей. Тот же «народ», о котором так заботился Шувалов, но только в иной форме. Упразднение внутренних таможен было покрыто огромным повышением внешних таможенных пошлин—в 2½ раза. Правда, что до нормы петровского тарифа 1724 г. и теперь дело далеко не дошло и что большую часть заграничного привоза все еще составляли если не предметы роскоши, то, во всяком случае, предметы потребления высших классов. Но эти последние жили или крестьянским трудом или крестьянским оброком. Рост этого последнего в елизаветинское царствование достаточно показывает, что положение «народа» не облегчалось с облегчением платежей, падавших так или иначе на помещика. Возьмем один пример: в Загорской волости Московского уезда крестьяне платили своему барину в 1740 г. 300 рублей оброку, в начале 1750—уже 2 300, в 1766—3 900[1]. Но и все другие финансовые эксперименты Шувалова и руководимого им в этой области сената сводились к такому же переложению податного бремени с плеч дворянства на плечи других классов—и в первую голову

[1] *В. И. Семевский*, «Крестьяне и царствование Екатерины II», изд. 2-е, т. I, стр. 57. Детально хозяйственные условия эпохи будут рассмотрены в одной из следующих глав в связи с экономическим переворотом половины XVIII в.

крестьянства. Грандиозный проект отдачи всей соли в России на откуп одному лицу, Демидову, не осуществился, но это не помешало правительству Елизаветы при помощи более мелких мер жить на счет того же соляного налога. Тенденция и здесь была настолько же сознательная, как в деле уменьшения подушной подати. Уже в 1745 г. Шувалов, со ссылками на всевидящее око отца отечества, матерь отечества и тому подобные возвышенные предметы, начал подходить к вопросу, как бы это открыть в государстве «такой пункт, который бы во время надобности бессумнительно доход государственный умножил»—притом такой, который «умаления себе вовсе иметь не может, но будет единое обращение циркулярное бесконечное». Суть этих витиеватых рассуждений сводилась к тому, чтобы увеличить продажную цену вина и в особенности соли: вместо прежних различных по разным местностям цен от 3½ до 50 коп. за соль была назначена однообразная цена—в 35 коп. за пуд, от чего Шувалов ожидал увеличения соляного дохода слишком на миллион рублей. Этот миллион можно было добыть или этим путем, или повышением цены на вино—коренную, так сказать, казенную монополию: иначе пришлось бы увеличить подушную подать, как объясняет Шувалов,—а это, мы знаем, «исключалось условиями задачи». В конце концов пришлось прибавить и на вино, и на соль. От увеличения цены на соль, по словам кн. Щербатова, для этой эпохи уже современника, уменьшилось потребление соли, и развились болезни. Повышение цен на вино сделало более выгодной тайную продажу его: финансовая политика вынудила Шувалова на полицейские меры, очень выразительно изображенные тем же Щербатовым. «При милосерднейшей государыне учредили род инквизиции, изыскующей корчемство , и обагрили российские области кровию пытанных и сеченных кнутом, а пустыни сибирские и рудники наполнили сосланными в ссылку и на каторги, так что считают до 15 000 человек, претерпевших такое наказание». Зато благодаря увеличению соляного налога можно было осуществить ту сбавку подушных на 3¼ копейки в год, о которой мы говорили выше. А увеличение дохода от винной монополии дало еще более блестящие результаты: от продажи вина удалось съэкономить 750 тысяч рублей, на которые был основан первый в России *дворянский банк*.

Как видит читатель, в министре финансов Елизаветы Петровны (Петр Шувалов фактически был им) мы имеем родоначальника того направления, которое для нашей дворянской политики стало классическим. Знакомый с новейшими фазами этой политики ищет еще одного: бумажных денег, *ассигнаций*. Бумажек Шувалов не любил, усматривая «от подделывания банковых билетов опасность, и бумажками вместо денег народу не только дики покажутся, но и совсем кредит повредится, потому что при употреблении банковых билетов в

торгах всякие помешательства и обманы могут происходить». Он нашел более безопасным средство более национально-русское: медные рубли. Правда, сравнительно с попыткой времен царя Алексея то, на что пошел Шувалов, было лишь полумерой. Чеканить прямо медные целковики при Елизавете не решились, ограничившись номинальным удвоением цены обычных медных денег,—вместо 8 рублей из пуда стали чеканить монеты на 16. Смысл меры, однако, и теперь был тот же самый. «Все усилия сената были направлены к тому, чтобы удержать серебряную монету в казне, оставив для народного обращения одну медную, которая была отдана в его полное распоряжение,—говорит Градовский.—Серебряную монету приказано было выменивать из обращения по установленной цене, а все, имеющие ее, должны были являться с нею; за утайку было положено наказание. В судебных местах серебряную и золотую монету велено было обменивать на медную для произведения выдачи, «дабы золотая и серебрянная монета в казне всегда оставалась, а медная циркуляцию иметь могла». Вообще на все казенные расходы сенат приказывал употреблять медные деньги, «всемерно стараясь удерживать золотую и серебряную монету в казне». Золото и серебро положительно считались казенною принадлежностью; за тайную их сплавку сенат грозил жестокими наказаниями[1]. И результат был приблизительно тот же, лишь менее грандиозный, чем в середине XVII в.: «пятикопеешники медные привел ходить в грош,—говорит о Шувалове кн. Щербатов,—и бедные подданые на капитале медных денег, хотя не вдруг, но три пятых капитала своего потеряли». Если прибавить к этому тучу казенных монополий: смоляную, поташную, табачную, рыбную и т. д., то сходство елизаветинской России с дворянской Россией XVII в. будет весьма полным. В царствование Екатерины II туземному капитализму приходилось начинать приблизительно с того же, с чего начала петровская Россия[2].

Буржуазные наслоения первых лет XVIII в. были смыты теперь основательно, и старый социальный материк должен был выступить наружу. Если при елизаветинском дворе феодальные

[1] Цит. соч., стр. 195, прим. 1.

[2] Само собою разумеется, что монополия елизаветинского времени фактически была в руках разного рода «верховных господ»—ловля рыбы на Белом море была, например, «на откупу» у самого Шувалова. Торговля хлебом тоже была монополией, как и при царе Алексее,—и вот какой документ по ее поводу приводит Градовский. В 1757 г. гр. Воронцов писал Шувалову: «злоключительное мое состояние, которое я от великих долгов имею, вашему п-ству совершенно известно; ежели вы по милости своей не испросите прошению моему от Е. И. В. позволения о выпуске до 300 тыс. четвертей хлеба, мне никогда из горестного состояния выйти не можно; я слышу, что от сената уже некоторым купцам дозволено отсюда хлеба выпустить: не лучше ли бы было, чтобы я сей милостью пожалован был? На сих днях минет срок по векселю заплатить барону Вольфу (мы его знаем: это английский консул) 25 т. рублей»...Дальше Воронцов обещает Шувалову половину барышей...

черты уже били в глаза, то елизаветинская деревня дает столь ярко-феодальную картину, что аналогичной мы не найдем, пожалуй, и в предшествующем столетии,—правда, не найдем, быть может, только по недостатку данных. Елизаветинский дворянин был таким «государем в своем имении», каким был разве московский боярин до Грозного. Центральная власть, еще недавно, при Петре, довольно энергично вмешивавшаяся во внутренние отношения вотчины, незаметно отходит в сторону. Указ 1719 г., предписывавший отдавать в монастырь «под начал до исправления» тех дворян, которые разоряют крестьян своих вотчин, был собственно единственной юридической сдержкой помещичьего произвола на весь XVIII в., но и о ней «предшественники Екатерины II, повидимому, совсем забыли»[1]. Зато с необычайной последовательностью практика этих «предшественников» проводит точку зрения на крестьянина, как «подданого» своего барина. Уже один из указов конца петровского царствования делает вотчину чем-то в роде маленького самостоятельного государства, требуя от ушедшего в город на заработки крестьянина паспорта, выданного помещиком и визированного, так сказать, представителями центральной власти—земским комиссаром и полковником. В случаях недальней отлучки или когда правительство по тем или другим причинам желало облегчить крестьянский отход—так было, например, по отношению к судорабочим,—визы правительственных агентов не требовалось, и достаточно было разрешения одного помещика: точно так, как и теперь в пограничных местностях, для облегчения сношений упрощают паспортные формальности. Елизаветинский закон (1760 г.), предоставивший помещикам право налагать на своих крестьян одно из самых тяжких уголовных взысканий—ссылать их в Сибирь,—был одним из дальнейших шагов на пути этого распыления государственной власти между отдельными землевладельцами. Как бы для того, чтобы подчеркнуть суверенный характер помещичьего господства, на решение барина в этом случае не полагалось апелляции: в то же время, чтобы барин не потерпел материального ущерба от результатов своей расправы, сосланный засчитывался ему в рекрута. «Вследствие позволения, данного дворянству, произвольно по своему усмотрению отправлять в ссылку ему подвластных, причем суд даже не может спросить о причине ссылки и исследовать дело, ежедневно совершаются самые возмутительные дела,—писал Екатерине II новгородский губернатор Сиверс в 60 годах.—Все, кто не годится в рекруты вследствие малого роста или другого какого недостатка, должны отправляться в ссылку в зачет ближайшего рекрутского набора, а зачетные квитанции многие продают. Признаюсь, не проходит дня, чтобы мое сердце не возмущалось против подобной привилегии. Какая потеря

[1] *Семевский*, цит. сочин., стр. 379.

для войска и для земледелия! К тому же Сибири достигают сравнительно немногие, если принять во внимание огромное расстояние и убыль ссылаемых на пути. Мне кажется, что дворянство могло бы удовольствоваться правом отправлять в ссылку в зачет рекрут виноватого, изобличенного в довольно тяжелом преступлении. Если же помещик захочет кого-нибудь сослать по сообственному усмотрению, то мог бы сделать это без зачета в рекруты». Как видим, екатерининский губернатор был очень скромен—он не притязал на лишение государя-помещика права ссылать своих подданных в Сибирь, а только желал бы, чтобы тот пользовался этим правом без ущерба для дворянского государства в целом. Помещичьи права юридически были ограничены лишь в одном пункте: *права* жизни и смерти над своими крестьянами помещик никогда не получил. Попытки, нужно заметить, были в этом направлении: в проекте уложения, составленном при Елизавете, предполагалось подвергать помещика судебному преследованию за убийство крепостного лишь в том случае, если он совершил это убийство лично, притом не случайно, а с заранее обдуманным намерением. Если крепостной умирал от последствий жестокого наказания, назначенного барином, но исполнявшегося другими людьми (крепостным кучером, например), проект возлагал ответственность на этих последних. Это было почти восстановление знаменитого правила Двинской грамоты XIV в.: «а господин огрешится, ударит холопа на смерть, в вину ему того не ставить», только в более лицемерной форме. Проект не стал законом, может быть, просто потому, что в глазах Европы—с нею как-раз в это время начинают считаться—было бы уже очень зазорно, а между тем практической надобности в таком самообнажении вовсе не было: на практике помещики запарывали своих крестьян на смерть чуть не ежедневно, и никто в это не вмешивался. Даже когда свирепые наказания не вытекали естественно из уголовной юрисдикции помещика, а являлись просто любительским мучительством, на них смотрели сквозь пальцы: дело об известной «Салтычихе» начиналось двадцать один раз без всякого результата. Когда уже дело рассматривалось в юстиц-коллегии, челобитчики на Салтыкову, ее крепостные, были по распоряжению сената наказаны плетьми: так строго сенат соблюдал правило, неоднократно подтверждавшееся в течение XVIII в.; что на барина государю бить челом нельзя. За границу помещичьего государства центральная власть могла проникнуть или по собственному почину, или по почину самого помещика; но для подданных этого последнего государство кончалось его барином,—итти дальше без позволения барина они не смели.

Нравы маленького государства, меньше подвергавшегося влиянию наносных буржуазных тенденций, чем большая царская вотчина, лучше сохранили до-петровскую старину. Это сказалось, прежде всего, на названиях. Из иностранных терминов

сюда проник только *бурмистр*, а то мы встречаем «земских», «целовальников», «приказную избу», совсем как в Московской Руси XVII в.. Еще более духом XVII в. веет на нас от помещичьей уголовной юстиции: *помещичьи судебники* (таких, как известно, дошло несколько от XVIII в.), особенно более ранние из них, как судебник Румянцева, относящийся к 1751 г., не знают еще наказания розгами, а говорят только о батогах. Розги в то время были если не заморским, то вообще иноземным новшеством, усиленно пропагандировавшимся у нас остзейскими помещиками, считавшими это наказание более, если можно так выразиться, гигиеническим: боль такая же, а для здоровья не так вредно, как палки (батоги). Едва ли где-нибудь в официальной практике можно было встретить в то время «рогатину», применявшуюся на одном уральском заводе: тяжелый железный ошейник, с рогами до одного аршина во все стороны и с железным висячим замком, который бил заключенного в «рогатину» по спине. Пытка в государственной практике начала отмирать в то время: ее применяли теперь только при политическом розыске да при следствии по важнейшим уголовным делам. В одном случае, запрещая употреблять пытку при маловажных преступлениях, елизаветинский сенат высказался даже принципиально против нее. В помещичьем государстве пытка продолжала процветать, и находились особые любители заплечного мастерства, которые в свое время, вероятно, не ударили бы лицом в грязь перед самим «князем-кесарем», Ромодановским. Уже в начале царствования Екатерины один орловский помещик, Шеншин, устроил у себя в деревне форменный застенок со всеми приспособлениями—дыбой, клещами и т. д.; притом это было учреждение таких размеров, что далеко не всякая воеводская изба XVII в. могла бы похвастаться подобным: у Шеншина «работало» иногда до 30 человек палачей и их помощников. Не хуже преображенского приказа! Пытали не только крепостных, но и свободных: однодворцев, канцеляристов, даже священников; на пытке одного купца и сорвалось все дело: купец пожаловался, и так как он был не крепостной, начался процесс. Поводы к помещичьей пытке тоже живо напоминают годуновские времена: священника Шеншин пытал, подозревая в том, что тот давал его дворовым «чародейский корень», чтобы извести барина. Другой помещик пытал своего крестьянина, его жену и сына по подозрению в том, что они его испортили. Любители пытки были сравнительно редкостью, но это отнюдь однако, не были какие-либо изверги, резко уклонявшиеся от нормального типа. Бить крепостного считалось настолько нормальным делом, что этим не гнушались представители тогдашней интеллигенции, притом—что особенно интересно—они сами потом рассказывали о своих подвигах, как о деле вполне обычном. Болотов, автор известных мемуаров и автор книжки «Путеводитель к истинному человеческому сча-

стию», изданной Новиковым, сам рассказывает, как он истязал своего крепостного столяра, подвергая его сечению в несколько приемов—чтобы не засечь до смерти,—а в промежутках держа его на цепи. Он довел этим самого столяра до самоубийства, одного из его сыновей до покушения на самоубийство, а другого до покушения на убийство Болотова: но даже этот трагический исход не навел Болотова на мысль, что он совершил нечто ненормальное; напротив, ненормальными людьми, «сущими злодеями, бунтовщиками и извергами» оказались у него замученные им крепостные, хотя он сам признает, что раньше сыновья столяра были хорошими работниками.

В литературе главное внимание долго было обращено на уголовную юстицию государя-помещика: в этом нельзя не видеть отзвука старой, еще до-реформенной точки зрения на помещичьи неистовства, как на «злоупотребление» крепостным правом. Так живучи однажды установившиеся взгляды: самое «право давно осуждено, а историки задним числом все еще хлопочут доказать, что им «злоупотребляли»! Благодаря этой односторонности очень плохо изучено до сих пор законодательство маленького феодального государства вне уголовной сферы. Мы очень хорошо знаем, сколько палок или розог отмеривали помещичьи судебники согрешившим крепостным, как были устроены помещичьи застенки и тюрьмы, но у нас есть лишь очень отрывочные сведения о влиянии помещиков, например, на развитие наследственного права в русской деревне. А такое влияние было. В «приказчичьей инструкции» гр. Шереметева (1764 г.) очень детально устанавливаются правила крестьянского раздела после смерти главы семьи. К сожалению, мы не можем судить, насколько эти правила являются измышлением барина, насколько они просто отражают господствовавшие в его деревнях обычаи. На счет помещика повидимому должна быть отнесена одна тенденция—стремление возможно затруднить дробление крестьянских тягол до объявления «выморочными» участков, которым не отыскивалось наследников ближе правнучат: вымороченные земли шли помещику. Как царь XVII в., так и помещик давали своим крестьянам жалованные грамоты на владение землями. Таков, например, один «указ» того же Шереметева своему крепостному Сеземову: «покупным тобою на мое имя... недвижимым именем (таким-то) тебе *и установленным по тебе наследникам* владеть дозволяю, чего ради для владения и дан сей указ». В купленном Сеземовым «недвижимом имении» были и крепостные: «той вотчины между крестьян *суд и расправу иметь ему*, Сеземову», говорит другой документ, вышедший из шереметевской канцелярии. Шереметевские крестьяне приобретали себе крепостных на барское имя еще в 1718 г.: внутренний строй маленького государства оказывался, таким образом, довольно точной копией большого. Мы сравнивали выше кабинет министров Анны с вотчинной конторой огром-

ного имения: наблюдения над тем, как управлялись вотчины гр. Орлова, навели одного современного нам писателя на ту же параллель с другого конца. Крепостные приказчики, сидевшие в главной конторе Орлова, были «в миниатюре скорее государственными людьми, нежели агрономами... Они докладывали о деле вместе со своим проектом резолюции, подписанным ими единогласно или с мнениями и представлениями, а граф по рассмотрении всего дела и мнения конторы возвращал их в контору со своим утверждением или с измененными приказами». Такие конторщики и взятки брали не хуже современных им министров: после них оставались состояния в десятки тысяч рублей, хотя жалованье они получали грошовое[1].

3. Теория сословной монархии.

Новый феодализм не мог ограничиться одной социальной областью—у него должен был оказаться и свой политический аспект. Должна была выработаться политическая теория, логически обосновывавшая распыление власти между помещиками. Должны были явиться попытки организовать этих маленьких государей, хотя бы для того чтобы изо дня в день отстаивать их интересы перед лицом большого государя, который—за это были порукой царствования Петра I и Анны,—так же как и в дни верховного тайного совета, мог оказаться орудием социальных сил, дворянству чуждых. Правда, как мы скоро увидим, с каждым десятилетием становилось яснее, что опасность эта назади: экономика, чем дальше, тем больше ручалась за то, что самодержавие впредь будет верно служить интересам помещиков. Но уроки экономики всегда учитываются задним числом. Люди, посадившие на русский престол ангальт-цербтскую принцессу, ставшую Екатериной II, хорошо помнили если не Петра, то Анну. Мы очень ошиблись бы, если бы подумали, что они считали дворцовый переворот будничной вещью, которую можно устраивать каждый день. С другой, стороны не только лейб-компания, но и елизаветинский сенат были слишком импровизациями, чтобы на них можно было рассчитывать как на постоянное средство. Особенно после того, как закон о вольности дворянства должен был, рано или поздно, разрушить старый организационный центр—дворянскую гвардию. Без этой демократической нижней палаты всероссийского «шляхетства» верхняя палата, сенат, грозила весьма быстро выродиться в довольно точную копию верховного тайного совета. Опасность обнаружилась, можно сказать, на другой же день после переворота 28 июня. Один из его не-военных вождей, Никита Панин,

[1] См. *В. И. Семевский*, «Крестьяне в царствование Екатерины II», 2-е изд., т. I, стр. 241. Большинство предыдущих цитат заимствовано оттуда же.

оказался очень не прочь воскресить традиции Дмитрия Голицына. Составленный им проект «императорского совета», непременного и постоянного «сотрудника» императрицы, без участия которого ничто не могло ни до нее дойти, ни от нее выйти, до такой степени напоминал учреждение, упраздненное в 1730 г., что один из критиков проекта выразил довольно резонное недоумение по поводу нового названия. Почему бы не назвать новый совет просто «верховным тайным советом», по-старому?—не без яду спрашивал этот критик. Екатерина чувствовала себя так мало еще прочной на престоле, что соглашалась даже и на это, и манифест, превращавший панинский проект в закон, был ею уже подписан. Критика ее ободрила, а, может быть, отчасти и раскрыла ей глаза,—и у нее хватило духу разорвать подписанный ею документ. Но дело было не в нем, а в существовании той социальной группы, которую при Петре называли «верховными господами», и в олигархических тенденциях этой группы. Нужно было не то что уничтожить ее—это было социально невозможно, а политически не важно дворянству: пусть верховники делят пирог между собою, но нужно раз навсегда помешать им ломать по-своему жизнь дворянской массы. Их деспотизму гораздо больше, чем личному деспотизму Екатерины, которая вовсе не была страшна, как и не может быть страшна отдельная личность классу, нужно было положить тесные пределы. «Система основательных прав» должна была послужить плотиной, сидя за которой, маленький государь мог забывать о существовании большого вплоть до очередного паводка—уплаты подушных или рекрутского набора. И плотина, конечно, должна была быть настолько прочна, чтобы паводок не мог ее разрушить. О грунтовых водах, которые могли подточить все сооружение снизу, тогда еще мало думали, хотя их напор давал себя чувствовать год от году сильнее. Когда пришлось выбирать между произволом сверху и революцией снизу, выбрать пришлось все же произвол, обеспечив только его классовую, с дворянской точки зрения доброкачественность. Но пока суровая необходимость выбора еще не была перед глазами, отчего было не помечтать о том, чтобы довести до конца дворянскую вольность, превратив отдельные и казавшиеся случайными завоевания в стройную систему?

Самооборона дворянства от натиска сверху начинается, как и следовало ожидать, одновременно с самым натиском: первую попытку формулировать дворянские привилегии мы находим у одного их прожектеров петровских времен, знакомого нам Феодора Салтыкова. В своих «пропозициях» он предлагает, во-первых, закрепить за дворянством исключительное право на землевладение: «ежели кто, будучи из простых чинов, придут в богатство, и тем не покупать дворянских стяжательств, спречь вотчин, понеже оное надлежит дворянам». Это была обычная практика XVII в., но при Петре слишком склонны были от нее

отступать, и, несмотря на «пропозицию», Петр создал юридически не-дворянское землевладение, разрешив покупать вотчины к фабрикам купцам. Отмена этого разрешения при Петре III (указом 29 марта 1762 г.) была крупным успехом шляхетских интересов: как видим, однако, этого успеха пришлось дожидаться долго. Наплыв в ряды служилого сословия демократических элементов (чего стоили одни прибыльщики, так легко превращавшиеся в губернаторов!) заставлял поставить вторую перегородку: у Салтыкова мы впервые встречаем мысль, ставшую очень популярной впоследствии, что дворянином нужно родиться или стать в исключительном порядке, в силу особого высочайшего пожалования, но нельзя выслужиться в дворяне в обычном порядке службы. Мысль эта пока выражена у него весьма осторожно: она сводится к требованию от новых дворян специальных жалованных грамот, к строгому контролю дворянских списков и т. п. Лишь в 1730 г. шляхетсво в проекте Татищева поднимается до более радикальных мер, прямо требуя очищения своих рядов от вкравшихся туда инородных элементов: татищевский проект настаивает на приведении в известность «подлинного шляхетства», отделив от него шляхетство, происходящее от солдат, гусар, однодворцев и подьячих. Но Салтыков прекрасно понимал, что одними юридическим перегородками не много достигнешь и что при новых условиях дворянство лишь тогда сохранит командующую позицию, когда оно станет экономически и культурно сильнейшим элементом. Отсюда, во-первых, требование заведения училищ с необычайно широкой программой, куда входили и богословие, и поэтика, и артиллерия с фортификацией, и «мусика, пиктура, скульптура и миниатюра», не считая иностранных языков, а равно «для обороны собственной и для изящества: на лошадях ездить, на шпагах биться, танцевать». Хотя Салтыков и называет свои училища «всенародными», но из контекста совершенно ясно, что предназначались они для дворянских детей, притом обоего пола: параллельно с мужскими он проектирует устройство и женских школ, с несколько иною, разумеется, программою—фортификации или «на шпагах биться» девиц не предполагалось учить, зато развитие «изящества» должно было быть предметом особого внимания. Экономическую силу дворянства Салтыков рассчитывал обеспечить майоратом, настоящее значение которого в его английском образчике он, в противоположность Петру, представлял себе вполне отчетливо. Петр ухватился за форму, но, как мы знаем, влил в эту форму совершенно своеобразное, «истинно-русское» содержание.

Даже и майорат Салтыкову пришлось, однакоже, замаскировать финансовыми выгодами, которые сулит будто бы это учреждение государству. О политических привилегиях дворянства он прямо не решался говорить,—слишком уж это пошло бы вразрез с господствовавшими при Петре тенденциями. На-

чавшаяся в последние годы петровского царствования дворянская реакция делала людей смелее, и уже «кондиции» верховников, отражая в этом пункте желания всей дворянской массы, вводят гарантию личных и имущественных прав дворянина от произвола сверху: «у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать». Слабая политическая сознательность шляхетства и отсутствие всякой организации у него позволили «курляндцам» разорвать вместе с остальными кондициями и этот пункт без всякого сопротивления с чьей бы то ни было стороны. Но идея продолжала жить и вспыхивала при каждом удобном случае. Ее отзвуки слышатся в деле Волынского. «Вот как польские сенаторы живут,—говорил он в ряду других вольных речей,—ни на что не смотрят, все им даром! Польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать, а у нас всего бойся». И он, как Салтыков, исходил от конкретных порядков той или другой знакомой страны: Салтыков—Англии, Волынский—Польши. Когда в 60-х годах вопрос был снова поставлен на очередь, налицо к услугам дворянских идеологов была уже стройная теория, обобщавшая все порядки всех дворянских стран: в 1748 г. вышел «Дух законов» Монтескье.

Проводником влияния Монтескье на дворянскую идеологию в широкой публике принято считать «Наказ», данный Екатериной II известной «комиссии» 1767 г. Едва ли с каким-нибудь фактом из нашей истории XVIII в. связано больше предрассудков, нежели с этой комиссией и ролью в ней Екатерины. Во-первых, самый созыв ее представляется началом какой-то новой эры: приступая к чтению подлинных документов, вы больше всего будете поражены тем, что это необыкновенное событие никакой сенсации среди современников не произвело. И это просто потому, что ничего принципиально нового в затеянном Екатериною предприятии для этих современников не было. Недостатки Уложения царя Алексея отчетливо сознавались еще при Петре, и над «сочинением» нового уложения работали комиссии уже с 1728—1729 гг., причем члены этих комиссий выбирались, «согласясь губернатором обще с дворяны». Эти полувыборные комиссии корнями непосредственно восходили к земским соборам XVII в., и шляхетство относилось к ним с таким же равнодушием, как в свое время к этим последним. Комиссия 1767 г. отметила собою не какой-либо новый шаг правительственной политики, а огромное повышение сознательности в дворянской массе: дворянам теперь было что сказать, и они заговорили так дружно, так обстоятельно и определенно, что правительство Екатерины II несколько даже этого испугалось. Наша литература в оценке результатов комиссии довольно прочно усвоила себе мнение, высказанное биографом ее «маршала» (председателя) А. И. Бибикова: «должно признаться чистосердечно, предприятие сие было преждевременно и умы большей части депутатов не были еще к сему

приготовлены и весьма далеки от той степени просвещения и знания, которая требовалась к столь важному их делу». Но это было мнение правительственных кругов, фактическим агентом которых в комиссии был Бибиков. И его биограф тут же, сряду, проговаривается о другой причине роспуска комиссии: «*некоторые же* из них (депутатов), увлеченные вольнодумием, *ухищрялись уже предписывать законы верховной власти*». Это объяснение гораздо ближе к делу. Сравнивая наказы, какими снабдили дворянские общества своих уполномоченных, со знаменитым «Наказом» императрицы, читатель задним числом переживает чувства, вероятно, испытанные самим автором этого последнего наказа: чувство стыда за человека, который выступил, чтобы учить других, и которому эти другие показали, что они лучше его знают дело. «Ограбившая президента Монтескье», Екатерина кокетливо называла свою книжку «ученическим произведением»: она и не подозревала, сколько жестокой правды в таком отзыве. Удивительнее всего, что такие историки, как Соловьев, могли целыми страницами цитировать «Наказ», как произведение самой императрицы, написанное лишь «под влиянием» Монтескье и Беккариа. Это совершенно то же самое, что сказать, что составленный студентом к экзамену конспект профессорского курса есть произведение, написанное «под влиянием» данного профессора. Возьмите для примера главу XI, трактующую о самом животрепещущем вопросе эпохи—о положении крепостных. Она была предметом особого внимания императрицы и дошла до нас в двух редакциях; более полной, исправленной рукою Екатерины и оставшейся в рукописи, и сокращенной, которая была напечатана. Соловьеву это дает повод показать на примере, как либеральные мечты императрицы блекли в удущающей атмосфере крепостнического двора. Вот что она хотела—и вот что позволили ей не сделать, а только сказать! В крепостничестве приближенных Екатерины едва ли можно сомневаться: но, цензуруя XI главу Наказа, они руководились едва ли своими крепостническими вожделениями, а вернее всего просто элементарными требованиями литературного вкуса. В краткой редакции остались и характеристика рабства, как неизбежного зла, и обидное для помещиков напоминание о знакомом нам указе Петра I, и весьма скользкая по тогдашним временам фраза о «собственном рабов имуществе». Вычеркнуты же были бесчисленные примеры германские, македонские, афинские, римские, ломбардские, из «законов Платоновых» и иные, выписанные великой императрицей из XV книги «Духа законов» с прилежанием гимназистки, конспектирующей первую серьезную книжку, которая попала ей в руки. Насколько конспектирующая вникла в смысл конспектируемого, покажут два образчика. Говоря о законе Моисеевом, фактически позволявшем убивать раба только не сразу, Монтескье восклицает: «что за народ, у которого гражданский

закон должен был быть в противоречии с законом естественным!» (Quel peuple que celui oú il fallait que la loi civile se relâchat de la loi naturelle!). Екатерине понравилась фраза. Но как же выразиться непочтительно о «законе Моисеевом»: ведь это священное писание, ни более, ни менее... Она сейчас же нашлась: слова Монтескье о евреях она применила к... римлянам. Правда, римлян автор «Духа законов» ни в чем подобном не обвиняет, и еврейский хвост, приделанный к римской голове, производит впечатление большой неожиданности: но зато уцелел звонкий конец периода,—а православному духовенству не на что пожаловаться. Другой пример еще лучше. Говоря о вредном влиянии вольноотпущенников в древнем Риме, Монтескье делает из этого вывод, что не следует сразу, одним общим законом, освобождать большое количество рабов. Пример, который он приводит, говорящий о влиянии вольноотпущенников в народном собрании, обращение к «хорошей республике» (bonne république)—весь контекст, словом, не оставляет ни малейшего сомнения, что это место «Духа законов» имеет в виду демократическую республику, подобную античным. Можно себе представить, какие большие глаза сделал бы «ограбленный» Екатериною «президент», если бы он имел возможность прочесть § 277 «Большого наказа»: «Не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных». Эта фраза стоит в обеих редакциях (в окончательной она составляет § 260): окружавшие Екатерину помещики, вероятно, хорошо видели, что фраза ни к селу, ни к городу—но она так приятно звучала для помещичьего слуха...

Среди 28 параграфов, составляющих первоначальный текст этой главы только два, оба заключающие в себе конкретные примеры—один знакомую нам ссылку на указ Петра, другой, изображающий судебные порядки Финляндии,—не представляют собою перевода или пересказа соответствующих мест «Духа законов». Критикуя императрицу, ее крепостники-придворные критиковали в сущности «президента Монтескье»: немудрено, что он местами показался им чересчур либеральным. Зато в нем должны были найтись места, весьма приятные для дворянского самолюбия, но не очень удобные для самого «автора» Наказа. Автор «Духа законов», как известно, очень считался с требованиями современной ему французской цензуры: он отнюдь не хотел принадлежать к тем памфлетистам, которые гнили в тюрьмах «возлюбленного» короля Людовика XV. Для этого бывший президент Бордосского парламента был слишком большим барином. Ради цензуры, как это доказано новейшими исследованиями, он не стеснялся даже вставлять в свои писания отдельные благонамеренные фразы, явно противоречившие общему строю его мыслей[1]. Ради той же цели он, сторонник аристократиче-

[1] Об этих так называемых cartons Монтескье см. *Vian*, «Histoire de Montesquieu»; p. 259 et suiv.

ской конституции тогдашнего английского типа, за образец благоустроенной монархии взял не Англию, а Францию, но, путем идеализации старых феодальных обычаев, вымерших еще до Людовика XIV, настолько приблизил ее к любимому своему типу, что эту искусственную Францию и Англию оказалось возможным поставить за одну скобку. Францию же натуральную и неприкрашенную, классическую Францию «старого порядка», он изобразил под видом «деспотии», перенося место действия на далекий восток. Французская публика XVIII в. не хуже умела читать между строк, чем русские читатели Щедрина сорок лет назад. Приемы Монтескье на его родине никого не ввели в заблуждение, но коронованную составительницу конспекта к «Духу законов» они подвергли жестокому испытанию. Ей очень нравилась эта книга, которую она, как трогательно сама признавалась в известном письме к д'Аламберу, «переписывала и старалась понять». Но она не меньше любила и самодержавие, а Монтескье говорит о нем так дурно и так неблагозвучно его называет! Но Екатерина и тут в конце концов нашлась. Монтескье говорит, что в большой стране *неизбежно* должен быть деспотический режим: а Россия очень большая страна,—значит, деспотизм в ней извиним. Против географии не пойдешь. И, в назидание русским медведям, вслед за элементарными географическими сведениями о размерах российской империи выписываются соответствующие места из «Духа законов». Но автор рисует деспотию очень черными красками—в ней господствует страх, у подданных нет чувства чести и тому подобное. На это Екатерина никак не была согласна: в ее деспотии ничего подобного не будет. Установив с географической непреложностью, что в России никакой образ правления невозможен, кроме самодержавного, Наказ, характеризуя российское самодержавие в деталях, без всякого зазрения совести «грабит» те главы Монтескье, которые трактуют о монархии, т. е. о монархии ограниченной, конституционной. Как тут не вспомнить милую русскую интеллигентку 1905 г., пытавшуюся составить «свою» программу, выбрав «лучшее» из программ всех партий, ожесточенно боровшихся между собой?

Так, чисто литературным путем в Наказе очутились две главы, III и IV, несомненно стоявшие в противоречии с «существующим в российской империи образом правления». Первая из них освящала политические претензии дворянства, как *непременного* участника в управлении. В монархической схеме Монтескье дворянство есть «посредствующая власть», pouvoir intérmédiaire, настолько необходимая, что без нее нет и монархии, как ее понимает «Дух законов»; «без дворянства нет монарха, а есть деспот». Екатерина воздержалась от цитирования этой последней опасной фразы, но послушно скопировала все остальное, что говорил ее профессор о «властях средних». Она сохранила буквально даже форму слов Монтескье, говоря от

первого лица все,что он говорит от себя. Так как от читателя Наказа этот плагиат был скрыт, то раболепная типография, набирая «я», «меня» крупным шрифтом, как подобает лицу государыни, не подозревала, что она возвеличивает этим какого-то не совсем благонадежного французского литератора. Но тут оказалась пикантность двойная: и сама Екатерина, копируя пассаж о «средних властях», не подозревала что в него вставлен один из cartons, имевших целью надуть французскую цензуру и несколько замаскировать резко конституционный характер всего этого рассуждения. Но carton был рассчитан на то, что понятливый читатель сумеет его вынуть и добраться до истинного смысла. Переводя это место буквально, Екатерина невольно посвящала русского читателя в такие секреты, которые считались официально запретными даже для читателя французского. Недаром Никита Панин, принадлежавший, вероятно, к понятливым читателям Монтескье, говорил по поводу Наказа об «аксиомах, способных опрокинуть стены». По существу он был, вероятно, очень доволен этими стенобитными «аксиомами», а в особенности его должна была удовлетворить глава IV. Идеализируя старую Францию, Монтескье находит одну из сдержек монархического произвола в старом французском парламенте, регистрировавшем новые законы, причем он мог отказаться в теории от регистрации закона произвольного, нарушающего старинные «привилегии» подданных короля, и делавшем «представление» монарху в случае, если его распоряжения противоречили законам старым. Как «власти средние» были пережитком средневекового вассалитета, физически необходимого сюзерену, а потому и юридически делившего с ним власть, так парламент старого порядка был рудиментом собрания крупнейших из этих вассалов, королевской *курии*, строго охранявшей неприкосновенность феодального контракта. В XVIII в. ни то, ни другое не имело реального смысла, что Монтескье, конечно, прекрасно понимал, но перед ним стояла задача—найти *легальные* формы для обуздания королевского произвола; старый французский парламент помогал замаскировать настоящую сдержку, какою был бы парламент английский. В русской истории курии соответствовала боярская дума, но дворянская революция XVI—XVII вв. настолько потрясла ее, что буржуазному режиму Петра удалось снести старое учреждение без остатка. Дворянской реакции елизаветинского времени пришлось творить сызнова: роль совета крупных вассалов стал играть сенат. Сенат и явился в Наказе тем «хранилищем законов», которому в схеме Монтескье соответствовал старый парламент. «В России сенат есть хранилище законов» (§ 26), «Сии правительства (сенат и «власти средние»), принимая законы от государя, рассматривают оные прилежно и *имеют право представлять, когда в них сыщут, что они противны Уложению*» (§ 24). «*Сии наставления* возбранят народу презирать ука-

зы государевы, не опасаяся за то никакого наказания, но купно и *охранят его от желаний самопроизвольных и от непреклонных прихотей*» (§ 29).

В стене самодержавия была проделана настолько крупная брешь, что позднейшее, при Павле Петровиче, превращение Наказа в «запрещенную книгу» более, чем понятно. Но если мы присмотримся к непосредственному влиянию литературных упражнений императрицы на дворянскую массу, мы увидим, что впечатление от изданной по высочайшему повелению конституционной брошюры было довольно слабое. Дворянство тоже читало Монтескье, и, кажется задача, «понять» его далась дворянству лучше, нежели его государыне. Мы увидим несколько ниже, что на той же основе крупнейший дворянский идеолог эпохи, князь Щербатов, сумел развить политическую теорию такой смелости и широты, что дальше этого шагнули только декабристы, оказавшиеся благодаря этому дальнейшему шагу уже на чисто революционной почве. Но декабристы имели перед собою новую «стену», в которой заново приходилось пробивать брешь. Перед екатерининскими же дворянами, в сущности, и стены-то никакой не было; фактически захват власти шляхетством уже совершился при Елизавете—оставалось найти юридические формулы и административные рамки для того, что было уже фактом. Меньше всего приходилось ломать в центре: при распылении власти влияние центра на местные дела сказывалось довольно слабо, а поскольку такое влияние все-таки было, елизаветинским сенатом дворяне были довольны. Эта инстанция казалась им как бы само собою разумеющейся—естественной вершиной дворянского «корпуса». «Всеподданнейше просим,—говорили боровские дворяне в наказе своему депутату, чтобы по сочинении при помощи божией Нового уложения дозволено было дворянам через всякие два года в городе или где заблагорассудят, но в своем уезде, съезд иметь и на оном рассуждать и рассматривать, *все ли в уезде в силу законов исполняется* и не бывает ли кому от судебных мест, от квартирующих и проходящих полков и команд, или от кого бы то ни было утеснения, и ежели усмотрят, что происходить будет к ущербу казенному или к неисполнению законов или к утеснению дворян и крестьянства, в таком случае всемилостивейше дозволить помянутому собранию прямо от себя, выбрав депутата, чрез оного с верным и ясным доказательством *представить в правительствующий сенат*».

Гораздо больше интересовало и гораздо хуже с дворянской точки зрения было организовано местное управление, с которым крепостная вотчина ведалась непосредственно. В нашей учебной, а отчасти и ученой, литературе не вполне определенно, но довольно упорно подразумевалось, что дворянское самоуправление XVII в.[1], замаскированное новой, иноземной терминологией,

[1] См. о нем «Русская история», т. II, стр. 109 и сл.

благополучно дожило до екатерининских времен, так что как будто дворяне 1767 г., требуя этого самоуправления, ломились в открытую дверь. Правда, *губные старосты* были уничтожены Петром, но вместо них явились выборные дворянские *ландраты*, а позже—*комиссары* с очень сходными функциями, только имена были другие. Новейшие исследования показали, что на самом деле буржуазный шквал, пронесшийся над Россией в начале XVIII в., потряс основания дворянской организации гораздо серьезнее. Старые ученые основывали свое мнение на *букве* петровского законодательства: но, чрезвычайно характерно, здесь буква оказалась гораздо консервативнее содержания. Петровский указ 20 января 1714 г., предписывавший «*ландраторов выбирать* в каждом городе или провинции *всеми дворяны* за их руками», на деле, как убедительно доказал проф. Богословский, никогда не исполнялся. Ландратов *назначали*—и притом не всегда из среды местного дворянства—de jure сенат, а de facto местный губернатор; и здесь, таким образом, то, что потеряло дворянское общество, перешло к «верховным господам». Вполне в согласии с этим и обслуживал ландрат не интересы местного населения, а нужды центра: главной его функцией была финансовая, и сменил он не губного старосту, а воеводу[1]. В еще большей степени финансовым агентом центральной власти был *земский комиссар* 1719—1724 гг., назначавшийся камер-коллегией. Но, в отличие от ландрата, эта последняя должность пережила весьма любопытную эволюцию; земский комиссар после введения подушной подати[2] действительно стал выборным, притом едва ли не по инициативе дворянства. Только-что названный нами исследователь опубликовал одно челобитье новгородских дворян 1719-го, как он думает, года, намечающее целый план сбора подушных при участии местных помещиков. Во главе этого дела в уезде, по дворянскому проекту, должен был стать обер-комиссар, а под ним «земляные комиссары» из местных дворян, по их выбору и перед ними ответственные. О выборном комиссаре, впрочем, глухо упоминали и более ранние указы Петра—1718 г., но тогда это опять был глас вопиющего в пустыне; а в 1723 г. переписчики уже «понуждают» дворян к выборам. Одновременно с этим земский комиссар становится полицейским органом в самом широком смысле этого слова: он должен смотреть и за тем, чтобы крестьяне снимали хлеб косою, а не серпом, и за тем, чтобы служивые люди брили бороды, и чтобы никто не уклонялся от исповеди и причастия. Правда, все это больше на бумаге—на деле главной заботой и выборного комиссара, как раньше назначенного, был сбор податей, а тут он при петровской системе совершенно стушевывался перед полковым начальством,

[1] *М. Богословский*, «Исследования по истории местного управления при Петре В». «Журн. Мин. просв.», 1903 г., № 9.

[2] Фактически она начинала собираться в 1724 г.

в руках которого был сбор подушных. Он и жил, обыкновенно, при полковом дворе и был, в сущности, делегатом *местных* помещиков при комиссаре полковом. Но не нужно забывать, что и этот последний был тоже своего рода выборным дворянским агентом: он выбирался только не местными дворянами, а полковым офицерством[1].

Таким образом, вместо непрерывной линии, ведущей в московскую Русь, в качестве антецедента екатерининских «реформ» приходится отмечать первые поступательные шаги дворянской реакции в последние годы Петра I. И не случайно, быть может, екатерининские дворяне сохранили в своих проектах петровскую номенклатуру. «На том же собрании,—продолжает цитированный нами выше боровский наказ,—дозволить дворянам между собою выбрать *ландрата* и от всякого стана, которые *дистриктами* переименовать, дистриктного *комиссара*...» Память о том, что не удалось, но чего уже желали при Петре, была крепка еще в 1767 г. Но большинство не хотело останавливаться на исторических реминисценциях и шло дольше. Почему только низшие ступеньки областной администрации должны замещаться дворянскими уполномоченными? «От прежде бывших времен и доныне из правительствующего сената в города определяются воеводы,—писали козельские дворяне,—а к их должности принадлежащих качеств правительствующему сенату, за множественным числом оных, определяемых в воеводы, знать невозможно, но не благоволено ли будет *отдать выбор воеводы дворянству того города*, чтобы они выбирали из своих сотоварищей...» Коломенские дворяне были смелее и откровеннее. К исполнению правосудия по законам и *для искоренения лихоимства* потребны добросовестные и помнящие свою присягу беспристрастные городские правители, кои бы собою своим подкомандующим примером были,—говорил их наказ.—К достижению же таковых кажется ближайший способ: 1) *повелено б было в городах воевод и товарищей воеводских из дворян того уезда выбирать дворянству*... 2) воеводам быть по два года, а по прошествии оных сменять другими из того же уезда по дворянскому выбору»[2]. Тульские дворяне находили, что новый правитель и звание прежнего сохранить не должен; «И того градоначальника и его товарища,—писали они,—не бесполезно будет от ее императорского величества высочайшей власти *назвать не воеводой*, а нижние чины не подъячими, дабы чрез то не только удержать всякого градоначальника в своей не зазорной поступи, но и память многих бывших в сем звании нарушителей благоденствия загладить». Но передав в руки местных помещиков уездную администрацию до самой ее верхушки, почему не

[1] См. того же автора: «Областная реформа Петра В.», М. 1902, особ. стр. 404—443.

[2] Сборник Русск. истор. о-ва», т. IV, стр. 266 и 329; ср. 484, т. VIII, стр. 484, 517, 522.

передать в их руки и местный суд? Скромнее других в этом отношении были костромские дворяне. Судиславское[1] дворянство выражалось так: «весьма бы для дворянства способно и полезно было, если бы ее императорское величество, милосердная мать отечества, соизволила повелеть для дворянства учредить словесный суд и по оному определить того уезда из дворян, выбрав обществом, судью, и к нему по таковому же выбору определить же из дворян четыре персоны помощников... А суд дозволить им производить в нижеследующих делах, а именно: в ссорах, драках, в потраве хлеба и лугов, в порубке лесов, в перепашке земель и в других случающихся просьбах (*окроме криминальных и разыскных дел)*, для того дабы дворяне, не имея себе убытка и приказной волокиты, могли получить себе вскоре и малое удовольствие, сочтя за большое; ибо из дворян многое число таких, которые приказных порядков не знают, а другие и грамоте вовсе не умеют»[2]. Здесь, как видим, дворянскому судье отводилась компетенция позднейшего мирового или земского начальника: уголовными делами («криминальные и разыскные») должен был ведать кто-то другой. Калужское и медынское дворянство, напротив, главную цель своего суда видело в том, чтобы «*разбои*, *кражи*, наглости и всякие непорядки предварительно отвращены и сокращены были». Совершенно естественно, что калужане не довольствались переходом в дворянские руки одних низших судебных инстанций. «Чтобы на учрежденный дворянский суд апелляцию просить от каждого уездного города прямо в *губернских городах в учрежденном же дворянском суде*, также избранием общим дворянским», ходатайствовали они. В этом губернском суде центральная власть была бы представлена одним губернатором, который в нем должен был председательствовать, «это поверенная особа от высочайшей власти ее императорского величества», апеляционной же инстанцией для губернского суда был бы только сенат или юстиц-коллегия. Перемышльские и воротынские дворяне (нынешней Калужской же губернии) желали, чтобы и местная прокуратура была выборная: на местах получался, таким образом, сомкнутый фронт дворянских учреждений, противостоявших непосредственно центральной власти тоже дворянской, но в состав которой местные помещики не желали мешаться. Картина «средних властей, поставленных между государем и народом», была столь полная, что более полной не представил бы себе и Монтескье. И в то же время картина была глубоко национальной. Ни в каком литературном позаимствовании никому не пришло бы в голову упрекнуть хотя бы суздальское «благородное дворянство», как оно само себя именовало, жаловав-

[1] Судислав, тоже уездн. город, в нынешней Костромской губ.

[2] По словам биографа А. И. Бибикова, треть костромских дворян не знали грамоты.

шееся на отмену пыток и смертной казни, отчего «некоторые, не видя самим смертоубийцам достойного по делам их истязания, *чинят* не токмо посторонним, *но люди и кретьяне своим помещикам и помещицам смертные убийства* и мучительные притом наруганья», и требовавшие «таковым злодеям *приумножить истязания*». Или галицких дворян, желавших без дальних рассуждений просто восстановления губного сыска, как он практиковался при Грозном. «По смертоубийственным, такоже татиным и разбойным делам, на что свидетельства нет,—писали галичане,—и по тому производятся суды, не повелено ль будет оное отставить, а учиня, *на кого в оных делах будет челобитье, сделать повальный обыск*, и ежели тот в повальном обыске одобрен не будет... таковых пытать, а не судом производить»[1].

Мы напрасно стали бы объяснять подобного рода вожделения невежеством захолустного дворянства: те же самые галицкие дворяне очень обстоятельно развивают в своем наказе мысль о необходимости дворянских училищ в провинциальных городах. Губной сыск, конечно, был бы направлен не против дворянства: первая из сейчас приведенных двух цитат ясно показывает, к какому классу общества принадлежали «злодеи», которым нужно было «умножить истязания». Кнут и плети предназначались для людей «подлого состояния», которым и по мнению тогдашной интеллигенции естественно было быть битыми, как мы видели на примере Болотова. Иное дело люди благородные. «Мы, быв обнадежены беспримерного милосердия опытами нашей всемилостивейшей государыни, яко то избавлением от смертной казни и впавших в важные преступления ее подданных,—писали калужане и медынцы,—препоручаем вам, почтенному господину депутату, в учрежденной комиссии представить, чтобы *все дворянство, яко род из подданных ее императорского величества удостоившийся особливой высочайшей милости*, благоволения и доверенности, как в важных государственных делах, так в всяком состоянии, *везде и всегда, избавлен был бы всякого телесного и бесчестного наказания и пыток, а потому смертной казни*»[2]. Капорское дворянство, представителем которого в комиссии был Григорий Орлов, шло еще дальше и подбиралось к «действительной неприкосновенности личности», исключительно дворянской, конечно. «Сделано бы было положение... дабы *дворянин* действительно владеющий своим имением, без предводителя и других ему в помощь назначенных, *никогда и ни по какому делу арестован не был*, в деревнях своих находящийся». И все дворянские пожелания прямо и просто резюмирует кашинский наказ (нынешней Тверской губернии); «живущий дворянин в уезде не зависим бы был ни от кого, кро-

[1] «Сборник Русск. истор. о-ва»., IV, стр. 247, 281 и сл., 289, 292, 436; VIII, стр. 533, XIV, стр. 493.

[2] Ibid, IV, стр. 288, ср. стр. 462—463.

ме того уезда дворян, и чтобы воеводская канцелярия и ниже другие какие правительства не могли дворянина собою к суду призвать, или к должности определить, или по какому делу взять». Дворянство должно было стать сословием *политически привилегированным*.

Наиболее полное и обстоятельное изложение дворянских требований содержал в себе, как известно, *ярославский* наказ—в большей своей части произведение лучшего публициста эпохи, кн. М. М. Щербатова. Его публицистическая деятельность и выразилась главным образом в этом наказе, да в «голосах», которые он по разным случаям подавал комиссии: более обширные публицистические работы его (в роде знаменитого рассуждения «О повреждении нравов в России») увидели свет лишь много лет после его смерти. По ярославскому наказу можно видеть, как представляли себе положение своего сословия наиболее сознательные его члены. О необходимости экономического базиса для дворянских привилегий подумывали уже довольно давно, как мы видели; но Федору Салтыкову, вероятно, и во сне не приснилась бы смелая картина, нарисованная Щербатовым. Ярославский депутат (Щербатов как-раз и был им,—так что это был, в сущности, наказ самому себе) должен был прежде всего другого, разумеется, стараться «дабы право иметь деревни и земли одним дворянам российским оставлено было, яко более всех рождением своим и воспитанием пристойным владеть другими подданными ее императорского величества». Отсюда следовало, что он должен был бороться против права земельной собственности для купцов. Правда, закон Петра I, позволявший купцам покупать имения к фабрикам, был отменен Петром III; но это касалось лишь будущего,—уже купленные или пожалованные вотчины оставались за фабрикантами. «Того ради не соблаговолено ли будет по рассмотрении в противность законам (!) купленные ими деревни у них взять с нужными распорядками, дабы их по милосердию в убытке не оставить», просили ярославцы. Работа на купеческих фабриках после этого должна была вестись вольнонаемными рабочими, что в массе случаев должно было сделать дальнейшее существование фабрики невозможным. Но ярославские дворяне не имели оснований особенно об этом заботиться: они ничего не возразили бы против того, чтобы взять почти всю обрабатывающую промышленность и добрую половину торговли на себя. Относящееся сюда мнение ярославского наказа настолько любопытно, что стоит его привести целиком. «Колико дворянство не утруждено службою своею государю,—писал Щербатов,—однако не меньше имеет старания и о домостроительстве, помышляя, что домостроительство партикулярных людей делает их изобилие, а обилие партикулярных сочиняет обилие государства. И как оно из древних времен имеет право пользоваться винною скидкою для поставки государю, которое право и ныне еще им (дворянам) вновь милосердием нашей всемп-

лостивейшей государыни подтверждено, а как мнится нам, что сие право особливо дворянству не от чего иного начало свое имеет, как от того, что вино из продуктов земли, которой единые дворяне владетели, сидится, то по тому же резону мнится, что и фабрики, сочиняющие изо льну и из пеньки, и из прочих земельных и экономических произращений, равным же образом дворянам должны принадлежать. А понеже уже многие купцы за неразличением сего права (!) вступили в сии фабрики и уже великие капиталы положили, то оные у них оставить им и потомству их, с некоторым небольшим и им нечувствительным платежом корпусу дворянства в число платежа подушных денег за крестьян, а впредь такие фабрики оставить так, как вино, единым дворянам»[1]. Итак—земля дворянская и все, что в земле, тоже дворянское; рассуждая по этой логике, нетрудно было бы доказать, что и всю металлургическую промышленность нужно также предоставить «дворянскому корпусу»: металлы ведь извлекаются из земли, стало быть они, как и земля, должны принадлежать «единым дворянам». И, как полагается публицисту XVIII в., это дворянское право Щербатов рассматривает как право *естественное*: оно только «не различалось» до сих пор, а существовало искони, как и право дворян курить водку. Но это еще не все: «право торговли вне государства» тоже должно стать неотъемлемым дворянским правом; как купцы будут вести заграничную торговлю, когда они не знают ни арифметики, ни иностранных языков? А что оптовую торговлю хлебом нужно оставить дворянам, это совершенно ясно; ведь хлеб из земли, а крестьяне, у которых покупают хлеб купцы,—дворянские крепостные; выторговывая у них на хлебе, купечество, в сущности, залезает в дворянский карман. Но всего лучше заключительный пассаж всего этого отдела; после длинного рассуждения о том, как вредны кабаки в деревне, вы ждете что Щербатов закончит решительным требованием—уничтожить это пагубное учреждение. Не тут-то было. «И так, не соблаговолено ли будет по исчислению, сколько на те в господских деревнях построенные питейные дома выходят вина, пива и меду, *отдать тем самым господам на откуп*...» Даже пьянство станет безвредно, когда откупа—почти крупнейшее капиталистическое предприятие того времени—станут дворянской привилегией!

Ярославский наказ представляет собою один из характернейших памятников того экономического сдвига, какой испытало крепостное хозяйство во второй половине XVIII в. Позднее мы подробнее займемся этой весной помещичьего предпринимательства[2]. Пока для нас важны те политические выводы, которые делал Щербатов из доминирующего положения «дворянского корпуса» в центре народного хозяйства. В самый наказ по самому

[1] См. Сочинения кн. *М. М. Щербатова*, т. I, стр. 17.
[2] См. следующую главу «Русской истории».

характеру этого официального документа эти выводы вошли в минимальном объеме. Экономически привилегированное дворянство и во всех других отношениях должно быть «отличено от простых людей»: дабы дворянин не лишился «знатных мыслей» он должен был быть избавлен от телесного наказания, как в дисциплинарном порядке, в военной службе, так и по приговорам уголовного суда; не совсем ясно Щербатов требует на последнем *защиты* (только для дворян, разумеется) и права отвода судей. Предварительное заключение для дворян если и допускается, то в самых мягких формах; «чтобы каждый (дворянин), в каком бы преступлении ни явился, ожесточительным образом прежде изобличения его содержан не был»[1]. А так как привилегии лишь тогда ценны, когда они доступны не всякому, то повторяя в более расширенной форме татищевские требования 1730 г., ярославские дворяне ходатайствовали, «не соблаговолено ли будет право достигшим в офицерские чины дворянского как имени, так и прочих дворянских прав, отменить (которое по нужде прежних обстоятельств было дано), *какой бы чин ни имели*, дабы достоинство дворянское, которое—яко и блаженной и вечной славы достойной памяти Петр Великий в табели о рангах изъясняется—единственно жаловать государю надлежит, не было уподлено чрез какие другие происками учиненные происхождения». Нужно сказать, что после указа 18 февраля 1762 г. требование это было более логично, нежели при Анне Ивановне; раз служба не являлась более отличительным признаком дворянина, не было основания делать дворянами всех, кто служил. В одном из своих «предложений» (поданном в комиссию 12 сентября 1767 г.) Щербатов подробно развил эту мысль, что дворянином нужно родиться, а нельзя сделаться—разве уже в виде редчайшего исключения,—призывая на помощь и «Наказ» самой Екатерины, и «славного римского писателя Варрона», и барона Пуфендорфа. И сохранение дворянства по службе в жалованной грамоте 1785 г. вызвало у Щербатова ряд саркастических замечаний, показывающих, как горько было ему видеть крушение его надежды. Говоря о праве на потомственное дворянство тех, кто получил орден Георгия или Владимира, он припоминает такие анекдоты: «я слышал, не помню как, что одному был прислан орден георгиевский с прописанием его знатного дела, но он с трудом его принял, говоря, что он тогда и в армии не находился, а другой получил, сказывают, орден за потерянные пушек в Польше. Владимирский орден не лучше же кажется раздаваем. Третьяковский украл деньги у своего благодетеля, и когда дело было гласно, орден Владимирской получил; найду я и других воров, о которых сами начальники доносят, а однако ордены получают; и потому можно ли дворянину *не жа-*

[1] Ibid., стр. 20. Наказ говорит в данном пункте о «подданных» вообще, но из контекста ясно, к какому именно разряду подданных все относится.

лованному, но рожденному, без прискорбия видеть, что воровством и происками сии равны делаются с теми, которых кровь в непрерывное течение многих веков лилась за отечество?»[1].

Итак экономическое преобладание дворянства гарантируется его правами и преимуществами. Но чем будут гарантированы эти последние? Гласно, вслух, в комиссии или вне ее, это не было сказано; но отсюда не следует, чтобы об этом не думали—и то, как формулировал правовое положение российской монархии тот же Щербатов в одном из тех произведений, которые появились в печати только в наши дни, может считаться каноническим изложением русского «монаршизма» второй половины XVIII в. Неосторожные цитаты «Наказа» коронованной поклонницы Монтескье развернуты здесь в целую систему норм, *ограничивающих императорскую власть*. Но менее ядовито, чем Монтескье, охарактеризовав «деспотичество», и с не меньшею ловкостью, нежели он, перенеся его за тысячи верст от русских пределов, Щарбатов продолжает: «понеже Российская империя есть монаршического правления, яко и сама ее величество в Наказе своем изъясняется, что «надлежит иметь хранилище законов, ибо законы в нем должны твердо пребывать под сению монаршей власти». Каковы сии законы должны быть? Я, первое, считаю, что понеже *монарх несть вотчинник*, но управитель и покровитель своего государства, а потому и должно быть некиим *основательным правом*, которые бы не стесняли могущества монарха ко всему полезному государству, но укрощали бы иногда беспорядочные его хотения, по большей части во вред ему самому обращающиеся. В числе сих прав необходимо должно поместить твердое основание и положение о порядке наследства на престол... Хранение владычествующей веры и пребывание государя в оной и в гражданских законах должно составить ненарушимое положение... Права издания законов, разных налогов на народ, переделания монеты,—вещи, которые по непостоянству вещей человеческих иногда переменяются,—то, по крайней мере, порядок произведения сего в действо на непоколебимых основаниях должен быть утвержден; равным образом суд и право себя защищать... наконец, право *именования дворянского*, по их разным степеням, *ненарушимо в монаршическом правлении поставлено быть должно*. Но недовольно сие словами или грамотою какою утвердить: надлежит, чтобы поставлены были и наблюдатели о сохранении оного. Тако, держася слов ее императорского величества, надлежит иметь «хранилище законов». А что в России хранилище законов? Сие есть сенат. Надлежит оный не токмо снабдить довольно основательными государственными правами о его могуществе, но также и наполнить такими людьми *в силу ж основательных прав*, чтобы препорученный

[1] «Примечание верного сына отечества на дворянские права на манифест», Сочинения, т. I, стр. 330.

ему закон в силах был охранять»[1]. Из этого можно видеть, что и состав сената предполагался независимым от «беспорядочных хотений» монарха. Как Щербатов надеялся этого достигнуть, здесь он не сказал. В его утопии «Путешествие в землю Офирскую г.С., швецкого дворянина», при «вышнем правительстве» Офирской земли имеются выборные депутаты, от дворянства и от купечества. Но дворянские депутаты представляют каждый только дворянское общество своей губернии; до все-дворянского парламента щербатовская конституция не доходила.

Пока учительница дворянства «усиливалась понять» монархическую теорию «Духа законов», у ее учеников готова была своя теория, не менее стройная, чем у Монтескье, но приспособленная к русским условиям. Теория эта в смысле логического совершенства далеко оставляла за собою тот жалкий «плагиат» (подлинное выражение самой Екатерины), который носил название «Большого наказа». Но автор последнего, теоретически отстав от своей публики, далеко не лишен был практического здравого смысла. Екатерина не могла не видеть, что «основательные права» и политические гарантии интересуют лишь нитожное меньшинство сознательных дворян, что серая дворянская масса гораздо больше хлопочет о социальных преимуществах и об укреплении своих позиций на местах, нежели о дворянской конституции. Чтобы помешать дворянским лидерам распропагандировать эту серую массу, комиссия была закрыта на середине своих занятий: наскоро выбранным предлогом была начавшаяся в 1768 г. турецкая война. А затем большая часть практических пожеланий дворянских наказов были попросту превращены в законы, что в истории получило пышное название «реформ Екатерины II». По положению о губерниях 1775 г. уездная полиция была отдана выборному от дворян капитан-исправнику, были созданы дворянские суды не только в уезде, но и в губернии (верхний земский суд), были удовлетворены даже второстепенные требования дворянства—учреждены, например, дворянские опеки, о которых много толковали наказы 1767 г.,—дворянский предводитель занял определенное место среди губернской администрации. Изданная в 1785 г. «Жалованная грамота дворянству» обещала, что «благородный» без суда не будет лишен ни дворянского достоинства, ни чести, ни жизни, ни имений; что он будет судим только своими равными; что его не коснется телесное назакание; что с дворянами, служащими в нижних чинах, будут поступать во всех штрафах так, как с обер-офицерами; что благородный имеет право покупать деревни, устраивать в них фабрики и заводы, торговать оптом сельскими продуктами, вести заграничную торговлю; было разъяснено, что право собственности на земли распространяется и на «недра той земли»,—так что упущенные Щербатовым в его наказе

[1] Ibid., стр. 390 и сл.—«Размышления о законодательстве вообще».

минералы не ушли-таки от дворянских рук. Наконец, подтверждено было собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы чрез депутатов их, «как сенату, так и императорскому величеству на основании узаконений». Но чем и как будут гарантированы все эти права и преимущества, жалованная грамота молчала. Казалось бы, рано или поздно дворянство должно было заинтересоваться этим вопросом, как заинтересовался им кн. Щербатов. Но обстоятельства сложились так, что интересы дворянства направились совсем в другую сторону и Щербатову суждено было стать не вождем дворянского движения, а только теоретиком неосуществившейся конституции[1].

4. Денежное хозяйство

Лет двадцать тому назад историк русской культуры, желая наглядно изобразить своему читателю разницу натурального и денежного хозяйства, противопоставил русского помещика начала XIX в., от которого мало было доходу московским лавкам и магазинам, потому что все у него было свое, а не покупное, современному предпринимателю, вынужденному «обращать свой товар в деньги и деньги опять в товар», чтобы существовать и пользоваться достатком. Насколько первый мог «с философским равнодушием созерцать окружающее», настолько второй зависит от покупателя и от обмена. Картинка, как и вся книга, хорошо кристаллизовала *бычное* мнение о предмете: так именно всегда и все представляли себе эволюцию русского хозяйства на протяжении двух последних веков. Уже несколько лет, как это представление начало сдавать перед другим, причем, как всегда бывает, быть может, несколько даже перегнули палку в противоположную сторону: стали говорить «о дворянской буржуазии» XVIII в. и рисовать екатерининскую Россию чуть не капиталистической страной. Чтобы найти равнодействующую между двумя крайностями, лучше всего обратиться к современникам. Русские помещики начала прошлого века отнюдь не были безгласными: они говорили и писали о своем экономическом положении весьма словоохотливо. Найдем ли мы в их рассуждениях «философское равнодушие» или сознание своей зависимости от покупателя и от обмена? В 1809 г.—эпоха, как видит читатель, как-раз та, которую выбрал наш историк русской культуры,— некий коллежский секретарь Михаил Швитков представил Вольному экономическому обществу сочинение «о двух главных способах, назначенных к лучшему деревнями управлению». Общество наградило сочинение золотой медалью и напечатало его в своих «Трудах»; мы имеем, стало быть, основание считать взгля-

[1] В настоящем очерке нашли себе место только *дворянские* пожелания, высказывавшиеся в комиссии 1767 г.; дворянство было *рещающей* общественной силой. Не-дворянские депутаты (в комиссии были представлены все сословия, кроме крепостных крестьян) могли говорить, но никто не обязан был их слушать.

ды и мнения Швиткова за нечто принятое и одобрявшееся значительною частью тогдашних образованных помещиков, заседавших в комитете общества. «Попечение о стяжании множества денег стало быть общим,—писал Швитков,—и, как кажется, единственно в том предмете, что оными думают заменить во всякое время другие свои недостатки». «По приказным вотчинным делам не так известно, как по приватным сведениям, что *многие помещики по пристрастию к одному только денежному богатству перестали уже существовать помещиками*. Я отнюдь не упускаю из вида и того, чтобы как помещикам, так и крестьянам наивозможнейшим образом стараться о приобретении довольного количества денег, как потому, что деньги за всем изобилием сельских произведений для многих предметов всякому необходимо нужны, так и потому, что они для всякого состояния людей естественно заключают в себе самое приятнейшее побуждение к трудолюбию и рачению о благе не меньше общественном, как и собственном своем»[1]. Историку конца XIX в. казалось, что помещику начала этого столетия очень приятно было иметь «все свое, не покупное», начиная от крепостного повара или камердинера и кончая всякой живностью для стола. А богатому барину-петербуржцу уже за сорок лет до Швиткова начинало казаться, что выгоднее именно все покупать, а прислугу по возможности нанимать. В 1771 г. то же Вольное экономическое общество, президентом которого тогда был граф Шувалов, а в числе «очередных» членов гр. Чернышев, Олсуфьев, кн. Гагарин и Демидов, задавало «для решения публике» задачу: как прожить в Петербурге примерно на двадцать тысяч рублей в год? Вопрос, очевидно, касался богатого помещика; один из премированных обществом авторов и называет своего воображаемого «домостроителя» «его сиятельством графом N. N». В идеальном бюджете этого воображаемого сиятельства, который реальные сиятельства, заседавшие в Вольном экономическом обществе, вполне могли оценить по собственному опыту, *все покупается на деньги*, до черного хлеба и коровьего масла включительно, и *вся прислуга наемная*—говорится лишь о возможности подучить кое-кого из крепостных мальчиков или девушек для некоторых второстепенных должностей[2]. Это, конечно, не действительность, а идеал, но для тенденции большого барского хозяйства второй половины XVIII в. такой идеал как нельзя более характерен. В Петербурге дней Екатерины II, как в Париже времен Людовика XIV, уже не спрашивали: «какого происхождения

[1] «Труды Вольного экономического общества», часть LXII, стр. 135 и 121—122. Курсив наш.

[2] Обширные трактаты, отвечавшие на поставленную гр. Шуваловым и др. задачу, напечатаны в XXI и XXII частях «Трудов В. Э. О.». Приложенные к ним подробные расчеты составляют драгоценный материал для истории петербургских цен 1770-х годов, сколько мы знаем, еще не использованный.

этот человек?», а спрашивали: «сколько у этого человека ренты?».

Так как рента «его сиятельства графа N. N.» могла получаться только в виде доходов с его имений, то, очевидно, либо крестьяне графа, либо его управляющий должны были заботиться о том, чтобы «превращать товар в деньги». Первое имело бы место в том случае, если бы его имение, как бо́льшая часть крупных вотчин той поры, было на оброке; второе—если бы в нем велось собственное хозяйство. Что сам граф при всем этом оставался весьма мало буржуазной фигурой, не должно нас удивлять: ведь и современный нам предприниматель, если он достиг известных размеров, разве самолично хлопочет о «превращении товара в деньги»? Он или картинную галлерею собирает, или скаковых лошадей держит,или учится летать на аэроплане—словом, предается какому-нибудь благородному занятию, создавать же материальный базис для этого благородного занятия—дело разной черняди, получающей более или менее скромное вознаграждение, в роде управителя «его сиятельства графа N. N.». Разница между богатым помещиком екатерининских времен и теперешним крупным буржуа не в их индивидуальном, личном хозяйстве, а в социальной основе этого хозяйства. Один эксплоатирует пролетаризованных рабочих при помощи своего капитала; другой—мелких самостоятельных предпринимателей, крестьян, при помощи своей власти над ними. В одном случае мы имеем *экономическое* принуждение, в другом—*внеэкономическое*. В известный момент второе должно было перейти в первое—тогда понадобилось так называемое «освобождение крестьян», частичное открепление производителей от земли и орудий производства, предшествовавшее их полной пролетаризации[1]. При Екатерине II до этого было еще далеко, хотя появление первых ласточек эмансипации все в том же Вольном экономическом обществе тех же дней не менее характерно для эпохи, нежели вольнонаемный трубочист или вольнонаемный дворник графа N. N. Мы займемся этими идеологическими течениями в своем месте,—сейчам мы в области объективного, а не субъективного. Новый феодализм второй половины XVIII в. сделал еще шаг вперед сравнительно со старым московским. Мы помним, что уже тогдашнее имение не вполне само себе довлело; оно жило не только для удовлетворения непосредственных потребностей своего владельца, а, отчасти, и для рынка. Но это еще не было рационально поставленное хозяйство новейшего типа: скорее это было своего рода «разбойничье земледелие»—параллель «разбойничьей торговле» XI—XII вв. Помещик времен Годунова добивался не правильного постоянного дохода,—он стремился в возможно более короткое время извлечь из своего имения возможно боль-

[1] В России глубоко закономерным явлением в этом отношении является указ 9 ноября 1906 г.—как нельзя быть более логичное дополнение к «великой реформе» 19 февраля. За шумом политической борьбы эта логика не всеми почувствовалась.

ше денег, дешевевших год от году с быстротой, способной навести панику на людей, все привычки которых еще отдавали стоячим болотом натурального хозяйства. Он спускал на рынке все, что мог, и, оставшись в один прекрасный день на выпаханной и опустошенной земле с разоренными крестьянами, он старался превратить в товар хоть этих последних, так как земли никто уже не покупал. Эта оргия наивных людей, впервые увидавших денежное хозяйство, должна была кончиться, как всякая оргия, тяжелым похмельем. В XVII в. мы имеем частичную реакцию натурального хозяйства: но так как силы, разлагавшие это последнее веком раньше, продолжали действовать и теперь, притом чем дальше, тем больше, новый расцвет помещичьего предпринимательства был только вопросом времени. А это время должо было быть тем короче, чем плотнее было население помещичьей России, во-первых, и чем теснее были его связи с Западной Европой, во-вторых: ибо, как мы помним опять-таки, опустение центральных уездов и разрыв торговых сношений с Западом, благодаря неудаче Ливонской войны, в сильнейшей степени способствовали обострению аграрного кризиса конца XVI в. Как-раз к расцвету «нового феодализма», к концу царствования Елизаветы, обстоятельства в обоих этих отношениях складывались для помещичьего хозяйства необыкновенно благоприятно.

Петровские войны, как мы видели, сильно разредили очень увеличившееся к концу XVII в. население старых областей Московского государства: но следы этого опустошения сгладились еще скорее, нежели следы смуты. Петровская ревизия дала около 5 600 тыс. душ мужского пола; через двадцать лет—меньше одного поколения—елизаветинская ревизия, проводившаяся далеко не с такою свирепостью, как первая, и давшая, наверно, гораздо больший процент «утечки», зарегистрировала, тем не менее, 6 643 тыс. душ. Первая екатерининская ревизия, опиравшаяся исключительно на показания самого населения т. е. для дворянских имений—на показания самих помещиков и их управляющих (в первую минуту столь простой способ счисления, предложенный императрицею, ошеломил даже членов дворянского сената), дало однакоже новое и очень значительное увеличение—7 363 тыс. душ. Начиная с четвертой ревизии, в перепись вошли губернии, раньше к ней не привлекавшиеся, вследствие иной податной организации в них (Остзейские и Малороссийские), а также области, вновь приобретенные от Польши: для всей России цифры получаются, таким образом, несравнимые с результатами трех первых ревизий. Но уже в 70-х годах (четвертая ревизия началась в 1783 г.) кн. Щербатов считал в границах Петровской России около 8½ млн. душ: другими словами, за полвека со смерти Петра население увеличилось в полтора раза. Абсолютные цифры населения еще ничего, конечно, сами по себе не говорят. Важнее отношение его к территории. При средней плотности для Европейской России 405 чел. на

квадратную милю (около 8 на квадратный километр) в конце царствования Екатерины II нашлось 11 наместничеств, где эта плотность превышала 1000 чел. на кв. милю (20 на километр), т. е. почти достигала средней плотности населения теперешней Европеской России, составляющей, как известно, по данным 1905 г., 25 чел. на кв. километр. То были губернии: Московская, с плотностью 2 403 чел. на кв. милю (почти 50 на кв. километр, т. е. почти столько, сколько теперь в центральных земледельческих губерниях—Курской, Рязанской, Тамбовской и т. д.), Калужская, Тульская, Черниговская—от 1 500 до 2 000 на кв. милю (от 30 до 40 на километр, как теперешние губернии среднего Повольжья: Симбирская, Саратовская, Пензенская, Казанская), Рязанская, Курская, Киевская, Орловская, Харьковская, Ярославская и Новгород-Северская—от 1 000 до 1 500 на милю, или от 20 до 30 на кв. километр (плотнее нынешней Самарской и Области Войска Донского и немного ниже теперешних Минской или Смоленской) [1].

На населенность Московской губернии должен был оказывать известное давление город Москва, но не столь, однако, сильное, как может показаться: в конце XVIII столетия в Москве было не более 250 тыс. жителей. Еще меньше могло сказаться влияние городских центров на населенности таких губрений, как Калужская или Рязанская. Даже уменьшив плотность населения Московской губернии на $^1/_5$, мы получим до 40 чел. на квадратный километр чисто земледельческого населения. В наше время губернии с такой плотностью страдают уже от малоземелья: полтораста лет назад не могло быть иначе. Вот что писал в 70-х годах Щербатов о Московской губернии петровского разделения, включавшей в себе позднейшие—Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и Рязанскую: «По причине великого числа народа, населяющего сию губернию (Щербатов в ней считал 2 169 000 душ), многие деревни так безземельны остаются, что ни с каким прилежанием не могут себе на пропитание хлеба достать, и для того принуждены другими работами оный сыскивать. По той же причине многонародие леса в сей губернии весьма истребило, и в полуденных провинциях их столь мало стало, что с нуждою на протопление имеют». В то же самое время в Нижегородской губернии были «многие великие села и волости», которые вследствие недостатка земли, «упражняясь в рукоделиях, промыслах и торговле», не имели даже огородов[2]. Вольное экономическое общество при самом своем основании пожелало собрать сведения об экономическом положении различных областей России, и в первой же книжке его «Трудов» был напечатан весьма обширный и детально раз-

[1] Цифры для XVIII в. взяты у *Шторха*, «Historisch-statistisches Gemälde des russischen Reichs», Riga 1797, B. I, S. 325—326.

[2] *Щербатов*, Сочинения, т. I, стр. 480 и 492.

работанный план анкеты, заключавший в себе 65 вопросов, «касающихся до земледелия». Это было для своего времени очень крупное и рационально задуманное предприятие; если бы оно удалось вполне, мы имели бы нечто в роде моментальной фотографии аграрных отношений, существовавших в России около 1765 г. К сожалению, полученные обществом ответы охватывают лишь меньшую часть тогдашних провинций, притом не все они напечатаны в «Трудах», а в напечатанных есть пробелы. Тем не менее, ничего столь полного мы не имеем ни для предшествующей эпохи, ни даже для последующих, вплоть до того времени, когда появились работы «редакционных комиссий» 50-х годов. Нам в дальнейшем не раз придется прибегать к данным этой анкеты. Пока отметим, что по интересующему нас вопросу об *относительном перенаселении* ответы корреспондентов Вольного экономического общества вполне подтверждают слова Щербатова. «Сколько я приметить мог,—писал из Каширского уезда знакомый нам Болотов,—то во многих местах здешнего уезда более способных работников, нежели земли к делению способной. Почему многие помещики от времени до времени вывозят крестьян своих в Воронежскую и Белогородскую губернии и селят в степных уездах». «В здешней провинции противу пашенной земли земледельцев гораздо больше», категорически заявлял корреспондент из Переяславля Залесского. Притом «крестьяне опричь земледелия никаких промыслов других не имеют»; здесь, таким образом, мы имеем очень чистую форму *избыточного населения*, которому ничего не остается, как уйти, если оно не хочет умирать с голоду. Избыток отмечается во всех центральных провинциях: в Рязанской, Калужской, Владимирской и Тверской[1]. Его нет только в южных и восточных пристепных областях: хотя уже в Украинской Слободской провинции (нынешней Харьковской губернии) «пашенные земли с числом земледельцев состояли в равновесии». А в Сумской провинции (теперь уезд той же Харьковской губернии) «земли против числа людей» было даже «умеренно, и излишества ни в чем не предвиделось». Наконец, в северных провинциях—Вологодской, Галицкой, около Онежского озера—земли, правда, было сколько хочешь, но лишь ничтожная часть ее была распахана, так что малоземелье давало себя чувствовать и здесь[2].

Кашинский корреспондент Вольного экономического общества дает нам чрезвычайно изобразительную картину разложения земледельческой России по мере того, как плодилось земледельческое население. Нет нужды, что он сам плохо улавливает

---

[1] См. «Труды В. Э. О.», II, стр. 197; VII, стр. 75 и 105; XII, стр. 112; XI, стр. 113; XXVI, стр. 69 и сл.

[2] Ibid, VIII, стр. 95 и 213; X. стр. 92; XXIII, стр. 168 и др.

связь явлений и склонен большую долю возложить на господа бога, который урожаю не послал, да на леность крестьян, не сумевших во-время приноровиться к божьему насланию. В прежнее время бо́льшая часть кашинских крестьян, «не выходя сроду ни ногою из своего уезда, питалась единственно хлебом, просто сказать, так, как он сам родился, не заботясь о приведении земли к лучшему хлебородию, что им удавалось; ибо продолжавшиеся до 1762 г. сухие годы, и, следовательно, по здешней низменной земле хорошие урожаи довольно снабжали их как хлебом, так и для скота кормом, а они, обнадеясь на то, и употребляли все свои мысли единственно к обрабатыванию той земли, коя их питала, не приумножая вновь. Но когда же с 1762 г. сделались почти всегда дождливые лета, и низкие пашни от долго на оных стоявшей воды начали вымокать, а *старая земля выпахиваться*, то *и хлебы стали хуже родиться*. Однако крестьяне пробивались еще год или два старыми семенами, *неурожаи не переставали*, но еще *более умножались*; наконец хлеба у них не стало, они принялись за скот, но который к пущему несчастию неоднократно помирал поветрием, что их и последнего лишило пропитания. Они стали мало содержать скота, следовательно, и земля навозу прежнего получать не стала, вспашка от дурных лошадей и бороньба также переменилась, и пашни сделалась еще хуже; при всем том они никаких средств не предпринимали, перебивались с копейки на копейку, *а все дома сидели*, *и почитали за страх ходить по землям куда-нибудь в большие города работать и тем доставать себе хлеб и деньги*. Напоследок, *когда многие помещики зачали их к тому принуждать*, *то вступили они в поход*: но и там, как люди незнаемые и не заобыкновенные, мало получали барышей или, привыкнувши к вольной городской жизни, а лучше сказать, к пьянству, от хлебопашества зачали отставать»[1].

Итак, первое, что умели сделать помещики с избыточным населением своей крепостной деревни, это—выгнать лишние рты в город на заработки. Общественное мнение хороших хозяев тех времен этого отнюдь не одобряло,—помещик считался как бы обязанным найти своему крепостному работу на месте. Кн. Щербатов развитие отхожих промыслов прямо связывает с развитием как среди помещиков, так и среди самих крестьян «сластолюбия»; «сластолюбие обыкновенно влечет за собою леность, а леность людей ослабляет в земледельческой работе». Неодобрительную нотку в суждениях кашинского корренспондента Вольного экономического общества читатель уже заметил, конечно. Но неодобрение не могло устранить объективного факта: барин требовал оброка, и в поисках денег крестьянин «выступал в поход» из деревни в город. О размерах «похода» дают пред-

[1] Ibid., XXVI, стр. 24—25.

ставление цифры, собранные историком русской фабрики. В Ярославской губернии было взято паспортов:

в 1778 г.	53 656
» 1788 »	70 144
» 1798 »	73 663

«Мужчин в Ярославской губернии по пятой ревизии (1796 г.) было 385 008. Таким образом, в конце XVIII в. около 20% всего мужского населения Ярославской губ. уходило на заработки на сторону, иначе говоря, более $^1/_3$ *взрослого* мужского населения занималось неземледельческими отхожими промыслами»[1].

Несимпатизировавший явлению кн. Щербатов дает в одном месте картину его конечных результатов, не менее наглядную, чем изображенная кашинским помещиком. «Если мы возьмем одну Москву,—писал он в 1788 г.,—и рассмотрим разных мастеровых, живущих и приходящих в оную, то ясно увидим, как число их приумножилось. Двадцати лет тому не прошло, весь Каретный ряд вмещался за Петровскими воротами по земляной ограде на большой улице, а ныне не только уже многие лавки распростерлись внутрь белого города, и взаворот в обе стороны по земляному городу, но и в других улицах множество есть таких сараев для продажи карет, не считая, сколько немцев-каретников в Москве в разных местах кареты делают и продают. Хлебники были весьма редки; ныне почти на всякой улице вывески хлебников видны. Кирпичу в год делалось в ряд до 5 миллионов, ныне делается до 10 миллионов; строенья (т. е стройки) были редки и много как в Москве прежде когда 20 домов строилось, а ныне нет почти улицы, где бы строения не производилось. Все таковые промыслы требуют людей, или навсегда пребывающих или приходящих на время летнее, яко кирпичников, каменщиков, штукатуров, плотников, столяров и пр.; а все сии люди, удвоившиеся или утроившиеся на летнее время, оставляют свои дома и земледелие, чтобы, не способствуя к произращению пропитания, быть истребителями съестных припасов»[2]. Но Щербатов мог бы утешиться: рядом с неземледельческим, те же причины создавали *земледельческий отход*. Описывая в своей «статистике» Белогородскую губернию (соединявшую в себе части теперешних Курской и Орловской), он говорит: «великое число земель и легкая работа дают способ земледельцам великое число земли запахивать, так что в многих местах они *четверть жатвы своея отдают приходящим из Московской губернии за то, что сии им помогают хлеб их убрать*». Это известие целиком подтверждает для крайнего юга тогдашней Московской губернии, Каширского уезда, Болотов, добавляющий любопытную подробность: на работу в степь ходили преимущественно *женщины*, а осенью их мужья

[1] *Туган-Барановский*, «Русская фабрика», изд. 2-е, т. 1, стр. 47—на основании данных архивов Вольн. эконом. общ.

[2] Сочинения, т. I, стр. 632—633.

отправлялись, иногда за сотни верст, с телегами, чтобы забрать хлеб, заработанный в течение лета их женами. Одного этого маленького факта достаточно, чтобы видеть, насколько екатерининская Россия не была уже страной натурального хозяйства.

Выгнать крестьянина на заработки в город было, конечно, самым простым для помещика способом извлечь пользу из своих «лишних людей». Для этого ничего, кроме некоторой энергии с его стороны, не требовалось. Но мы видели, что хорошие хозяева не сочувствовали такому способу извлечения дохода из крестьян, и, с помещичьей точки зрения, они были правы. «Где селянин навыкает тем порокам, которые ему больше должны быть чужды, нежели кому другому в гражданском состоянии пребывающему?—вопрошает своего читателя знакомый нам Швитков.—Где он научается роскоши, где вольнодумству, где высокомерию, как не в городах? По природной своей простоте он скорее, нежели кто другой, по самому первому побуждению к тому имеет поползновение; а сие, я думаю, потому больше делается, что он живет не в природном своем местопребывании, но на стороне, а потому и *на воле, которая, как обыкновенно, всякого почти портит*». «...Пристойно ли и сходно ли с гражданственным всего народа состоянием, не скажу по большей части, но весь свой век, жить крестьянину в городе, и одним городским промыслом наживая себе многие тысячи денежной суммы, отнимать через то у городских жителей способ к подобной промышленности, оставлять в пусте свою пашню, между всем тем по союзу со своими земляками, в селах пребывающими, *переносить к ним* вести о нуждах градских...?» «Посему едва ли не настает уже та необходимость, чтобы крестьян от всех их привилегированных посторонних промыслов возвратить в природный сельских их должностей круг, или, по крайней мере, поставить их в известную и надежную в том ограниченность...» Швитков предвидел возражение, что нельзя же всех крестьян посадить на землю, потому что в таких местах, как Кашинский уезд, например, у земли им всем не найдется работы. Но у него на это был готов ответ. «Я всегда держусь того мнения,—писал он,—что из них (поселян) и те семьи, которые посел ны на невыгодной хлебородием земле, по изволению своих господ могут быть заняты в собственных своих обиталищах многими упражнениями, полезными и для себя самих, и для своих господ, и для своего государственного общества»[1]. Дальнейшей по интенсивности ступенью эксплоатации избыточного населения являлось развитие в деревне *промыслов*. В Кашинском уезде ко времени анкеты Вольн. эконом. общества эта ступень была уже достигнута. «Нет почти ни одного помещичьего дома,—говорит цитированный нами выше автор,—где бы не было несколько ткачей для ткания

[1] «Труды В.Э.О.», ч. LXII, стр. 157, 137, 140

полотен, которые бывают по осмидесяти по девяносту пасм, и в Москве продаются аршин по пятьдесят и по шестьдесят копеек; *многие помещики сами большие барыши получают*». «Впрочем, прядут здесь столько, сколько в силах выпрясть,—говорит он же в другом месте о кашинских крестьянах,—и пряденье не за недостатком льну не приумножается, но *в помещичьих домах не достает иногда льну по причине многих ткачей*: однако там *покупают на ростовской ярмарке пряжею*, а иногда и льном, как лучше рассудится». «Прилежные, трудолюбивые женщины» пряли «прикупной лен» и в Вологодском уезде. «Когда своего льна нет, что *часто случается*,—пишет Болотов о Каширском уезде,—то покупается он от посторонних». И здесь, кроме грубой крестьянской холстины, которая, однако, охотно разбиралась весною «по ярмаркам и торгам городским», существовали помещичьи холстопрядильни: «в них дворовые бабы и девки прядут довольно тонко, и обученные ткачи ткут полотна, которые аршин по 20, 30 и по 40 коп. продается, и мне случалось такую видеть, за которую охотники по 70 коп. аршин давали» (тогда как цена крестьянского холста была от 2 до 3½ коп. аршин). Тканье холста на продажу засвидетельствовано анкетой и для целого ряда других провинций и уездов: Калужской, Владимирской, Переяславль-Залесской, Рязанской, Олонецкой. Пряли по большей части из своего, непокупного льна: но местами, в Калужской провинции, например, его тоже начинало уже не хватать, и если его еще не покупали, то только потому, что не было подвоза из других мест[1].

Несколько цифр дадут понятие о размерах этой отрасли домашней индустрии в екатерининское время. Тверская губерния 1780-х годов вывозила на продажу ежегодно не менее 10 млн. аршин холста, а в 1879 г. тою же Тверской губернией вывозилось не более 16 млн. аршин. Торговое значение холсткачества увеличилось за сто лет всего на 60%, и уже при Екатерине II оно достигало здесь двух третей того, что давала Тверская губерния при Александре II[2]. Но относительное значение промысла было несравненно выше того, что могут показать абсолютные цифры. *Пеньковые и льняные ткани были главной статьей русского мануфактурного вывоза за границу* и одной из главных статей этого вывоза вообще. В 1793—1795 гг. средний отпуск их из России достигал 14 614 тыс. аршин в год на сумму 4 285 000 рублей тогдашних (около 10 миллионов рублей золотом), и он был так же велик уже за тридцать лет раньше: в 1769 г. изделий из льна и пеньки (не считая канатов, веревок и т. д.) было вывезено на 1 935 тыс. рублей; но рубль 60-х годов был *втрое* больше по своей покупной силе рубля 90-х годов: в переводе на современ-

[1] «Труды В.Э.О.», XXVI, стр. 8—9 и 80; XXIII, 274—275; II, 205—207, XI, 117, XII 113—114; VII, 78—79 и 107; XIII, 40.

[2] *Туган-Барановский*, цитиров. сочин., стр. 54.

ные деньги вторая цифра дает даже больше первой—от 13 до 14 млн. рублей. А весь вывоз 1769 г. составлял всего 14 866 тыс. рублей тогдашних—около 100 млн. теперешних золотых[1].

Мы употребили выражение «домашняя индустрия» несколько в фигуральном смысле. У Болотова мы встречаем и настоящую «систему домашнего производства» с переходом даже к фабричной системе: крестьянки в окрестностях Серпухова брали пеньку и паклю с парусинной фабрики и пряли «в домах своих за заплату». Но и там, где лен покупался или раздавался помещиком, а потом холстина ему же отдавалась в виде оброка, разница с домашней промышленностью была больше юридическая, чем экономическая. Крестьянин эксплоатировался уже, как современный нам кустарь, только поле эксплоатации было сужено: экосплоататором являлся не экономически сильнейший, а тот, кто имел над крестьянином *власть* и мог его принудить отдать свой продукт внеэкономическим путем. С другой стороны, дворовые женщины и девушки, ткавшие в барской усадьбе полотна высших сортов, очевидно, были зародышем настоящей *мануфактуры*, отличавшейся от западноевропейской опять-таки только юридическим положением работника. То, что Петр напрасно старался вызвать к жизни, уничтожая конкурировавшего с мануфактурой кустаря чуть не при помощи осадного положения, теперь росло само собою из того же самого крепостного кустарничества. Наглядную схему превращения маленького домашнего заведения в небольшую фабричку дает современник Швиткова и его соперник по соисканию премии от Вольного экономического общества, орловский помещик Погодин. Он советует своим собратьям заводить на первое время «таковые рукомесла, фабрики, заводы и прочие работы—самые небольшие» и рисует такую примерную картину: «Помещик, имеющий сто душ ревижских, может завести фабрику на первый случай не более 5 или 6 станов и бичевую прядильню, и как уже не безызвестно всякому (!), что *на сих обеих работах могут заниматься от 10-и до 15-летнего возраста крестьянские дети обоего пола*, под надзором совершенного возраста людей, и которые к тяжелой полевой работе не так еще привыкли и

[1] *В. И. Семевский*, считает русский рубль 1760-х годов лишь в *четыре* раза больше теперешнего (или, вернее, рубля 1880 г.). А так как несомненно, что за царствование Екатерины II цена медного или ассигнационного рубля упала *втрое*, то рубль 90-х гг. оказывается равным 1 р. 30 к. в переводе на цены времени Александра III. Мы считаем оценку слишком низкой уже по одному тому, что около 1750 г. рубль Елизаветы Петровны был не меньше, как в 8 раз крупнее рубля 1880 г. Между тем, никакой катастрофы, которая бы уронила рубль за 10—15 лет вдвое, экономическая история этих лет не знает. Сравнивая цены на *рожь* по данным анкеты В. Э. О. (таблицу см. ниже) с ценами ржи 1890-х годов, мы получили отношение 7 : 1, которым и пользуемся. Цифры вывоза см. у *Шторха*, доп. том, стр. 34—38.

способны и по большей части больше бывают праздны...»[1]. Подозревавшийся историками в наклонности к натуральному хозяйству, помещик начала XIX в., как видим, не хуже своего современника, английского капиталиста, умел понять, как выгодно эксплоатировать детский труд. Мало того— он постигал уже, что одним «внеэкономическим принуждением» в этом случие не обойдешься, и предлагал назначить маленьким работникам *денежную плату*, настолько, впрочем, безобидную для помещика, что последний при этом получал «втрое или вчетверо» более, нежели от оброка, т. е. от отхожих промыслов своих крестьян. В 1809 г., нужно прибавить, Погодин вряд ли кому говорил что-нибудь новое. Рядом с ним Швитков ссылается на помещичьи фабрики, как на нечто прочно укоренившееся, и нужно посмотреть, с каким торжеством он о них говорит. «По поместьям и действительно есть многие таковые заведения, и существуют уже несколько лет, не приходя нимало в упадок, *между тем как по городам на нашей уже памяти скоропостижно возникшие разного рода фабрики и заводы, существовавшие весьма краткое время, скоропостижно упали.* Суконные и другие фабрики князя Юсупова, состоящие в его поместьях, как известнейшие всему обществу, могут служить ближайшим всему сказанному в сей статье примером. Подрядчики и самые казенные места по близости тех заводов и фабрик состоящие, с какою выгодою получают от них изделия их, то докажут всегда они сами» Что после известного нам указа 1762 г., запретившего покупать деревни к фабрикам, не-дворянам было трудно основывать новые промышленные предприятия, и крупная индустрия в силу вещей стала дворянским делом, об этом еще за 10 лет до Швиткова, как о деле общеизвестном, писал Шторх. Но закон шел в направлении экономической эволюции, а не против нее. Избыточное население давало готовый контингент фабричных работников именно в руки владельцев крепостных имений, и они воспользовались этим своим преимуществом еще раньше закона 1762 г., который только убрал с поля последних их конкурентов. Уже в комиссии 1767 г., когда влияние изданного всего за пять лет закона не могло быть очень ощутительно, кн. Щербатов заявлял с гордостью, еще большей, чем какой проникнуты только-что цитированные нами строки позднейшего помещика: «...Дворяне, заводя фабрики, весьма умножили разные рукомесла и трудолюбие и подали способ государству довольствоваться теми вещами своими, которые оно прежде от чужестранных народов получало. И оставя прочие токмо о двух родах упомяну, т. е. о суконных и полотняных, которых, не взирая на великие побуждения государя императора Петра Великого по 1742 г. было суконных фабрик только 16; с вышеозначенного года, когда дворяне зачали в оные вступать, до-

[1] «Труды», LXII, стр. 179—180.

ныне еще их 60 прибавилось, и чрез такое прибавление Россия стала в состоянии армию свою собственными своими сукнами довольствовать: полотняных же, которых было по вышеозначенный год только 20, а того году еще 68 прибавилось»[1]. Как быстро пошла новая, дворянская фабрика—в противоположность туго росшей купеческой, покажут следующие данные: в 1762 г. фабрик, не считая горных заводов, в России было 984; в 1796 г.—3 161; уже в 1773 г. их общее производство выражалось суммой 3 548 тыс. руб. (около 21—22 млн. р. з.), в том числе сукна на 1 178 тыс. р., полотна на 777 тыс. р., шелковых материй на 461 тыс. р., бумаги на 101 тыс. р. и т. д.[2].

Оброчный крестьянин, выгнанный своим барином на заработки в город, крепостной кустарь, рабочий на крепостной фабрике —таковы прослеженные нами три ступени все возрастающей эксплоатации избыточного населения крепостных имений, не находившего себе работы у земли. Читатель с удивлением спросит: разве эта последняя так хорошо обрабатывалась уже, что дальше некуда было итти, и более интенсивной системы хозяйства, которая потребовала бы новых затрат труда, завести уж было нельзя? Напротив, и в земледелии интенсификация вполне была возможна—и последние десятилетия XVIII в. были свидетелями чрезвычайных успехов крепостного хозяйства в этом отношении,—но и логически, и хронологически интенсивное барщинное земледелие пришло у нас позже крепостной индустрии. Хлеб как товар становится очень выгоден с 80—90-х годов: промышленные предприятия давали раньше барыши, с которыми не могло сравниться никакое сельское хозяйство. Две статьи «Наказа управителю», составленного известным тогда агрономом Вольфом около 1769 г., лучше длинных рассуждений покажут нам, как стояло тут дело, и вместе напомнят об одной отрасли промышленности, до которой куда как далеко было и сукну, и полотну. § 1 VII главы этого Наказа гласит: «Управителю должно всегда наведываться о цене хлеба, дабы оный продать в настоящее время». А § 2: «*ежели есть винокурни, то должен он употреблять хлеб на курение вина* для того, что через сие получить двойную прибыль, а именно: корм скотины для навоза; во-вторых, изойдет меньше на провоз потому, что одна лошадь свезет в город настолько вина, насколько шесть лошадей хлеба». Шторх прибавляет к этому еще один расчет, вполне убеждающий, насколько прав был по своему времени Вольф. Для одного боченка вина мерою в 12 ведер нужно по меньшей мере две четверти ржи, говорит он. Цена этого количества хлеба по средним ценам 90-х годов

[1] Из возражения, поданного в комиссию 1767 г. на «голос» одного купеческого депутата, требовавшего исключительного права для купечества владеть фабриками. Сочин., I, стр. 125.

[2] *Туган-Барановский*, назв. сочин., стр. 45.

(когда писал Шторх) около 9 рублей: а за выкуренную из него водку правительство платит от 15 до 18 рублей; чистый барыш помещика мог доходить,таким образом,до 100%: а расход главный был на дрова, которые по большей части были свои, некупленные. Немудрено, что практичные остзейские дворяне (Вольф как-раз принадлежал к их числу) перекуривали в водку весь свой хлеб,—и Лифляндия, в шведские времена «житница севера»[1], при Екатерине II не вывозила ни пуда хлеба, а даже ввозила его для надобностей своих винокуренных заводов. В 1773 г. правительством было куплено у помещиков 2 103 тыс. ведер на сумму около 3—3½ млн. рублей тогдашних (около 20 тепер. зол.);одни винокуренные заводы «вырабатывали» столько, сколько вся остальная индустрия, вместе взятая.Остается прибавить, что казна уже совершенно без всяких предприятий получала на водке еще более крупные барыши, продавая откупщикам за 4 рубля ведро, которое самой казне обходилось не дороже 1 р. 80 коп. Причем и откупщики не оставались в обиде: в списке тогдашних русских богачей, по случайному поводу приводимом Щербатовым, они занимают первое место[2]. С ними могли конкурировать только *горнозаводчики*. По словам Шторха, они пользовались в России екатерининских времен такими привилегиями, как, вероятно, нигде и никогда в мире. Он приводит образчики льгот, дарованных им законом: уже этот перечень достаточно выразителен. Кн. Щербатов иллюстрирует ту же мысль бытовыми наблюдениями, по своему обычаю—и картина получается еще более эффектная. На основании очень надежного источника—торговых книг, которые ему пришлось просматривать, так сказать, по обязанности службы,—он рассказывает, что пуд *меди*, например, обходился заводчику с доставкой до Екатеринбурга от полутора рублей до 1. р. 70 коп. По словесным показаниям заводчика Твердышева ,дороже 2р.25 коп. он *никогда* не стоил: а казна принимала медь в Екатеринбурге, для надобностей монетного двора, по 5 р. 50 коп. за пуд. Немудрено, что дела предпринимателей шли прекрасно. «По тем же книгам Твердышева я видел,—рассказывает Щербатов,—что, помнится, в 1756 г. при начале их заводов было на них долгу до 500 тыс. руб. а в 1784 г., когда Иван Борисыч Твердышев умер, уже были заводы заведены, восемь тысяч душ куплено, и до двух миллионов с половиною чистого капитала было»[3].

Большинству железозаводчиков не приходилось и покупать «душ». Почти все дворяне, или из старинных одворянившихся купеческих фамилий (в роде Демидовых), они вели работу собственными крепостными, которых у Строгановых, например, по

[1] См. «Русская история», т. II. стр. 623 и сл.

[2] «Труды», XII, 27; *Storch*, op. cit., III, 266 и сл.; *Щербатов*, т. I.

[3] «О состоянии России в рассуждении денег и хлеба». Сочин.,I, стр. 703.

четвертой ревизии было 83 453 души. Несвободный труд настолько преобладал в горном деле, что, по словам Шторха, свободные рабочие составляли здесь ничтожное исключение, и если бы горное дело вынуждено было довольствоваться ими, почти все заводы пришлось бы закрыть. Так как правительство не могло же хладнокровно отнестись к подобному бедствию, то тем предпринимателям, которые не имели своих крепостных, рабочих давала казна. По обе стороны Уральского хребта целые волости черносошных государственных крестьян «приписывались» к горным заводам, где они должны были «отрабатывать» свою подушную подать. По смыслу закона они несли на себе лишь разные вспомогательные работы—рубку и подвоз дров, вывоз металла и т. п., причем, как только труд их по казенной оценке достигал нормы подушной подати, их обязанности по отношению к заводчику прекращались. На деле их зависимость от заводской администрации была почти так же велика, как крепостных, и заводовладельцы эксплоатировали их, как находили для себя выгоднее [1]. Так на рабском труде воздвигалась еще одна отрасль индустрии, имевшая не только общерусское, но и громадное *международное значение*. Читатель, вероятно, очень удивится, когда узнает, что *железо составляло одну из главнейших статей русского экспорта во второй половине XVIII в.* Впереди железа как вывозной товар шла только пенька: все остальное, не говоря уже о холсте и полотне, даже лес, продукты скотоводства и хлеб, стояло далеко ниже. Средний вывоз железа за границу в 1767—1769 гг. составлял 1 951 464 пуда: в 1793—1795—2 965 724 пуда. По ценности железа вывозилось в 90-х годах ежегодно с небольшим на 5 млн. рублей (11—12 млн. рублей теперешних), около одной восьмой всей суммы русского вывоза, где лен и пенька составляли почти 33%. Особенно ценилось «сибирское» или, как оно еще называлось, «соболиное» железо—клейменное сибирским гербом, двумя стоящими на задних лапах соболями. Оно шло из классического района уральского горнозаводства—из рудников на восточном склоне Уральского хребта. Англичане предпочитали его шведскому железу и охотно, по словам современников, перенесли бы все свои заказы из Швеции на Урал, если бы русские заводы сумели приспособиться к английским потребностям. Но, обеспеченные своими привилегиями, Демидовы и Строгановы мало интересовались новыми заказчиками, а крепостная администрация их заводов, где иногда предприятием с сотнями тысяч рабочих ворочал один полуграмотный приказчик, была, конечно, во всех отношениях слишком далека от европейского рынка с его требованиями. Русские заводы продолжали изготовлять товар по раз установившимся образцам, и качество ме-

[1] Подробнее об их положении см. ниже, в след. отделе настоящей главы.

талла было так высоко, что он все же находил себе покупателей на Западе[1].

На помещичьих винокурнях и уральской железопромышленности мы можем снова наблюдать влияние тех двух факторов, которые создавали концентрацию капиталов в послепетровской как в и допетровской России: монополий, с одной стороны, заграничного спроса— с другой. Дворянский капитализм времен Екатерины II ничем не отличался в этом случае от буржуазного капитализма последних дней Московской Руси. И уральские заводчики фактически были монополистами: когда в 1782 г. всем было разрешено свободно искать и добывать руду, это не вызвало к жизни ни одного нового завода—до такой степени несокрушимой казалась всем конкуренция уральских магнатов. Когда появились у нас первые зачатки *аграрного капитализма*, он не ушел из-под влияния общего закона.

Говоря теперь о сельскохозяйственном предпринимательстве в России, мы думаем о хлебе и о том, что связано с производством хлеба,—от засеянного пшеницею поля до молотилки, мельницы и элеватора. А когда говорили о нем полтораста лет назад, говорящему представлялась *пенька*. «Которого из наших земных продуктов излишнее размножение нимало неопасно и, следовательно, заслуживает преимущественное поощрение?— спрашивал в 1765 г. инициатор знакомой нам анкеты Вольного экономического общества, Т. Клингштет.—Ежели отвечать на сей вопрос в расуждении важности и множества выпускаемого ныне из России продукта, то всякому чаятельно в голову придет назвать *пеньку*, ибо всем известно, что сей продукт имеет преимущество в цене и количестве перед всеми прочими, которых Россия от своего натурального избытка ежегодно уделяет чужестранцам: но не упоминая о том, что уже выше сказано о пеньке, *тщетный труд был бы выхвалять, яко новость, прибыли уже и без того всем известные*»[2]. Тщетность всяких панегириков конопле арифметически доказывает знакомый уже нам орловский помещик Погодин, приложивший к своему проекту подробный расчет, что давала каждая десятина под тем или другим растением (цены 1809 г.). В то время как десятина ржи давала всего 14 р. 40 коп. дохода, овса—16 р. 50 коп. и даже пшеницы—только 54 рубля, десятина конопляника приносила 83 рубля доходу. Пенька была главной статьей русского экспорта в XVIII в., притом вместе со льном она далеко оставляла за собою все другие предметы вывоза. По расчетам Шторха, Россия вывозила в среднем пеньки:

в 1758—62 гг.	ежегодно	2 214 956	пудов.
» 1763—67 »	»	2 490 588	»
» 1793—95 »	»	3 062 387	»

[1] Для *железа* см. *Шторха*, назв. сочин., II, стр. 512 и сл.; т. VIII, стр. 143—148.

[2] «Труды», стр. 166.

По стоимости вывоз пеньки составлял в 1769 г. 2 795 тыс. р. (18 млн. руб. на тепер. зол. деньги), а льна и пеньки вместе 4 478 тыс. р. (около 29 млн. теперешних). Любая картинка, изображающая корабль XVIII в., объяснит нам странное для современного взгляда преобладание этого товара: пенька—это паруса и канаты, это каменный уголь торгового, как и военного флота времен Семилетней войны. Очень характерно в связи с этим, что англичане искали на русском рынке всегда первого сорта пеньки, а французы—всегда второго и третьего. Повторяем, уже в 60-х годах восемнадцатого столетия приходилось не толковать русскому помещику о выгодах конопляников, а, напротив, держать его, что называется, за фалды. «Известно, что никакой продукт не истощает столь много силы из земли, как пенька», предостерегает в цитированной нами статье Клингштет. Но из этого следовало только, что землю под коноплею нужно удобрять сильнее, чем под хлеб,—другими словами, что разведение пеньки являлось более *интенсивной культурой*, чем хлебопашество. Погодин и изображает это весьма ясно: «десятина конопляника больше всякого хлеба приносит дохода и составляет по здешним местам наилучший продукт,—говорит он,—а потому всякий владелец согласился бы засевать свою землю больше коноплею, нежели прочим хлебом; но сего сделать потому нельзя, что от 50 тягол при посредственном скотоводстве больше нельзя удабривать земли, как 8 десятин, а сверх того и работы за оною больше, нежели за прочим хлебом»[1]. Оттого в большей части средней России по анкете Вольн. экон. общества крестьяне сеяли коноплю в ничтожном количестве—лишь для собственного потребления. Только на нетронутых целинах юга поставщиком пеньки на рынок могло явиться крестьянское хозяйство; во всех других местах таким поставщиком мог быть только помещик, способный собрать на свои конопляники удобрение с целой деревни,—способный благодаря своей монополии, называвшейся крепостным правом. А побуждение пустить эту монополию в ход именно в этом направлении давал опять-таки европейский рынок.

В русском *хлебе* этот рынок пока нуждался еще гораздо менее: в списке русских вывозных товаров хлеб стоит на шестом месте, ниже не только пеньки, льна и железа, но ниже продуктов скотоводства (сала) и даже холста. Холста в 90-х годах вывозилось на четыре с лишком миллиона рублей, а хлеба меньше, чем на три. Это объясняется, однакоже, вовсе не тем, чтобы русский хлеб меньше ценили на Западе, нежели русскую пеньку или русское железо,—напротив, хорошо просушенное русское зерно предпочитали всякому другому. Хлебный экспорт задерживался чисто-географическими причинами. До второй половины царствования Екатерины II у России были порты

[1] «Труды», LXII, стр. 168—169.

только на Балтийском и Белом морях. Но ближайшие к этим морям губернии производили главным образом серые хлеба, а Европа спрашивала преимущественно пшеницу. «Большая часть жителей полуденных европейских земель пшеницею питаются,— писал в 1765 г. пропагандист русского хлебного экспорта, Клингштет,—и понеже многие из сих государств гораздо меньше у себя имеют хлеба, нежели к содержанию их жителей потребно, то цена пшеницы (выше?) прочих родов хлеба, и сей продукт должен быть сочтен продажным во всякое время товаром». Но сеять пшеницу на суглинке было хлопотливым и рискованным делом, особенно когда рожь можно было с такою выгодой перекурить в спирт[1]. Великолепные урожаи давала пшеница в южных пристепных уездах, но ее сеяли здесь мало—«столько, сколько кому по его семейству на пропитание до новой жатвы стать может». Корреспондент Вольного экономического общества по слободской украинской провинции (нынешней Харьковской губернии) тут же чрезвычайно убедительно и объясняет, «для чего земледельцы не прилежат к размножению сего, равно как и прочего хлеба». Никакой иной причины им «не предвидится, кроме того, что они не имеют способа, куда оной с прибылью отпускать, *потому что в близости сих стран никакого порта нет*». Так, накануне первой турецкой войны Екатерины II скромный захолустный обыватель дал философию всех русско-турецких войн XVIII в. Вопрос о том, как сделать русский хлеб таким же отпускным товаром, как пенька, давно был поставлен, и не только в ученых обществах,—что показывает напечатанная в первом же томе знакомых нам «Трудов» записка Клингштета,—но и в официальных сферах, как мы знаем из еще более ранней записки Волкова, будущего кабинет-секретаря Петра III и автора манифеста о вольности дворянства. Рассуждая о том, какими мерами вернуть России серебро, выкаченное из России благодаря нелепому ее участию в Семилетней войне, Волков писал, приблизительно за год до смерти Елизаветы Петровны: «хлебом торг производит Рига и великую полякам прибыль делает: то мне кажется стыдно толь изобильной России в сем торгу ничего не участвовать и весь свой хлеб на одном вине прошивать». «*Хлебный здешнему государству торг натуральнее всех*. Подлинно бывшими и часто без нужды запрещениями (вывоза хлеба) заставили мы многих (иностранцев) прилежать к земледелию и убавили расходы на наш хлеб. Но... если бы паче чаяния и ожидания надлежало войну еще несколько лет продолжать, то в государстве серебряного рубля не осталось бы»[2]. Но против

[1] Тем не менее, даже в Вологодской провинции сеяли в 60-х г. пшеницы $^1/_3$ или по крайней мере $^1/_4$ сравнительно с рожью—и не только для домашнего потребления, но и для продажи, но лишь на местном рынке. См. «Труды», XXIII, стр. 225—226 и 252.

[2] «Архив, кн. Воронцова», т. XXIV, стр. 118 и 123.

экономики, гнавшей хлеб на винокуренные заводы, никакая политика ничего не могла поделать: и скоро та самая Лифляндия, на которую с одобрением ссылался Волков, как на хороший пример, перестала вывозить хотя бы пуд хлеба, весь выкуривая на вино. Положить в основу русского торгового баланса хлебный вывоз можно было, только отворив пшеничной России ворота на Черном море. Это и сделал Кучук-Кайнарджийский мир, и его экономические результаты были немедленно же по горячим следам учтены теми, кто пристальнее всех следил за русской торговлей. «Я посвящу эту депешу разбору дела, которое может оказать весьма важное влияние на интересы этой страны в торговом отношении,—писал английский министр иностранных дел посланнику Георга III в Петербурге 14 февраля 1775 г.:—я разумею плавание по турецким морям, по смыслу последнего мира уступленное России в самых широких размерах. Если взглянуть на карту, очевидно, что держава эта может извлечь много торговых выгод из последних своих приобретений на Черном море и свободного прохода по Дарданельскому проливу, предоставленного ее купеческим кораблям... *Один только зерновой хлеб, выставляемый в огромном количестве губерниями, прилегающими к Черному морю, займет значительное число кораблей*, составляя предмет, который всего менее помешает торговле русских северных портов». Английский дипломат выводил отсюда, конечно, что и англичанам «положительно необходимо иметь свободное плавание к русским портам на Черном море и обратно». Турецкие войны и позже, как известно, гораздо больше помогли развитию на Черном море какого угодно судоходства, только не русского. Но на своих или чужих кораблях русский хлеб должен был массой пойти по новой дороге на Запад. Проницательный англичанин только несколько предупредил события: новая дорога наладилась не сразу. Но к концу царствования Екатерины его предсказание можно было считать достаточно оправдавшимся: в 1793 г. уже пятая часть русского хлебного вывоза шла через Таганрог, Херсон и Феодосию, а пшеница в этом вывозе по ценности составляла почти половину[1].

Из этого, конечно, вовсе не следовало, что превращения хлеба в товар дожидались так же долго. Если уже в XVI в. у нас существовал *внутренний хлебный рынок*, то во второй половине XVIII в. не могло быть иначе. Уже в самом начале царствования Екатерины II мы встречаем в Нижнем-Новгороде

---

[1] Вот несколько цифр, иллюстрирующих развитие русской торговли на Черном море в связи с турецкими войнами; русский вывоз через Черноморские порты:

1764 г.	59 097 р.
1776 »	369 823 р.
1793 »	1 295 563 р.

купеческую «компанию»—товарищество на паях, одно из первых в России, которая торговала главным образом хлебом, и первоначально даже так и предполагалось назвать ее в уставе: «хлебная кампания». Хлебный рынок создавался автоматически, благодаря той передвижке избыточного населения, о которой мы говорили в начале главы. Подвоз хлеба в центральные области был необходимостью уже в 60—70-х гг. «Об *Московской губернии* особливо должно сказать,—говорит Щербатов,—что в оной не токмо ее жители истребляют хлеб, но также множество приходящих из всех городов, да и самые жители, находя себе удобные промыслы, довольно не прилежат к земледелию: *а потому коль обильную жатву поля ни представляли бы, но никогда она пропитаться сама собою не может*, а должна от всего государства заимствовать свое пропитание»[1]. Этими словами Щербатов опровергает, между прочим, собственное свое показание относительного слабого развития хлебной торговли в современной ему России: благодаря размерам империи издержки перевозки будто бы съедали все барыши. Наблюдения помещика центральной России курьезным образом перепутались у него с наблюдениями петербургского обывателя. Петербург, действительно, пока не были окончательно готовы водные пути, связывавшие его с верхним Поволжьем (главным образом Вышневолоцкий канал), часто получал хлеб за более дешевую цену из Польши, через Ригу, нежели из Рязанской или Казанской губернии. Но самое прорытие каналов, при тогдашней технике более трудное, чем теперь, достаточно свидетельствует о громадном напоре черноземного хлеба к северу. Вышневолоцкий канал начали еще при Петре I, но практическое значение эта «в высшей степени искусственная система сообщения, на которой главным образом основана балтийская торговля и снабжение Петербурга» (Шторх), получила лишь при Екатерине II, а вполне закончена она была даже лишь в XIX в. (в 1802 г). Задолго до этого времени в Петербурге выражали уже опасение, что максимальная пропускная способность Вышневолоцкого канала—4 тыс. барок в год—скоро окажется ниже потребностей петербургского рынка. Это опасение дало толчок к постройке новых каналов, связывавших Неву с верхней Волгой,—Тихвинского и Мариинского, оконченного при Павле. Действительно, Вышневолоцкий канал, пропустивший снизу 2 914 барок в 1787 г., уже достиг своего максимума к 1791 г., когда через него прошло 4 025 барок. *Речное судостроение* к этому времени сделалось настолько важным промыслом, что один помещик начала XIX в. называет деревни, расположенные близ судоходных рек и имеющие строевой лес, «превосходнейшими». Такие деревни, по его словам, даже если у них вовсе не было пахотной земли, могли давать владельцу не меньше доходу, чем имения «с обширными

[1] Сочинения, т. I, стр. 652.

для хлебопашества землями», притом без всякого отягощения крестьян[1]. Постройка барок общественным мнением тех дней рассматривалась, как чрезвычайно серьезная угроза русским лесам, а что это не было предрассудком, доказывает быстрый рост цен на речные суда: в 1764 г. в Рыбинске барка стоила от 16 до 30 рублей, в 1797 г. от 120 до 350 р. (т. е., приводя к рублю 60-х годов, от 40 до 120,—цена поднялась от 2½ до 3 раз).

Мы имеем косвенное, но довольно убедительное доказательство того, что всероссийская торговля хлебом была во второй половине XVIII в. распространена значительно более, нежели некоторые исследователи принимают даже для первой половины XIX. В неоднократно упоминавшейся нами анкете Вольного экономического общества были вопросы и о *хлебных ценах*. Сводя получившиеся на этот вопрос ответы, мы получаем следующую таблицу:

Провинции:	Цены за четверть (в копейках) ржи	овса	пшеницы
Вологодская	100	50	160
Каширская	80—90	50—60	150—160
Оренбургская	50—60	30—40	70—80
Владимирская { в дер. осенью	90	50	180
Владимирская { в гор. зимою	160	95	230
Калужская	60—100	50—60	180
Рязанская	64—72	48—56	120—160
Переясл.-Залесская { minimum	100	56	210
Переясл.-Залесская { maxim. (недород)	150	85	250 (и выше)
Ингерманландская	200	?	300
Кашинский у. { осенние ц.	160	60—70	240
Кашинский у. { весенние ц.	200—220	100—120	300—340
Слободская украинская	50	25	60
Изюмская	70	40	130
Ахтырская	60	40	120
Острогожская	60—70	30—40	?
Сумская	90	40	120

Рассматривая эту таблицу, мы сразу замечаем два географических полюса: Петербург (Ингерманландская губ.), с ценами резко выше средних, и степные провинции юга и юго-востока, лишенные всякого сбыта за отсутствием речных путей, с ценами значительно ниже их. О южных степных уездах до первой турецкой войны (а наши цифры относятся именно к этому времени) в этом отношении уже говорилось выше. Об Оренбургской губ. тамошний коорреспондент общества, очень известный в те времена агроном Рычков, писал, что «водяной коммуникации из уездов к Оренбургу ни отколе нет», а провоз гужом обходится от 30 до 40 коп. за четверть, т. е. даже для пшеницы составляет 50% цены самого хлеба, а для овса все 100 %. Но даже и здесь производтсво хлеба на вывоз уже налаживалось,— ниже мы увидим один чрезвычайно резкий признак этого. Как

[1] «Труды», XLII, стр. 214, и сл.—ср. 203—206.

бы то ни было, если брать одно только настоящее для шестидесятых годов, а не будущее хотя бы ближайшее, мы увидим, что *цены на хлеб*, за исключением столиц, с одной стороны, окраин, отрезанных от остальной России,—с другой, *отличаются поразительной ровностью*: и в Вологде, и в Калуге, и в Кашире, и во Владимире, даже в Рязани цены были приблизительно те же, с колебаниями не больше 12—15%. Только живой обмен хлебом во всей этой полосе мог установить такие однообразные цены. И действительно, за единичными исключениями опять-таки в окраинных провинциях, анкета всюду изображает нам продажу хлеба,как общераспространенное явление. Наиболее «капиталистическими» из охваченных анкетой местностей были Кашинский уезд, несмотря на свое неплодородие, отправлявший хлеб водою в Петербург, и Вологодская провинция, посылавшая его даже через Архангельск за границу. Здесь не только хлеб, но и сено «всегда продавалось». Ближе всего к натуральному хозяйству была Калужская провинция. «Хлеба во время и великого урожая, по малоимению у владельцев земель, излишнего от своего употребления в остатке бывает весьма мало,—писал корреспондент последней.—В отпуск в другие места оного никогда не бывает»: покупали хлеб будто бы только купцы местных уездных городов, да помещики, у которых хлеб не уродился. Единственными продуктами земледелия, шедшими за пределы провинции, были, по его словам, конопля, пенька и конопляное масло: он дает их цены у Гжатской пристани. Двадцать лет спустя Щербатов, который в своих экономических показаниях всегда скорее отставал от своего времени, чем опережал его, дает, однакоже, цены *ржи* именно для этой самой Гжатской пристани. Да и сам корреспондент в другом месте проговаривается, что «земледелец» возит хлеб на продажу в уездный город не только в случае исключительного урожая, но и «в обыкновенный год», и цены дает для этого «обыкновенного года». А сходство этих цен с ценами соседних губерний ясно показывает, что уездные купцы, дальше которых не видел калужский помещик, едва ли сами ели купленный ими у «земледельца» хлеб. Вопреки его неоднократному утверждению, «отпуск», таким образом, и из Калужской провинции несомненно был. Каширский уезд в отношении сельскохозяйственной культуры был весьма отсталой частью России. Болотов рисует нам чрезвычайно яркую картину почти средневековых отношений. Мы ее ближе коснемся далее. Тем не менее, и здесь торговля хлебом была вполне налажена. Только «скудные и бедные люди» продавали свой урожай на месте «Имеющие же довольно лошадей» возили уже в уездный город, «где они за хлеб свой лучшую цену получают». А помещики посылали его в Москву «сухим путем», несмотря на то, что Кашира связана непрерывной водяной дорогой с Москвою. Барка, как мы видели, все же стоила денег, а крепостной мужик обязан был возить барский хлеб даром,

на своей лошади и своей телеге. В Рязанской провинции помещики, повидимому, никогда не продавали хлеба на месте, а весь отправляли в Москву и другие города, опять-таки сухим путем. Только более емкая мука шла до Москвы на барках и стругах, притом ею торговали уже не помещики, а по большей части купцы. «Провоз сухим путем на четверть подлинно положить невозможно, потому что всяк возит на своих лошадях и своими работниками; но провоз от места до Москвы на четверть становится по двадцати копеек». Так как четверть пшеницы на месте стоила не меньше 1 р. 20 к., а ржи—не меньше 60 к., то доставка хлеба на рынок давала в первом случае накладной расход в 16—17%, во втором—до 33%[1].

Ровные *географические* хлебные цены зато тогда, как и теперь, обнаруживали резкие хронологические колебания: по сезонам, во-первых, в зависимости от урожайного или неурожайного года—во-вторых. Кашинский корреспондент, потому ли, что он сам был толковее других, оттого ли, что Кашинский уезд был более затронут рассматриваемым нами экономическим процессом, дает наиболее полное объяснение колебаниям первого рода. Он говорит, приведя обычную цену хлеба на месте: «Вышеописанная цена обыкновенно бывает вскоре по убрании с полей хлеба, *уменьшается против весенней цены по причине сбору подушных и оброчных денег*; но *весною*, когда крестьянин небольшое количество родившегося хлеба съест, оставя малую часть для посева, *цена возвышается*». Трудно себе представить более «современную» картину: Тверская губерния уже при Екатерине жила так же, как все русское крестьянство при Александре III и позднее, только название податей изменилось, да вместо того, чтобы отдавать их в разные руки—то помещику непосредственно, то в казну,—они целиком стали отдаваться последней, чтобы потом, в образе ли государева жалованья или под видом займа из дворянского банка, попасть все в тот же помещичий карман. Денежный *помещичий оброк* был сильнейшим стимулом превращения крестьянского хозяйства в денежное, а в нечерноземной полосе в екатерининское время на оброке было 55% всех крестьян[2]. В связи же *с казенными податями* корреспонденты Вольного экономического общества особенно часто упоминают *продажу скота*: продавать лишний, а в случае крайности, и не лишний, скот на уплату подушных было, повидимому, чрезвычайно широко распространенным обычаем. Всего более развита была торговля скотом опять-таки в нынешней Тверской губернии. «Здешний народ,—говорит кашинский корреспондент,—имея мало промыслов, первою в нужде подпорою почитает свой скот, который, хотя бы последний был у него, ведет со

[1] О внутренней торговле (вопросы 31—35 и 53 анкеты) см. «Труды», II, стр. 185—186; VII, стр. 73 и сл., 158—159; VIII, стр. 149 и 201; XI, стр. 102—103; XXIII, стр. 251—252 и 255; XXVI, стр. 49—50 и 53.

[2] См. *В. И. Семевский*, «Крестьяне при Екатерине II», т. I, стр. 48.

двора на рынок *для заплаты подушных денег и прочих податей*». Но от чего разорялись бедняки, на том более состоятельная часть крестьянства еще наживалась: «семьянистые и домовитые крестьяне, содержа больше скотины, не только оную продают, но, скупая у других, оною еще переторговывают; иные по первому пути тушами возят в Петербург или купцам, торгующим мясами, из барышей перепродают. Таковые, не имея довольного числа для скотины корму своего, нанимают луга для сенокоса, или пашню для хлеба, дабы излишнее число тем прокормить». Зачатки *классов и классовой борьбы* мы встречаем по данным анкеты не в одном Кашинском уезде. Автор «экономических ответов» из южной части нынешней Олонецкой губернии рассказывает следующее: «Имеющий достаток почти за весь погост платит деньги в нужном случае, а именно, когда должно платить подушные деньги, или употреблять на домашние нужды и на складчину во время рекрутского набора. Но за такое свое благодеяние берет он чрезвычайные проценты, на которые склоняет его староста: и таким образом бедные крестьяне не только не могут исправиться, но еще приходят через то в большее разорение»[1]. Чем не 1880-е годы? А это писано за сто лет до споров о том: есть в России, и в частности в русской деревне, почва для классовой борьбы или нас господь бог уберег от этой напасти. О податях как стимуле для «торгового скотоводства» упоминают и вологодский кореспондент («мясо... редко в году потребляют в пищу, ибо от скота что сберегут, то продают на соль себе и в подати»), и сумской, и Болотов из своего средневекового Каширского уезда («во время нужного случая, а *особливо при платеже подушных денег* первое свое прибежище к сей продаже—скота—принимает, и скудные часто до такой крайности доходят, что последнюю корову или овцу продают и платят подушные деньги, или *нужной себе хлеб покупают*». Последняя фраза Болотова рисует нам такую картину разложения натурального хозяйства даже в этом медвежьем углу, ярче которой трудно себе что-нибудь представить.

Но население росло быстрее, чем производство хлеба, и уже 80-е годы дают нам картину голода, напоминающую конец XIX столетия. «Московская, Калужская, Тульская, Рязанская, Белогородская, Тамбовская губернии и вся Малороссия претерпевают непомерный голод,—писал Щербатов в начале 1788 г.,—едят солому, мякину, листья, сено, лебеду, но и сего уже недостает; ибо, к несчастию, и лебеда не родилась, и оной четверть по четыре рубля покупают. Ко мне из Алексинской моей деревни привезли хлеб, испеченной из толченого сена, 2 из мякины и 3 из лебеды. Он в ужесть меня привел, ибо едва на четверть тут четверка овсяной муки положена. Но как я некоторым и сей

[1] «Труды», XIII, стр. 40—41.

показал, мне сказали, что еще хорош, а есть гораздо хуже»[1]. Цифры того же Щербатова показывают нам, каким темпом и до каких неслыханных прежде размеров поднимались хлебные цены. У Гжатской пристани, главного отпускного «порта» для восточной части Смоленской и западной—Московской губерний, а также для Калужской провинции, платили за *четверть ржи*:

в 1760 г.	— р. 86 к.
» 1763 »	— р 95 »
» 1773 »	2 р 19 »
» 1788 »	7 р — »

Даже приняв в расчет разницу в цене рубля (ассигнационного с семидесятых годов—причем к 1790 г. ассигнации упали почти на 20% сравнительно с серебром), мы получим увеличение цены за четверть столетия почти на 500%. Если когда-нибудь помещик хлебородной губернии мог колебаться, что выгоднее—завести ли у себя в имении суконную или полотняную фабрику, или же самое имение превратить в фабрику для производства хлеба, теперь этим сомнениям должен был наступить конец: при ценах 80-х годов,—а они держались и в 90-х, когда четверть хлеба стоила не дешевле 4 рублей,—хлеб становился не менее выгоден, чем всякий другой товар. В 60-х годах помещики еще не решили, что лучше—вести ли хозяйство самим или предоставить его крестьянам, превратившись в простых получателей ренты. С этим связаны известные эмансипаторские проекты 60-х годов, которым сочувствовала крупнейшая русская знать, заседавшая на первых местах в только-что основанном Вольном экономическом обществе. Под их влиянием, не без участия и разделявшей их взгляды императрицы Екатерины, Общество поставило «задачу»: «что полезнее для общества, чтобы крестьянин имел в собственности землю, или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то и другое имение простираться должны?» Премию—100 червонных и золотую медаль—получил Беарде-Делабэ, «доктор прав церковных и гражданских в Ахене». Две цитаты покажут, в каком направлении был дан ответ: § 9: «Человек, осужденный питатися в поте лица своего, без сомнения, должен трудиться: но бог, подвергая его сему труду, в то же время дал ему и право на ту самую землю, которую принужден он был обрабатывать»; §11: «Но узнав все прибытки, происходящие от собственности, крестьянам дозволенной, каким образом должно их до того доводить? *Как могут они владеть землею, будучи сами во власти у других?* Раб, сам в себе невластный, никогда не может иметь владения, как только мнимого: ибо *собственность не может быть без вольности*. Богатство, принадлежащее рабу, подобно брякушкам серебряным, у собаки на ошейнике висящим: все принадлежит господину. Излишне входить о сем в дальнейшие подробности: ясно, что преж-

[1] *Щербатов*, Сочинения, I, стр 684.

де, нежели дать рабу какое имение, надлежит необходимо сделать его свободным». Понятно, что попытка напечатать это произведение на русском языке произвела среди тогдашних помещиков впечатление настоящего скандала; даже в Обществе предложение не собрало сначала большинства. Но количество должно было уступить качеству: за напечатание высказались такие члены Общества, как гр. Орловы, гр. Чернышевы, Сиверс и др., а за ними, как всем было известно, стояла императрица. Трактат «доктора церковных и гражданских прав» был напечатан в русском переводе[1]. Дочитав его до конца, успокоились, вероятно, и наиболее ожесточенные его противники: Беарде практически не предлагал ничего такого, что шло бы вразрез с интересами владельцев *оброчных* деревень. Сущность его проекта сводилась к тому, чтобы, дав крестьянину юридическую свободу,—притом не сразу, а очень постепенно, следуя столь оригинально понятому Екатериною правилу Монтескье,—и небольшой участок земли, то и другое не даром, а за выкуп, увеличить этим производительность крестьянского труда, стало быть, и размер оброка. «Дайте собственность крестьянину; пускай бы он имел какое-нибудь имение: тогда можете вы без всякого страха препоручить ему управление своих доходов; вы не будете ничего опасаться в рассуждении цены, за какую вы оное ему уступите: небольшое его поместье, или, лучше сказать, охота, с которою он прилепится к новому своему имению, будет вам порукою во всем. Таким-то образом *богатые, способствуя благополучию крестьян, умножат собственное свое богатство, и доходы их тем надежнее будут*. Владельцы, познав истинные свои пользы, *препоручивши им свои земли и попечение о полученном с них доходе*, умножат тот самый доход...» Юридически-свободный крестьянин, фактически поставленный в необходимость арендовать барскую землю,—вот тип, весьма хорошо знакомый нам, тип, который в качестве идеала рекомендовал Беарде-Делабэ своим знатным читателям. И, предвидя возражение, что крестьянин не удовлетворится этою свободой, воспользовавшись ею просто для того, чтобы сбежать из имения, ученый доктор ссылается на пример Европы. «Нет, господа,—говорит он своим воображаемым возражателям,—никогда не вздумают они бежать. Воззрите на примеры всех благоустроенных в Европе народов; подражайте оным. Богатые, *не утруждая себя всегдашним надзиранием*, получают исправно и порядочно свои доходы. Удовольствие видеть следующую везде за вами собачку, которая вас любит и вас ласкает, может ли сравняемо быть с тягостным трудом водить медведя?» Все это звучало очень приятно для ушей сверстников жившего исключительно на денежные доходы «графа N.N.», пока оброки, т. е. отхожие промыслы,

[1] В VIII части «Трудов В.Э.О.», откуда мы и берем наши цитаты. Курсив, конечно, наш.

сулили по крайней мере не меньше, чем земледелие. Но когда хлеб вместо рубля за четверть стал давать четыре, находилось все больше и больше помещиков, легко соглашавшихся «водить медведя» (столь прибыльного!) и «утруждать себя всегдашним надзиранием». Сорок лет после Беарде то же Вольное экономическое общество премирует Швиткова, который о свободе рассуждал, как мы видели, совершенно иначе, нежели «доктор церковного и гражданского права», и категорически рекомендовал *барщинное* хозяйство перед оброчным. В добросовестность «ласковой собачки» Швитков решительно отказывается верить, и, даже допуская, что оброчный крестьянин от своего хозяйства будет иметь хороший доход, он сомневается, чтобы тот пожелал делиться этим доходом со своим барином. «Часто случается,—пишет он,—что при всем изобилии сельских произведений, которыми крестьяне могут наживать себе и деньги, в приобретении потребного оных количества для оброка могут они господ своих обманывать, *а количество их же трудами приобретаемых сельских произведений всегда может быть виднее*: то по сим причинам судя, я полагаю, что лучше обложить крестьян рабочею, нежели денежною повинностью... Мне кажется всегда лучше, чтобы помещики ссужали крестьян своих нужным количеством денег за их работу[1], нежели чтобы крестьяне промышляли деньги для помещиков. И сколь оно удобно, особливо в нынешние благословенные времена, когда и из благородного дворянства помещики имеют привилегию не только держать подряды и откупы, но и производить торговлю наравне с купечеством! Товар они имеют всегда готовый, т. е. сельские произведения, трудами поселян приобретаемые, которые во всяком, а особливо в известных местах платятся весьма дорого»[2].

Так, к концу XVIII в. «избыточное население», от которого за сорок лет раньше помещик не знал, как избавиться (при условии сохранения своего дохода, разумеется), становится необходимо нужно в самом имении, и помещик начинает находить, что у него не только нет «лишних» людей, а даже едва-едва хватает тех, которые есть. Мы напрасно стали бы искать каких-нибудь политических или, тем более, индивидуально-психологических причин тому, что эмансипаторские проекты Екатерины II увяли, не успев расцвести. Идею освобождения крестьян в XVIII в. убили хлебные цены. Дальнейшее повышение этих цен в половине XIX в. сделало снова всех умных помещиков эмансипаторами, а их падение сорок лет тому назад снова развило сильнейшие крепостнические тенденции в русском дворянстве. Что хозяйство, основанное на рабском труде, рано или поздно должно было очутиться в экономическом тупике, подобном

[1] Швитков имеет в виду уплату подушных за барщинных крестьян их господами.

[2] «Труды», ч. XII, стр. 113—115.

тому, в какой попала римская империя в первые века нашей эры—и из которого этой империи вовсе не удалось выйти,—это могли бы предсказать и современники Беарде-Делабэ. Но теоретические выкладки всего меньше могли иметь влияние на ход хозяйственного развития. Огромное вздорожание «сельских произведений» толкало к *интенсификации помещичьего хозяйства*, а это последнее в данный момент не могло обойтись без барщинного труда крестьян; интенсификация хозяйства должна была свестись к *интенсификации барщины*.

Эту последнюю можно уже заметить по анкете Вольного экономического общества, хотя анкета двадцатью годами предшествовала тому колоссальному подъему хлебных цен, какой отмечен Щербатовым. Наиболее типичные для середины столетия условия изображает, повидимому, Болотов, отвечая на вопросы анкеты по Каширскому уезду. Как мы уже упоминали, картина получается средневековая: чересполосица или, как он выражается, «разнобоярщина и черездесятинщина»; в связи с этим *принудительный севооборот*, плохое удобрение—потому что на дальние полосы иногда даже и не доберешься—и т. д., и т. д. Все эти отрицательные стороны средневекового экономического режима Болотов рисует чрезвычайно яркими красками: интенсификация хозяйства уж очень его озабочивает, а он вполне отчетливо сознает, какой вред для нее представляет, например, чересполосица. «Черездесятинщина препятствует земледельцу малою своею землею по своему хотению пользоваться и оную под такой хлеб или произрастание употреблять, и то на ней в разные года сеять, что бы он за лучшее признавал. Она отнимает у него руки и не допускает ни до каких предприятий...» Она связывала не только крестьянина, но и помещика: ибо и помещичья земля обыкновенно вперемежку с крестьянскою была «изрезана на мелкие полосы и по них разделена». Выделять помещичью землю к одному месту только еще «в иных местах начинали»: иными словами, особой барской запашки в Каширском уезде 1760-х годов, как правило, не было, а крестьянин пахал часть своих полос не на себя, а на господина. Это был большой архаизм: в хорошо устроенном имении даже сороковых годов барская пашня была уже выделена в самостоятельное целое[1]. Тем характернее, что *количество* пахавшихся крестьянами на барина полосок было не меньше, чем в правильно организованном имении 40-х годов: в Каширском уезде обыкновенно *половина* рабочей силы тратилась на барина (или один работник с полного тягла, т. е. один из двух, *постоянно* пахал на барина, или все тягло три дня в неделю работало на барина, три дня на себя), *а иногда и больше*. Между тем Татищев в 1742 г. считал трехдневную барщину *максимальной*. Определяя, как и Болотов,

[1] См. «Краткие экономические до деревни следующие записки», *Татищева*. «Временник» Общ. ист. и древн. росс., ч. XII, стр. 12—13.

размеры ее размерами земли, которую крестьянин пашет как на барина, так и на себя, Татищев говорит: «*в случае недостатка земли* помещику делить землю с крестьянами пополам (иначе барская пашня должна была составлять *меньшую* часть имения, а крестьянская *бо́льшую*)... а есть ли того не достанет крестьянам, то такие деревни должны быть на оброке необходимо». Сравнительно с картиной застоя, которую представлял собою Каширский уезд («ежели сказать об урожае хлеба, то в здешних местах хлебы за несколько уже лет хуже прежних родятся», нехотя признается Болотов), соседняя Рязанская провинция давала яркие признаки сельскохозяйственного прогресса: «здесь земледелие ни в которых местах в упадок против прежнего не пришло, но еще размножается,—писал рязанский корреспондент:—ибо всяк тщится во всяком довольствии себя видеть, к чему росчисти, а по способности и луга в высоких местах употребляют в пашню». Зато здесь и барская запашка, а стало быть, и барщинная повинность достигала размеров, не знакомых Кашире. Характерно уже то, что работу крестьянина на своем наделе рязанский корреспондент склонен рассматривать как исключение, а работу на барской пашне как правило. Присмотритесь к его манере выражаться: «Помещичьим крестьянам свободные дни даются на себя работать не равно, но по рассомтрению помещика: *и так у некоторых в неделе кроме праздников один день, а прочие дни на господина*; *а* у других два дня на помещика, а третий крестьянину». В Переяславль-Залесской провинции свободных дней помещичьему крестьянину давалось «в неделю *два дня, а прочие дни работают на господина*». Каширский корреспондент очень желал быть оптимистом в вопросе о крестьянских повинностях[1],—но, начав за здравие, он, нечаянно для самого себя, кончает за упокой. «С осмака («тягло из двух мужиков и двух баб состоящее») один крестьянин с женою ходит всякий день на барскую работу, а другой с бабою всегда дома, воскресные же дни и прочие праздники также от господской работы уволен (видите, какая идилия!), и следовательно имеет в год больше дней на себя работать, нежели на помещика. *Случается также, что во время жнитва, где* не разделена господская пашня, или *в сенокос ходят они поголовно*, т. е. иногда трое, иногда четверо с тягла, но сие бывает не всегда (еще бы!), или после за то какая дается выгода». И наконец, оренбургский корреспондент, суровый и правдивый Рычков, так характеризует положение дела в своей губернии: «Крестьяне помещичьи работают на своего господина по три дня в неделю, столько же и на себя, а воскресный день оставляется им свободен, *но больше употребляют они так, как помещик хочет*. Есть и такие еще помещики, что *повседневно наряжают их на свои работы, а крестьянам для*

[1] По словам Семевского, ответы на данный вопрос в «Трудах» вообще напечатаны с некоторыми купюрами—выкинуто наиболее яркое.

им. А. И. ГЕРЦЕНА

пропитания их дают один месячный хлеб». Это первое упоминание о *плантационном хозяйстве*, какое мы встречаем в литературе, притом не в сатире, как впоследствии у Радищева, а в чисто деловом сообщении. И современники (Болтин) и новейшие исследователи (В. И. Семевский) оспаривают, чтобы подмеченное Рычковым явление, на котором он настаивает и в других своих писаниях, было общераспространенным. Первый оперирует методом того француза, который давал честное слово, что, земля вертится, и спор его с Рычковым может быть решен только сопоставлением их авторитетов—одного из первых агрономов своего времени и дилетанта-историка, умного, наблюдательного, но еще менее, чем Щербатов, способного критически отнестись к своим собственным наблюдениям[1]. Г. Семевский обосновывает свое заключение на просмотренных им описаниях огромного количества имений средней России, где он нашел лишь два-три случая, когда в имении отмечены одни дворовые, а пашня была. Но помещик очень редко мог иметь побуждение юридически раскрестьянивать своих крепостных, ибо это прежде всего вело к *личной* ответственности за подушные. Оставить крестьянину хотя бы видимость своего хозяйства было в его интересах: но это «свое хозяйство» могло быть не крупнее того участка, который сплошь и рядом давался и античному рабу, чтобы отнять у него побуждение к побегу, и который, конечно, не делал еще этого раба крестьянином в настоящем смысле этого слова. Только дальнейшие архивные изыскания смогут решить вопрос окончательно. Историк, вынужденный опираться на печатный материал, может лишь констатировать, что тенденции превратить крестьянина в живой инвентарь, в некоторое подобие античного раба или негра американской плантации (отсюда, как известно, и термин «плантационное хозяйство»), существовали повсюду, а не в одной Оренбургской губернии. Хотя возможно, что в последней необычайно благодарная почва и малое относительно количество рабочих рук создавали для помещика больший соблазн доводить до крайности эксплоатацию крепостной рабочей силы, чем в других местах. Недаром Оренбургская губерния так скоро после описания ее Рычковым стала ареной пугачевского бунта.

5. Домашний враг.

«Что бы ни говорили в доказательство противного, императрица здесь далеко не популярна и даже не стремится к тому,— писал один иностранный дипломат, характеризуя положение Екатерины в средине 1772 г.—Она нисколько не любит своего народа и не приобрела его любви; чувство, которое в ней попол-

[1] Притом отдельных случаев плантационного хозяйства—якобы как остатка варварской старины—и Болтин не отрицает.

няет недостаток этих побуждений к великим замыслам, безграничная жажда славы; приобрести эту славу для нее гораздо важнее истинного блага той страны, которою она управляет. Это, по-моему, ясно следует из положения здешних дел, если рассмотреть его беспристрастно. Без этого предположения мы должны были бы обвинить ее в непоследовательности и сумасбродстве, видя, как она предпринимает огромные общественные работы, основывает коллегии и академии по чрезвычайно обширным планам и с огромными издержками, а между тем ничего не доводит до конца и даже не доканчивает зданий, предназначенных для этих учреждений. Нет сомнения, что таким путем растрачиваются огромные суммы без малейшей реальной пользы для этой страны, но не менее несомненно и то, что этого достаточно для распространения молвы об этих учреждениях между иностранцами, которые не следят, да, в сущности, и возможности не имеют следить за их дальнейшим развитием и результатами»[1].

Иностранный наблюдатель делал из этого вывод о неизбежности близкой «революции», т. е. нового дворцового переворота в пользу, как казалось ему, Павла Петровича. По его мнению, отношения между матерью и сыном (которому не было еще и двадцати лет) уже тогда отличались крайней степенью остроты. Поговаривали, что Екатерина не прочь избавиться от сына, и сам Павел был убежден, что его хотят отравить. В материале для нового заговора недостатков как-будто не было. Не считая громкого дела Мировича, попытавшегося посадить опять на престол однажды уже сведенного с него Ивана, первое десятилетие екатерининского царствования наполнено целой вереницей аналогичных попыток, которые Екатерина и ее окружающие имели весь интерес выставить перед публикой пустяками и вздором, а позднейшие историки слишком легко поверили в этом случае заинтересованным людям. На самом деле это был не более и не менее вздор, нежели первые неудачные вспышки заговора в пользу Елизаветы Петровны. Как тогда имя Волынского, так теперь в заговорах мелькали имена Никиты Панина, Шуваловых даже знакомого нам кн. Щербатова: одна группка гвардейцев не прочь была сделать основателя российского «монаршизма» русским монархом. Эта, на первый взгляд самая курьезная, подробность свидетельствует, может быть, что движение после разгона комисии 1767 г. приобрело более серьезный политический оттенок, нежели какое-либо гвардейское движение, бывшее раньше. Недаром и Екатерина, по обычаю притворяясь для публики, что она считает и это дело чуть не детской шалостью, в действительности очень хотела бы его замять так, чтобы публика, по возможности, ровно ничего

[1] Донесение английского посланника Роб. Гуннинга гр. Суффольк от 28 июля 1772 г. Сб. Р. И. О., XIX, стр. 298—299. Мы позволили себе несколько изменить перевод, сделанный чересчур канцелярским языком.

не знала. «Скажите Чичерину (генерал-полицеймейстеру),—писала она в одной записке,—что если по городу слышно будет, что многие берутся и взяты солдаты под караул, то чтоб он выдумал бы бредню и ее б пропустил, *чтобы настоящую закрыть*, или же и то сказать можно, что заврались». Боялась она, конечно, не Панина и тем более не Щербатова: последний, вероятно, и узнал-то о предназначавшейся ему роли из следствия. Первый стоял ближе, может быть, если не к этому, то к предшествующим заговорам: недаром ему было дано прочесть дело Волынского в назидание. Но костей не ломали и ему: Екатерина была слишком европейской государыней, чтобы устроить скандал на всю Европу, как не постеснялась в свое время простая русскмя помещица, Анна Ивановна. Главное же—центральной фигурой всех толков были не «министры», надежные или нет, —ею был все тот же Павел Петрович, имя которого с уст не сходило у всех «болтунов» без исключения. Эту фигуру было не так легко убрать. И пока на это не решались, оставалось терроризировать сторонников Павла, назначая за «детские шалости» такие меры, что впору хоть очень зрелым людям. В записках Державина сохранился рассказ, живо рисующий одну из таких расправ, да кстати и настроение, какое они создавали в гвардии. «В один год (это был год 1772), помнится, в июле месяце, отдан приказ, чтобы выводить роты на большое парадное место в три часа поутру. Прапорщик Державин приехал на ротный плац в назначенное время. К удивлению, не нашел там не токмо капитана, но никого из офицеров, кроме рядовых и унтер-офицеров; фельдфебель отрапортовал ему, что *все больны*. Итак, когда пришла пора, он должен вести один людей на полковое парадное место. Там нашел майора Маслова, и прочие роты начали собираться. Когда построились, сказано было: «к ноге положи», и ученья никакого не было. Таким образом прождали с трех часов до 9 часа в великом безмолвии, недоумевая, что бы это значило. Наконец, от стороны слобод, что на Песках, услышали звук цепей. Потом показались взводы солдат в синих мундирах. Это была Семеновская рота. Приказано было полку сделать каре, в который, к ужасу всех, введен в изнуренном виде и бледный унтер-офицер Оловянишников и с ним 12 человек лучших гренадер. Прочтен указ императрицы и приговор преступников. Они умышляли на ее жизнь. Им учинена торговая казнь; одели в рогожное рубище и тут же, посажав в подвезенные кибитки, отвезли в ссылку в Сибирь. Жалко было и ужасно видеть терзание их катом, но ужаснее того мысль, что мог благородный человек навлечь на себя такое бедствие. Однакоже таковых умышлений на императицу было не одно сие, окроме возмущения злодея Пугачева, которое будет ниже несколько обстоятельнее описано»... «Возмущение злодея Пугачева» и положило конец дворянским «умышлениям». Все мелкие счеты между сюзереном и его вассалами были забыты, когда у ног их открылась

пропасть, куда «чернь»—вилланы, чтобы продолжить сравнение,—готовилась сбросить сразу и императрицу и ее дворянство. Пугачевщина потрясла до основания империю Екатерины, но она, как не надо лучше, укрепила положение ее самое, лично.

Когда, также знакомый нам, Рычков сидел в осажденном Пугачевым Оренбурге, он от скуки занялся описанием бунта Стеньки Разина и написал «большую тетерадь». Два казацко-крестьянских восстания, отделенные друг от друга почти ровно Сголетним промежутком, и тогда, как теперь, были связаны в умах публики прочной «ассоциацией по сходству». Новейшая историография, однакоже, довольно давно заметила, что ассоциация идет скорее в другую сторону, и уже Соловьев указывал на почти фотографическое сходство начала разинского восстания с началами казацких «рухов» в Приднепровье. Как у запорожцев, так и у донцов дело начиналось с того, что казакам отрезывали дорогу к морю, лишая их тем промысла, столь же исконного на Дону, как и на Днепре. Для донцов решающим моментом была, по словам Соловьева, постройка турками Азова, перекинувшая казацкие походы с Дона на нижнюю Волгу и Каспийское море. Он не договаривает что там, на только-что проторенной большой дороге из Западной Европы в Персию, казачество должно было встретиться с крупнейшей экономической силой эпохи—торговым капиталом, к которому уж начало поступать на службу московское государство. Исконный промысел вдруг стал необычайно выгодным, но и страшно опасным: удачливый атаман на новой дороге мог награбить так много, как никогда раньше, но зато и встретить на своем пути силу, какой раньше донцам никогда не приходилось видеть против себя. Что Астрахань защищали от Стеньки немцы, это было таким же выразительным символом, как и то, что окончательный удар казацким отрядам нанесли европейски обученные войска кн. Барятинского. Тут столкнулись между собою два этапа коммерческого развития: «разбойничья торговля»первобытного типа с колониальным предприятием XVII в. И то, и другое по отношению к коренной России было периферийным явлением, каким остались бы и набеги запорожцев на польские области, не захвати революционное движение оседлого и зажиточного казачества, «дуков», с одной стороны, «посполитных», крепостного крестьянства—с другой. Но зажиточная часть донского казачества с самого начала отнеслась к разинскому движению очень холодно, а для восстания крепостных в коренных московских областях как раз 1668—1669 годы были наименее подходящим моментом, ибо крестьянское хозяйство именно в эту эпоху шло на подъем, а не на убыль[1]. Оттого разинщина, кроме Поволжья в тесном смысле, где ее отряды пополнялись в первую голову из населения, непосредственно эксплоатировавшегося торговым капиталом (бурла-

[1] См. «Русская история», т. II.

ков, грузчиков, нижних слоев посадского населения и т. п.), захватила только свеже-колонизованную окраину тогдашней Руси: Тамбов и другие соседние города, оказавшиеся в черте восстания, были основаны всего за тридцать лет до Разина. К Москве она не подошла и с московскими движениями того времени, весьма нередкими (из-за медных рублей, например), не связалась. Оттого и непосредственного влияния разинского восстания на судьбу собственно московских дел нельзя подметить: и до, и после него режим был тот же, и даже на прогрессе торгового капитализма оно сколько-нибудь заметно не отразилось. Роль пугачевщины, с этой точки зрения, была совершенно иная. Она положила резкую грань между двумя периодами развития «дворянской России». Последующие три четверти столетия русской истории проходят под знаком пугачевщины, и только переход к новым условиям призводства с 60-х годов снимает этот «знак»; снимает настолько основательно, что возобновление явления оказывается невозможным даже при самых, на первый взгляд, благоприятных условиях. Пугачевщина нанесла удар, глубоко проникший в самую сердцевину крепостного хозяйства: и это потому, что она сама была продуктом общерусских экономических условий, которые на восточной окраине проявлялись наиболее интенсивно, но отнюдь не были ее местной особенностью. Восстание крестьян в 1773—1774-х годах было первым ответом на *интенсификацию барщины*, и новый Петр III нигде не имел более верных сторонников, как среди *уральских горнорабочих*, представителей той отрасли крепостного труда, где интенсификация была доведена до последних пределов. Этот факт хорошо отметили уже современники, хотя и не понимая его экономической подкладки: биограф Бибикова, писавший с их слов (когда вышла его книга, всякий помещик за пятьдесят лет мог рассказывать о Пугачеве по личным воспоминаниям), среди «подлой черни», составлявшей пугачевскую армию, на первое место выдвигает «рудокопов». Без них не было бы той «пугачевщины», какую мы знаем, было бы лишь слабое повторение одного из казацких бунтов, в роде булавинского при Петре. В сущности вся пугачевщина явилась соединением двух взрывов, вызванных каждый самостоятельными причинами: то были конечные эпизоды борьбы за свободу уральского крестьянства, с одной стороны, уральского казачества—с другой. Разобравшись в антецедентах бунта в том и в другом случае, мы будем иметь уже достаточно полную его «этиологию»—достаточно полное представление об его причинах. Уральское движение было самостоятельным, остальное—лишь сообщенным: но сообщиться оно могло только потому, что основной экономический фон всюду был одинаков, разница была лишь в степени интенсивности гнета и, отчасти, в связи с этим, в степени организованности движения.

Горнозаводские крестьяне (их в 60-х годах на Урале счи-

талось до 100 тыс. душ мужского пола) не были юридически крепостными. Это, как мы уже упоминали, были черносошные, казенные крестьяне, отрабатывавшие на заводах свою подушную подать, т. е. таково было их *правовое* положение. По инструкции 1734 г. всем заводчикам, в видах расширения их производства и устройства новых заводов, было обещано от 100 до 150 дворов государственных крестьян к каждой доменной печи и по 30 дворов к каждому молоту. Заводчик обязывался платить за этих крестьян подати, как помещик за своих крепостных, а крестьяне на него работать, по известной таксе: выработанные ими деньги не выдавались им на руки, а засчитывались в подать. По расчету одного новейшего исследователя, для довольно типичного случая, каждому работоспособному крестьянину, чтобы выработать подати, приходилось затратить на заводскую работу 120 дней: другими словами, по тяжести заводская работа равнялась приблизительно двухдневной барщине[1]. Это было бы еще не так тяжело, если бы соблюдалось требование инструкции—приписывать *ближайшие* к заводам деревни. На самом деле, юридическая оболочка никого не обманывала: дело шло о возможности *получить крепостных из казны*, и само собою разумеется, что заводчики и их управители тянулись к лучшим, наиболее богатым и населенным волостям. В результате «заводские» крестьяне оказывались за 400, 500 и даже 700 верст от завода, к которому они были приписаны. Это одно уже делало заводскую барщину исключительно тяжелой. «Земледельцы не могут пропитаться своим собственным хлебом,—говорит Н. Рычков о Соликамском уезде около 1770 г.:—сие не столько от посредственного плодородия их земель, но больше оттого, что обитатели сей области почти все к заводам приписные крестьяне, а потому большая часть из них, упражнены будучи заводскими работами, не имеют довольно времени к распространению своего хлебопашества. Ибо в тот час, когда руки земледельцев должны обрабатывать свои земли и пользоваться плодами, от нее произрастаемыми, принуждены они итти на заводы, находящиеся от них в весьма дальном расстоянии, каковые суть заводы верхотурского купца Походящина, лежащие в 500 верстах от тех селений, кои к ним приписаны, и еще в таких местах, куда и пешим с великим трудом пройти возможно по причине чрезмерно болотистых и лесистых мест». По расчету того же исследователя, для того же типичного случая, походы приписных крестьян на завод при расстоянии, которое можно считать скорее средним, чем очень большим (400 верст), брали у них 96 дней в год; т. е. их барщина растягивалась до 216 дней, из двухдневной превращаясь в четырехдневную. Это уже одно делало положение «приписных» значительно худшим в сравнении с *средним* положением барщинного крестьянина по всей Рос-

[1] *В. Семевский*, цит. сочин., т. II, стр. 364.

сии; но это было далеко не все. Работа крестьян на их наделах и заводская барщина сталкивались не только потому, что вторая брала время, нужное для первой. По самым условиям производства заводская работа требовала *непрерывности*: доменную печь потушить было нельзя,—потухшая домна была крупным убытком для заводчика. Странно было бы думать, что более сильный пойдет в этом случае на убытки ради интересов более слабого; и вот, заводчики начинают систематически стремиться к ликвидации собственного крестьянского хозяйства, к *пролетаризации крестьянства*, чтобы иметь рабочие руки при заводе всегда. «Я многих (заводчиков) знаю,—писал в 1765 г. оренбургский губернатор Волков,—*кои за правило почитают, дабы их заводские крестьяне совсем домоустройства не имели, а единственно от заводской работы питались;* и сего правила тем прилежнее держатся, что в то же время и сугубую от того пользу получают». «Сугубая польза» заключалась в том, что заводчик эксплоатировал пролетаризованного им крестьянина совершенно так же, как фабрикант второй половины XIX в. своих «свободных» рабочих: заставляя его покупать все необходимое, до хлеба включительно, в заводской лавке, с крупной для предпринимателя прибылью. Челобитная крестьян демидовских заводов (1741 г.) дает яркую картинку этой пролетаризации в условиях глубокофеодального режима. В рабочую пору демидовские приказчики наезжали на деревни с солдатами и били дубинами и батогами старост, выборных десятников и писарей, требуя, чтобы они, в свою очередь, гнали крестьян на заводскую работу. «Когда приказчики наших крестьян увидят на пашнях,—писали челобитники,—то и работать им не дают, и бьют смертельно, и приговаривают... работай на заводе, а не на своих пашнях». Ко времени челобитной цель была уже в значительной степени достигнута: «уже не малая часть» демидовских крестьян «произошла пустотою и многие в убожество и в крайнее разорение пришли и подушного окладу платить нам нечем». Приводить последний мотив было большой наивностью: за уплату подушных отвечал заводчик, покупавший этим рабочие руки приблизительно втрое дешевле, чем они стоили тогда на Урале[1]. «Конечное» же «разорение» было прямо в его расчетах, и Демидов прекрасно это понимал; рекомендуя своим детям терпеливо относиться к забастовке их «крепостных пролетариев», он высказывал твердую уверенность, что голод рано или поздно пригонит их обратно на завод.

Плантационное хозяйство, которое в земледельческой полосе было, во всяком случае, исключением, хотя, может быть, го-

[1] Или, по крайней мере, вдвое: сажень нарубленных дров засчитывалась приписным в 25 коп., а исполнить эту работу вольнонаемными стоило от 50 до 60 к. См. мнение депутата комиссии 1767 г. Полежаева у г. *Семевского*, ibid., 437. Большая часть цитат взята из этого же сочинения.

раздо более частым, чем обыкновенно думают, на уральских заводах становилось правилом: «приписной» крестьянин все больше и больше обращался в безземельного раба, которого хозяин кормил и одевал, эксплоатируя за то и его, и его семью (случаи применения детского труда уже встречаются), как ему заблагорассудится. Нет надобности говорить, что условия труда вполне отвечали всей картине тогдашнего режима: никаких признаков «фабричной гигиены», разумеется, не существовало; рабочие задыхались в шахтах, лишенных вентиляции, их заливало водой, они наживали себе скорбут и другие болезни,—обезлюдив одну деревню, заводчик хлопотал о приписке другой, и только. Особенно мало заботились об этом привилегированные заводчики из крупной знати, которые, как грибы после дождя, стали расти в конце царствования Елизаветы, с развитием спроса на уральское железо за границей: Шувалов (у одного Петра Ивановича, так хорошо знакомого, было до 25 тыс. душ «приписных»), Чернышев, Воронцов и др. При этом дисциплина на заводе XVIII в. была такая же, как и в крепостном имении, и если на фабриках XX в. «начальство» сплошь и рядом давало волю рукам, можно себе представить, что было в те времена. «При заводской работе происходило нам не точию излишнее противу положенных на нас подушного оклада и оброчного провианта отягощение, но и самые мучительные ругательства», писали демидовские же крестьяне (в одной челобитной, несколько более поздней, чем цитированная выше). «...Его, Демидова, приказчики и нарядчики, незнаемо за что, немилостиво били батожьем и кнутьями, многих крестьян смертельно изувечили, от которых побой долговременно, недель по шести и по полугоду не заростали с червием раны. От тех же побой из молодых в военную службу за увечьем в отдачу уже быть не способны; а заводских и домашних работ исправлять не могут (а иные померли). А за принесенную в обиде жалобу, дабы и впредь нигде не били челом, приказом приказчиков и нарядчиков, навязав яко татю на шею колодки и водя по дровосекам и шалашам, а в заводе по улицам, по плотинам и по фабрикам, ременными кнутьями немилосердно злодейски мучили»... Крестьяне называли при этом по именам 12 человек, засеченных приказчиками до смерти[1].

Для того чтобы правильно оценить то действие, которое процесс закрепощения должен был произвести на психику уральских крестьян, надо не забывать двух обстоятельств; во-первых, что процесс этот, тянувшийся в земледельческой России с незапамятных времен, здесь начался и кончился на глазах у одного поколения—ко времени пугачевщины во многих местах могли быть живы люди, которые не только родились, но и выросли свободными черносошными крестьянами; во-вторых,

[1] Ibid., 368—369.

что, благодаря именно этой постепенности, всюду право успело приспособиться к экономической действительности, подчинившей себе все—и религию, и мораль: и государев указ и поучение сельского попа, и «обычай», свято хранимый мудрыми стариками, дожившими до старости именно потому, что они были самыми усердными холопами, твердили крепостному об одном: нужно слушаться барина. На Урале не было ничего подобного; на бумаге «приписные» продолжали оставаться свободными, наезжие государевы чиновники на словах не решались этого отрицать, как ни сильно они тянули руку заводчиков, и ни в каком священном писании нельзя было отыскать текстов, которые бы уполномочивали Демидова драть семь шкур со своих мужиков,—«обычаи» же все говорили о свободе. В первую минуту уральским крестьянам и казалось, что вполне возможно легальное сопротивление надвигавшейся на них крепости. По дальности расстояния о них забыли—вот заводчики и начали своевольничать; надо напомнить о себе, и управа на лиходеев найдется. Они писали прошения в главную канцелярию заводов в Екатеринбурге, с них брали взятки, огромные по времени и положению просителей, до 100—150 рублей (700—1 000 на золотые деньги), и потом издевались над ними. Они посылали ходоков—их сажали в тюрьму, заковывали в кандалы, надевали им на шею рогатки и отправляли работать вместе с каторжниками. Естественно, должна была явиться мысль пока еще не о том, что легальный путь ни к чему не приведет, а о том что они ищут управы не по тому направлению, по какому нужно. Настоящее ли это начальство, которое не хочет исполнять требований, до очевидности законных? Не узурпаторы ли это, посаженные заводчиками? «Узурпаторы» действуют от имени императрицы Екатерины II: не в этом ли обман? где же Петр III? почему он так скоро исчез? Уже в 1763 г. на Урале питали сильные сомнения по этому случаю, и священник одного села, не без побуждения своих прихожан, конечно, служил молебен о здравии Петра Федоровича. А два года спустя, почти за десять лет до Пугачева, по Уралу уже ходят слухи, что Петр Федорович не только жив, но и находится здесь, на Урале; называли даже крестьянина, в избе которого он ночевал. А крестьянские ходоки собирают указы Петра III, подлинные и подложные, да говорят, это еще не все: есть другие, откуда крестьянская правда видна еще лучше. Идеология уральской революции 1773 г. была, таким образом, готова.

Ее тактика была готова еще раньше. Было бы верхом наивности думать, что восстание станет дожидаться, пока сложится юридическая теория, которою можно его оправдать: во всех революциях люди начинают действовать стихийно, теорию они находят, или теория их находит—потом. Уже самая «приписка» крестьян к заводам редко проходила спокойно; для того чтобы получить фактически, а не на бумаге только, рабочих для Авзя-

но-Петровского завода (впоследствии одного из главных опорных пунктов пугачевщины на Урале), П. И. Шувалову пришлось прибегнуть к содействию целого драгунского полка, специально присланного из Казани. «Приписные» были жестоко перепороты, и часть их отдана в каторжные работы на те же самые шуваловские заводы. В то же время (1750-е годы) Сиверс «приписывал» крестьян к своему заводу при помощи шести рот пехоты. Чтобы читатель оценил, как следует, эту военную статистику, вот один пример, живо рисующий тогдашние условия по этой части: когда посланный по специальному поручению Екатерины на Урал кн. Вяземский затребовал из Казани 100 человек солдат, ему ответили, что в городе *всего* 33 гренадера и мушкетера. При таком положении вещей мобилизовать полк или шесть рот было все равно, что теперь двинуть дивизию или бригаду. Но с меньшими силами нельзя было иногда подступиться к взволнованным «приписным». В 1760 и следующих годах около Масленского острога, на юго-востоке нынешней Пермской губернии, происходили настоящие военные действия. Крестьяне заняли «крепость» (острог был окружен деревянными стенами) вооруженным отрядом в несколько сот человек. Сотня из них имела ружья, остальные были вооружены копьями, бердышами, дубинами, иные имели луки и стрелы. Подступы к крепости были заперты рогатками, а около ворот были насыпаны кучи камней «и прочих к сопротивлению разных орудий». По дорогам держалась строгая караульная служба, а крепостной гарнизон производил по временам правильные учения. Маленькие воинские команды, приходившие по вызову демидовских приказчиков,—они были тогда неприятелем, на которого ополчились крестьяне,—и подступиться не смели к этому укрепленному лагерю. Демидовская администрация вызвала тогда из Оренбурга отряд гренадер с пушкой и две роты драгун и воспользовалась проходом из Сибири полка донских казаков: вокруг крестьянской крепости было сосредоточено до 600 человек войска. Но крестьяне и тут не сдались—удачно отбились от казаков и храбро выдержали бомбардировку из полковой пушки. Тогда драгуны пошли на приступ, и после жестокого рукопашного боя, в котором войска потеряли более 50 человек, острог был взят. После этого в соседней шадринской тюрьме оказалось 300 колодников, да такому же числу удалось бежать; убито во время усмирения тоже было, конечно, не малое количество а всего-то речь шла о приписке 2 тыс. душ мужского пола. Восстание было едва ли не поголовным, и когда в Петербурге получили о нем детальные сведения, решено было пойти на уступки: на место была послана следственная комиссия с чрезвычайно широкими полномочиями: ей было предоставлено право в случае надобности даже и отчислить крестьян от демидовских заводов. Большая часть заключенных в тюрьму была выпущена, и вообще расправа за «вооруженное сопротивление» со

стороны центральной власти была гораздо более кроткой, чем можно было ожидать по нравам эпохи. Но если в Петербурге до некоторой степени понимали, что не следует доводить дело до крайности, местные власти в упоении своей «победы» обыкновенно теряли всякую способность различать достижимое от недостижимого. Предводитель шести рот, приписывавших крестьян к заводу Сиверса, майор Остальф, «забирал под караул наиболее зажиточных крестьян, приковывал к кольцам за руки и за ноги, бил немилостиво кошками, и все это для того, чтобы вынудить у них взятки. Всякий, опасаясь смертных побоев, закладывал дом, продавал скот, чтобы отнести деньги, холст, медь и все, что случится, не только самому Остальфу, но и его офицерам и рядовым; одними деньгами они отдали 712 рублей». Крестьяне другого селения, куда потом перешел Остальф со своими отрядами, передавали в своей челобитной такую сцену: «Пришли мы, сироты, к господину майору Осипу Маркычу поклониться, и стал наш выборный ему, господину, говорить, что «мирские люди кланяются вашему высокородию пуд меду», и оный майор ударил выборного в рожу и говорит нам, мирским людям: «я-де не рублевый гость, вы-де дадите и дворецкому моему пять рублев; привезите же ко мне... 30 рублев денег да приведите пару коней». Когда в приписных к шуваловским заводам волостях стоял драгунский полк, «это было чуть ли не поголовное изнасилование и растление женского населения: эти преступления совершали и офицеры, и солдаты. Крестьян всевозможными наказаниями заставляли отдавать своих дочерей на жертву страстям разнузданной солдатчины; от насилия не избавлялись ни замужние женщины, ни девушки, еще не достигшие зрелости»[1]. Прибавим, что эти тираны были так немногочисленны, что даже терроризировать население не могли. Этот драгунский полк был, в конце-концов, чуть ли не единственный на весь Урал и ко времени приезда кн. Вяземского (1763 г.) от постоянных передвижений почти потерял способность двигаться, оставшись без лошадей. Карательная экспедиция при таких условиях только лила масла в огонь, волнения возобновлялись, стоило солдатам уйти, и при вступлении на престол Екатерины II почти половина приписных крестьян на Урале (49 тыс. из ста тысяч душ) находились в состоянии бунта. И Вяземскому пришлось рассчитывать не столько на военную силу, сколько на хитрость; он рекомендовал своему чиновнику «приманивать» крестьян ссылкою на туманные слова императорского манифеста, где говорилось, что крестьяне, может быть, будут и отписаны от заводов. «Таким образом, приманя и обнадежа, что никакого вреда им сделано не будет, вдруг и крестьянам не приметным образом всех или сколько можно главных злодеев и возмутителей захватить и того же часа, набив на них

[1] *Семевский*, назв. сочин., стр. 329, 396—

колодки, спрашивать о их сообщниках и помощниках, которых потому же, немедленно захватя, содержать под крепким караулом, ибо от скоро приятой твердой резолюции не только крестьяне, но и регулярный неприятель легко в беспорядок приведен быть может, и всякое такое предприятие желаемый конец получает...» Но, в сущности, и обещания манифеста сами по себе были военной хитростью, и подписавшая его сама признавалась, что крестьян, даже незаконно закрепощенных заводчиками, она освободить не в силах. «О переведенных крестьянах на заводы, чтобы их выслать на старые жилища,—писала Екатерина Вяземскому,—хотя сие и в противность указам заводосодержатель делал, я еще указа дать не могу, дабы, поправляя сие зло, другого вящего не сделать к разрушению заводов, потому что многие уже мастерствам обучены»[1].

Заводские крестьяне должны были, таким образом, на собственном горьком опыте убедиться, насколько та власть, которая им казалась всемогущей, бессильна перед крупными собственниками. В то же самое время таким же опытом пришли к такому же убеждению уральские или, как их тогда называли, *яицкие казаки*. Как и всякая другая казацкая община, на первых порах промысловое товарищество, в свободное от промыслового хозяйства время «казаковавшее» в соседней степи, уральцы к шестидесятым годам XVIII в. оказались сразу стесненными в обоих своих исконных занятиях. С одной стороны, откочевка к Китаю калмыков лишила их главного объекта «казакования»; с другой—монополизация казною рыбного промысла привела на практике к быстрому вторжению на Урал денежного капитала и, в связи с этим, к быстрому расслоению общины, которая и раньше, как всякая опять-таки казацкая община, содержала в себе элементы более зажиточные quasi-буржуазные, рядом с бедняками[2]. Главным уральским промыслом была рыбная ловля, считавшаяся тогда лучшей во всей России. В половине XVIII в. она не была уже совершенно свободной, и лучшие рыболовные места (гурьевский учуг, например) войску приходилось брать на откуп у казны. Пойманную рыбу надо было солить, но соль опять была казенной монополией, и мы помним, что при Елизавете на эту монополию особенно налегали. Номинально откупщиком и соляной и рыбной монополии на Урале было все войско: практически контракты в Москве и в Петербурге заключали от имени войска наиболее зажиточные казаки, и официальные документы, касающиеся «яицких волнений», нисколько не отрицают, что атаман Бородин, например, правивший Яиком в 60-х годах, «содержал соляной откуп в своем ведомстве три года, не давая в том никакого отчету, и хотя собираемых в оной откуп денег не только на заплату учужного (рыболовного), но и соляно-

[1] Ibid, стр. 377.

[2] Ср. характеристику запорожской общины, «Русская история», т. III.

го откупов казалось быть довольно, несмотря на то, налагали еще на народ сборы». После Бородина старшина Акутин, при помощи взяток из войсковой казны, сделался откупщиком рыбных ловель на Волге, а потом и соляным на Урале[1]. А за то, на чем казацкая старшина наживалась, казацкой массе приходилось самой платить. За соляную подать с казака требовали десятую рыбу от улова. С рыболовным откупом было еще лучше: со времени Бородина повелось, что в откупную сумму стали засчитывать жалованье, которое выдавалось казакам от правительства,—жалованье небольшое, не выше рубля в год, но составлявшее едва ли не главную денежную сумму, попадавшую в руки простого казака, особенно с тех пор, как «казакованье» прекратилось за отсутствием добычи. Когда Бородин, не удовлетворившись и этим, обложил еще казаков, возвращавшихся с рыбной ловли, денежным сбором—якобы на необходимые войсковые расходы,—вспыхнул бунт. Среди державшей в руках войсковые должности, войсковую казну и вместе откупа казацкой олигархии нашелся порядочный человек, некто Логинов, который раскрыл глаза «войску» на хозяйничанье его атамана и убедил казаков новозаведенного Бородиным сбора не платить, ибо в атаманском кармане и без того уже слишком много казацких денег. Струсивший Бородин в первую минуту нашелся ответить смелому агитатору только «непристойной бранью», но затем, конечно, поспешил воззвать к власти, охраняющей порядок, послав жалобу в военную коллегию. Подавляющее большинство казаков было на стороне Логинова, так что предпринять что-либо собственными средствами атаман не решался; очень характерно, что логиновская сторона скоро получила в народе название «войсковой», а бородинская «старшинской»; названия давали очень точное представление о соотношении сил на месте. Иным оно, конечно, было в военной коллегии. Присланный ею для разбора дела (в 1763 г.) генерал Потапов нашел Логинова достойным кнута и каторжных работ (в действительности он был лишен чинов и, исключенный из яицкого войска, записан в оренбургское простым казаком), многих его сторонников наказали плетьми, а одного отдали в солдаты, что для казака было едва ли не более тяжким наказанием, чем плети. Но желания «войсковых» были еще так умеренны, что они остались почти довольны Потаповым за то, что он сместил с атаманства Бородина и пообещал взыскать с него и других старшин, по крайней мере, ту часть войсковых денег, которую те слишком явно клали себе в карман. Войско заволновалось снова только тогда, когда оставленный Потаповым майор Новокрещенов стал беззастенчиво тянуть руку «старшинской» стороны, а выборных от «войсковой»

[1] «Материалы для истории пугачевского бунта», собранные Я. Гротом. Сборник Отдел. русск. яз. и слов. Ак. наук, т. XV. Из донесения П. Потемкина.

приказал наказать палками. Но и на этот раз недовольство не нашло еще себе более резкого выражения, чем челобитные в Петербург, и только, когда посланный для разбора челобитных генерал Черепов начал с того, что стал стрелять в челобитчиков, температура быстро поднялась... Череповская пальба помогла «старшинской» стороне посадить еще одного своего атамана, Тамбовцева, но это был уже последний. Теперь достаточно было первого удобного повода, чтобы вызвать настоящее вооруженное восстание. Военное начальство не замедлило этот повод дать. Когда присланный из Петербурга новый генерал Траубенберг стал отбирать казаков для формировавшегося тогда «образцового легиона» и велел брить новых рекрутов на площади (а уральские казаки были раскольники и бородами своими очень дорожили), войско начало с того, что двинулось к генералу с иконами,—одна из которых даже плакала при этом случае,—а кончило тем, что убило и Траубенберга, и Тамбовцева. Что история с рекрутами была лишь случайным поводом, а движущие пружины и этого волнения оставались прежние, ясно видно из того, что победившее войско, прежде всего другого, взыскало с Бородина и остальных старшин деньги, обещанные когда-то Потаповым. Убийство Траубенберга было уже бунтом во всем смысле этого слова, и на Яик явилась карательная экспедиция. Попытка войска оказать ей вооруженное сопротивление была сломлена—так слабы в сущности были уральские казаки, предоставленные самим себе!—а последующая расправа превзошла все предыдущее. Арестована была такая масса народу, что в тюрьме ему не нашлось места, многие сидели по лавкам, в гостинном дворе. Множество «войсковых» было пересечено кнутом, сослано в каторгу, отдано в солдаты. Столица уральского войска, Яицкий городок, была так терроризована, что «порядок» в ней торжествовал и в разгар пугачевщины: в то время как Казань была уже сожжена, Пенза и Саратов были в руках Пугачева, а Москва ждала нашествия со дня на день, в центральном пункте мятежа продолжал держаться царский гарнизон. Но масса инсургентов разбежалась по степным хуторам, где их трудно было достать; на одном из таких хуторов появился, как известно, и Пугачев.

История «самозванства» последнего еще менее интересна для современного читателя, нежели история названого Дмитрия. Там есть хотя материал для довольно эффектного романа в старом вкусе: а менее романическую фигуру, чем Пугачев, трудно себе представить. Как личность, это было нечто среднее между фантастом, способным уверовать в плоды своей фантазии, каких тогда много было среди раскольников (к которым Пугачев был так близок, хотя родился и православным), и просто ловким проходимцем, каких тоже было немало в разбойничьих гнездах Поволжья или даже в воровских притонах Москвы. Что он сознательно принял на себя имя лица,

одна мысль о котором должна была приводить в трепет простого, безграмотного казака, показывает, как легко люди этого типа эмансипировались от обычной холопской психологии. Но и тут он опять был представителем *типа* — и довольно распространенного. Он был не первым «Петром III», как не был и последним. За восемь лет до него бывший солдат Кремнев попытался разыграть совершенно ту же роль в Воронежской губернии; в миниатюре его история, как две капли воды, напоминает пугачевскую — даже до такой подробности, что у него были «генералы» из крепостных крестьяне одного из которых он называл «Румянцевым», а другог, «Пушкиным» (нужно думать, что это были единственно важные генералы, известные ему по именам). Воронежские однодворцы, с которыми пришлось иметь дело Кремневу, оказались гораздо менее благодарной почвой, нежели только-что «усмиренные» яицкие казаки или бесконечно усмирявшиеся уральские горнорабочие,— одиссея Кремнева кончилась, благодаря этому, очень скоро. Но чуть ли не в то еще время, как его секли кнутом на базарах всех деревень, где он выступал в качестве «претендента», в соседней Изюмской провинции другой беглый солдат, Чернышев, уверял всех, что Петр III — это он, сейчас же нашел сельского попа, который стал поминать его на ектеньях, как императора. Словом, как-раз в этом пункте Пугачев был наименее оригинален. Если бы можно было приписать ему лично систему его военных действий, за ним пришлось бы признать выдающиеся стратегические способности: но эту систему, кажется, приходится счит ть продуктом коллективного творчества, и возможно, что здесь Зарубин (Чика) или Белобородов играли бо́льшую роль, нежели сам Пугачев. Поведение «императора» после ареста показывает, что сам на себя он смотрел не больше как на удачливого атамана разбойников, не задумывающегося ни над какими «принципиальными» оправданиями своих действий: просто—грешил, пока было можно, а пришел час—нужно искушть грех. Поймавшие его чиновники Екатерины II не могли притти в себя от удивления и обиды в своем дворянском достоинстве, когда увидели, кто их держал целый год в страхе и трепете. «Он человек нельзя никак сказать, чтобы великого духа,— писал императрице московский главнокомандующий кн. Волконский после первого свидания со вчерашним «Петром Федоровичем»,—а тем меньше разума, ибо я по всем его изветам нисколько остроты его не видел... Скверен так, как мужику быть простому свойственно, с тою только разницею, что он бродяга».

Карьера этого «бродяги» на первых шагах ничем не отличалась от карьеры его предшественников. Едва успев объявить себя Петром III, он был схвачен, отвезен в Казань и приговорен к кнуту и каторге. Вместо этого, однакож, он через несколько месяцев опять появился среди яицких казаков, а еще через не-

сколько недель стоял уже во главе обще-уральского мятежа. Екатерина—с ее взглядом на дело мы ниже познакомимся подробнее—долго не могла простить казанскому губернатору Бранту его оплошности и нашла нужным подчеркнуть ее даже в официальном рескрипте ему по случаю назначения генерала Кара главным начальником над первой экспедицией против Пугачева. «По случившемся в Оренбургской губернии от бежавшего у вас из-под караула бездельника казака Пугачева мятеже», ядовито отмечал раскрипт, объясняя бедному Бранту причины посылки Кара. Естественно, что сам Кар больше всего хлопотал, как бы Пугачев не убежал вторично: «опасаюсь только того,—писал он Екатерине,—что сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег». Военная коллегия вполне разделяла его оптимизм. «Весьма изрядно учинить все изволили, предписав сибирскому коменданту преградить у плутовской толпы путь на случай их бегства по услышании о приближении к ним военных команд», писал Кару в ответ президент военной колегии, гр. Чернышев. По крайней медленности тогдашних сношений, писалось это в то время, когда давно «обратился в бег» сам Кар, а командированный им для пресечения Пугачеву путей к бегству «синбирский комендант» давно качался на виселице. В силу вековой традиции русской—да и всяческой другой—бюрократии старались не упустить «зачинщика». Но суть была совсем не в нем—можно быть уверенным, что в случае вторичной поимки Пугачева «войсковые» сейчас же нашли бы себе нового «Петра III»,—а в той тактике, которую усвоили себе теперь уральские казаки и которая, всего вероятнее, была им подсказана их неудачей в предшествующем году. Тогда они держались оборонительной системы—дожидались, пока к ним придут войска, и отбивались от них; в результате они были разгромлены. Теперь они решились взять инициативу в свои руки, и победа над силами, гораздо более крупными, чем какие они имели перед собою в 1772 г., досталась им с легкостью, которая должна была изумить их самих. Историки, которые объясняют легкость успехов Пугачева тем, что против него была «дрянная гарниза» за не менее дрянными деревянными укреплениями, забывают, что ведь и годом раньше на Яике действовали не отборные полки (они были на турецкой войне или же в Польше). У Фреймана, усмирявшего Яик в 1772 г., была всего одна гренадерская рота—точь в точь такая, какую Пугачев в ноябре следующего года взял, что называется, голыми руками. Но перед Фрейманом были «злодеи», бежавшие и укрывавшиеся, в крайнем случае, отстреливавшиеся, когда на них нападали, словом, была картина обычная, к которой «усмирители» давно привыкли; а перед Каром и его предшественниками были «злодеи», совершенно необычным образом нагло шедшие вперед, точно они были авангардом стотысячной армии. Между тем у Пугачева в этот период восстания было не больше двух тысяч хорошо вооружен-

ных людей, и то под самый конец, а начал он, имея их не более трехсот. Тогда как у одного Кара было 1 300 человек, может быть, и не равнявшихся по достоинству гренадерам Фридриха Великого, но во всяком случае вооруженных и обученных, как всякие регулярные солдаты, да в Оренбурге, за всеми потерями первых недель, оставалось почти три тысячи. Но на стороне пугачевцев был огромный моральный перевес—перевес людей, уже одержавших победу и идущих вперед, тогда как психология правительственных войск была психологией отступающей армии, не верящей ни в себя, ни в своих вождей. Два привходящих обстоятельства облегчили, одно—первую победу, а стало быть, и моральный перевес восставших, другое—техническую возможность использовать этот перевес. Первое обстоятельство заключалось в крайнем ослаблении «старшинской» партии на Урале в это время, благодаря отсутствию почти всех ее боевых элементов, командированных в Кизляр: считая Яик окончательно замиренным, правительство спешило использовать свою победу, заткнув яицкими казаками бреши, которых у него так много было на всех границах. Таким образом, элемент, который имел социальный интерес бороться с восстанием, был сведен почти на-нет, и это как-раз в ту минуту, когда противоположная сторона была ожесточена до крайности, потому что яицкий комендант начал править с «войсковых» деньги, нечто в роде контрибуции, наложенной на них за бунт 1772 г. Один из допрашиваемых казаков впоследствии «откровенно признался», по словам официального документа, «что никакая другая причина не принуждала их к соединению с самозванцем, как только, чтобы избежать притеснений и *взыскания несносного денег*»[1]. В то же самое время восставшие казаки немедленно же умели связаться с социальным элементом, как нельзя более им родственным,—горнозаводскими крестьянами. Уже в октябре 1773 г., через месяц после выступления Пугачева, на знакомом нам Авзяно-Петровском заводе лили для восставших пушки и ядра, которые Кар тщетно пытался перехватить при перевозке их в пугачевский лагерь. Благодаря этому уже к ноябрю *Пугачев* имел до 70 орудий, в том числе доволно крупных—двенадцатифунтового калибра—и был *артиллерией сильнее правительственных войск:* в главном сражении с Каром у инсургентов было 9 пушек против 5, которыми располагал отряд Кара, причем пугачевские пушки были лучше казенных. Факт необычайной важности, недостаточно подчеркивающийся обыкновенно историками бунта, весьма склонными изображать пугачевскую армию, как громадную нестройную толпу полувооруженного мужичья. В документах мы не видим ни громадности, ни нестройности—видим, напротив, сравнительно небольшую силу, составленную из отборных элементов и подготовленную к борьбе

[1] Сборник», ibid., стр. 96.

в данных условиях гораздо лучше, чем ее противники. Во-первых, вместе с пушками с заводов пришли люди, умеющие их употреблять в дело: современники согласны в том, что не только артиллерия, но и артиллеристы у Пугачева были лучше правительственных. «Артиллериею своею чрезвычайно вредят,—доносил военной коллегии разбитый Кар, требуя присылки возможно более пушек возможно более крупного калибра:—отбивать же ее атакою пехоты также трудно, да почти и нельзя, потому что они всегда стреляют из нее, имея для отводу готовых лошадей, и как скоро приближаться пехота станет, то они, отвезя ее лошадьми далее на другую гору, опять стрелять начинают, что весьма проворно делают, и *стреляют не так, как бы от мужиков ожидать должно было*». Рычков в своем описании оренбургской осады отмечает, что инсургенты, придавая большой угол возвышения своим орудиям, навесным огнем ухитрялись громить дома в самом центре города, к немалому ужасу осажденных, в первую минуту думавших, что только на валу и около вала опасно быть. Надо иметь в виду, что тогдашние гладкостенные орудия не отличались дальнобойностью, и что городским пушкам, например, никогда не удавалось разрушить пугачевские батареи: чтобы достигнуть описываемого Рычковым эффекта, нужно было быть по своему времени образованным артиллеристом. Совершенно определенно указывает Рычков на связь этого явления с присутствием в рядах пугачевцев заводских мастеровых. «Сказывали,—пишет он,—что посланные на Твердышевский завод без всякого там сопротивления получили и прислали к нему, злодею, более 3 тыс. зарядов с ядрами, и заряды-де были все из лучшего пороха и не малое число ружей. Тут же *взяли они к себе из заводских многих служителей, в том числе несколько довольно обученных пушечной пальбе*, о коих сказывали, якобы они добровольно склонились»[1]. Остается прибавить, что если на горнозаводских рабочих держалась артиллерийская тактика Пугачева, то яицкие казаки не менее умело развили тактику кавалерийского боя. Их рассыпной строй был почти неуязвим для артиллерии противника, в те далекие времена не располагавшей даже и шрапнелью, появившейся в начале XIX столетия: попасть же ядром в одиночного всадника было труднее, чем убить ласточку на-лету пулей из ружья. А на ружейный выстрел казаки не подъезжали, пока тяжелые каре екатерининской пехоты не были окончательно расстроены метким артиллерийским огнем; тогда стремглав с криком и визгом бросались они на обезумевших солдат, большею частью без сопротивления бросавших ружья. Кар не видел иного спасения, как сосредоточить на театре восстания возможно более регулярной конницы: и действительно, в усмирении пугачевщины гусары и

[1] «Летопись» *Рычкова*, в приложениях к «Истории пугачевского бунта» *Пушкина*.

драгуны впоследствии сыграли самую видную роль, а в зимнюю кампанию 1773—1774 гг. с пугачевской тактикой довольно удачно боролись еще отряды егерей-лыжников.

Но пока были усвоены тактические уроки пугачевщины—более серьезные, как видит читатель, чем обыкновенно думают,—«Петру Федоровичу» давно удалось самому обзавестись настоящей регулярной армией: одним из непосредственных результатов первых его успехов было то, что целые отряды правительственных войск, нередко с офицерами, переходили на его службу. Современники очень неохотно признавались в этом факте. Екатерина уверяла Вольтера, будто бы Пугачев «предавал смерти всех офицеров и солдат, которые в руки к нему попадались». Биограф Бибикова очень хотел бы уверить своего читателя», «что ни один из дворян не передался самозванцу»: он, однакоже, не мог скрыть, что после взятия Татищевой (в самом начале восстания—в конце сентября 1773 г.) Пугачев «всех военнослужащих, бывших в городе, числом более тысячи человек, принудил присягнуть», а несколько позже, что «из войск», противопоставленных бунтовщикам, *целые отряды* положили оружие и даже *иные перешли к самозванцу*». Изменяли не только гарнизоны крепостей оренбургской линии, что еще можно было бы с грехом пополам объяснить «заразой», давно исходившей от яицкого казачества. Ненадежны были и полки, присылавшиеся из центральной России: солдаты Кара «вслух кричали, что бросят ружья». Измена гнездилась в отборных полках, на которые особенно рассчитывали при усмирении восстания. Владимирский гренадерский полк, который на почтовых наспех везли из-под Петербурга в Казань, пришлось подвергнуть особому тайному наблюдению, открывшему, «что действительно между рядовыми солдатами существует заговор положить во время сражения перед бунтовщиками ружья». Цитируемый нами здесь Державин также неохотно бы признался, что измена шла выше «рядовых солдат». Но в том самом Саратове, откуда он не особенно почетно уехал, когда стал приближаться Пугачев, почти весь гарнизон во главе с довольно крупным чином, секунд-майором, перешел на сторону инсургентов. Из состава этого гарнизона артиллерийская команда особенно отличилась в рядах пугачевской армии во время битвы под Царицыном против Михельсона. А еще раньше, когда последний действовал на Урале, он принял однажды пугачевцев за правительственные войска—настолько хороша была их фронтовая выправка. Дела об офицерах, перешедших к «самозванцу», менее всего редки в бумагах, оставшихся от пугачевщины, и напрасно Бибиков, желая успокоить Екатерину, объяснял эти явления «мрачной глупостью» провинциального офицерства. Дворцовые перевороты как-раз более сметливых должны были приучить к тому, чтобы не разбираться чересчур долго в правах различных претендентов на престол, а не теряя времени, присоединяться к тому, кто сильнее. Если что

задерживало в этом случае, так скорее неизбежность конкурировать с пугачевскими «генералами» и «полковниками» из казаков, да острое социальное недоверие, которое чувствовали восставшие ко всему, от чего пахло барином.

Казаки, горнозаводские мастеровые и крестьяне, перешедшие к Пугачеву отряды регулярной армии составляли главную боевую силу восставших. То, что нами так прочно ассоциируется с именем «пугачевцев», восставшие крепостные помещичьих имений, были не столько активной частью пугачевского войска, сколько его питательной средой. Во-первых, Пугачевым была заведена правильная рекрутчина: он брал по одному человеку с пяти душ тех деревень, которые были заняты его войсками, а под конец восстания, когда ему приходилось иметь дело с огромными, относительно, правительственными силами, забирал с собою поголовно всех, кто мог носить оружие. «Секретная комиссия», ехавшая по следам пугачевского ополчения в августе 1774 г., во встречавшихся по пути селениях никого не находила, «кроме престарелых людей мужеска и женска пола, а прочие все, кто только мог сесть на коня и итти добрыми шагами пешком, с косами, вилами и всякого рода дубинками, присоединились к пугачевской армии» (Записки Рунича). Но в еще большей степени, чем рекрутским депо, взбунтовавшаяся «чернь» служила Пугачеву *ширмой*, закрывавшей движение его главных сил и рассеивавшей в то же время силы его противника. В первый период восстания такой ширмой для него служили *башкиры*. Неоднократно бунтовавшие в течение XVIII в., они «усмирялись», кажется, еще решительнее, чем заводские крестьяне. По крайней мере, автор, которого трудно заподозрить в тенденциозности по такому случаю (биограф Бибикова), приводит такие данные: после восстания 1735—1741 гг. «башкирцев побито, казнено, под караулом померло, сослано в работу, жен и детей их для поселения в России роздано, а всего числом 28 452 человека»; между тем всех башкиров автор считает 100 тыс. душ обоего пола! Нет надобности говорить, что к «успокоению» такие меры не привели—в 1754 г. башкиры «опять взбунтовали», причем на этот раз «для усмирения их побито и вывезено... до 30 тысяч». Нет ничего удивительного, что они присоединились к Пугачеву весьма охотно и дрались под его знаменами отчаянно: другим пощады не давали и сами не сдавались; в одном сражении с ними Михельсону удалось взять в плен из большого отряда только одного человека, да и то «насильно пощаженного», по образному выражению Пушкина. Помощь башкиров, народа конного, располагавшего отличными лошадьми, была особенно ценна для восставших. Разгром их Михельсоном был вторым, по тяжести, ударом для пугачевщины, после подавления тем же Михельсоном и Деколонгом заводского движения. Но на среднем и нижнем Повольжьи, куда передвинулся театр восстания летом 1774 г., для него нашлась питательная среда и завеса не

хуже прежней, в населении помещичьих имений, в военном отношении превосходно использованном пугачевцами. «По всем местам, где они проходили,—доносил Екатерине Панин в августе этого года,—и по прилежащим к ним на немалое от оного отстояние оказывается чернь, восстающая против своих начальств»; из этого «заключать можно, что злодеев главное в том и упражнение, чтобы оную (чернь), где только возможно ему собою и посланными от себя подсыльными возмутить, и когда он войска, на истребление его отраженные, за собою развлечет, то тогда обратиться ему туда, где больше будет обнажено и где он лучшие себе выгоды предвозвещать может». Один современник рассказывает, что для достижения этой цели Пугачеву достаточно было самых ничтожных средств: довольно было двум его посланным без всякой вооруженной силы явиться в какую-нибудь местность, чтобы целые волости поднялись, как один человек. Насколько далеко захватывало пугачевское влияние, покажут два-три образчика. В окрестностях города. Рязани, за несколько сот верст от места военных действий, воеводы с трудом находили лошадей для графа Панина и вынуждены были обратиться к содействию проходившего гусарского полка. Когда член «секретной комиссии» Рунич ехал из Рязани в Шацк переодетый, подводчик спрашивал его: «не к батюшке ли государю ты едешь из Москвы, и не слышно ли в ней, скоро ль наследник государь, Павел Петрович, изволит к нему здесь проехать? Мы его то-и-дело, что всякий день сюда ожидаем». Член секретной комиссии ничего не нашелся на это сказать, кроме: «молчи, брат!» «Что далее вдаюсь я в сей край, то открывается в ней черни злодеево бунтовщичье возжение,—писал оттуда же Панин,—по которому всякие оказательства подлость превращая к его выгодам, не оставила и такое дерзновение произносить, что я, как брат дядьки его императорского высочества[1], еду встречать с хлебом да солью». Это объяснение панинской экспедиции, «принудив вострепетать все жилы» в уполномоченном Екатерины, послужило для него оправданием ряда совершенных им жестокостей—«для показания, с каким хлебом и солью я против самозванца и всего его сонмища еду». Из его же собственных донесений видно, что жестокости никакого впечатления не производили: месяц спустя, ему пришлось доносить Екатерине о «холопе», который, «видя все опые казни и наказания, не ужаснулся, однакоже, на первовстретившегося дворянина напасть с ножом для ограбления его». «Во всей здешней черни из всего без изъятия весьма приметно, что дух ее наисильнейшим образом прилеплен к самозванцу изданными от его имени обольщениями на убийство своих градоначальников, дворян, на разграбление казны, соли и на не-

[1] Н. И. Панин был воспитателем Павла Петровича.

платеж десятилетний никаких податей»[1]. Как всегда, официальные донесения скорее смягчали истину, чем преувеличивали: если почитать письма московского главнокомандующего Волконского к Екатерине, можно подумать, что кроме самой невинной болтовни в Москве ничего услыхать было нельзя. А вот что пишет биограф Бибикова, отражающий в своем рассказе неофициальные впечатления той поры: «Приехав в Москву 13 того же месяца (декабря 1773 г.: речь идет об А. И. Бибикове), нашел он обширную сию столицу в страхе и унынии от язвы и бывшего возмущения[2]; настоящая гроза приводила в трепет ее жителей от новых бедствий, коих не без причины опасались, ибо *холопы и фабричные*, и вся многочисленная чернь московская, шатаясь по улицам, почти явно оказывали буйственное свое расположение и приверженность к самозванцу, который, по словам их, *несет им желаемую ими свободу*»[3]. Рабочих московских фабрик побаивалась и Екатерина; еще в июле 1774 г. она, в числе возможных планов, в сущности уже разбитого тогда, Пугачева упоминала и о таком: «прокрадывается в Москву, чтобы как-нибудь в городе в самом вдруг пакость какую ни на есть наделать сам собою, *фабричными* или барскими людьми». А для удержания на стороне правительства тульских мастеровых были приняты специальные меры: «О тульских обращениях слух есть, будто там между ружейными мастеровыми не спокойно,—писала Екатерина Волконскому.—Я ныне там заказала 90 тыс. ружей для арсенала: вот им работа года на четыре—шуметь не станут».

Горючего материала для восстания было сколько угодно, и его создавала уже не одна интенсифицированная барщина. Поднималось все, что было задавлено и обижено господствующим режимом. Для того демидовского крестьянина из села Котловки, который по «богатству имел в околотке первенство» и «назван был от злодея полковником», мотивом, побудившим к «предательству», едва ли была тяжесть заводских работ. Положение «экономических» (бывших церковных) крестьян после секуляризации церковных вотчин (в 1764 г.), несомненно, улучшилось.[4] В них, повидимому, ожидали найти элемент «порядка»; Кар вооружил их в подмогу своим войскам, но они из первых перебежали к Пугачеву. Мелкое мещанство поволжских городов с восторгом принимало инсургентов. Католический патер одной из немецких колоний на Волге рассказывал Руничу, что человек до тридцати молодых людей из колонии, «разграбив его (патера) и некоторых зажиточных жителей, ушли к Пугачеву».

---

[1] «Сборник Русск. Истор. О-ва». VI., стр. 132.

[2] В 1771 г. во время чумы в Москве был бунт, во время которого был убит архиепископ Амвросий.

[3] «Записки о жизни и службе А. И. Бибикова», Спб. 1817, стр. 277—278.

[4] См. г. *Семевского*, цит. соч., т. II, стр. 255 и сл.

Местное духовенство, до архимандритов крупных монастырей включительно, выходило на встречу Пугачеву с крестами и хоругвями, служило молебны о здравии «Петра Федоровича» и, разумеется, поминало его на ектеньях. Высшие его представители (в числе подозреваемых был ни более, ни менее, как казанский архиепископ Вениамин, насчет сношений которого с Пугачевым имелись весьма сильные улики, но дело сочли удобнее замять) действовали главным образом под влиянием страха, если не за свою жизнь, то за свое и церковное имущество: подчинением самозванцу они надеялись хоть что-нибудь спасти. Но сельское духовенство, с которым помещики обращались не лучше, нежели с крестьянами, разделяло идеологию последних, и нередки были сельские батюшки, которые «наперед к злодеям выезжали и в шайках совокупное с ним злодейство производили». В Петербурге сгоряча решили было расстричь всех, так или иначе приставших к самозванцу, но против этого должен был восстать даже такой последовательный усмиритель, как П. И. Панин. «На сей чин смею я вашему императорскому величеству представить,—писал он,—в тех здесь местах, где злодей сам проходил и в которые входили большие его отряды, *не было из оного (духовенства) почти ни одного человека*, из не случившихся быть тогда в отлучке, *который бы не встречал злодея с крестами, и не делал бы служения с произношением самозванца*». Если бы исполнить первоначальное синодское определение, пришлось бы лишить духовенства целый край и закрыть в нем все церкви. По представлению Панина ограничились поэтому извержением из сана только тех попов, которые приняли активное участие в бунте, но и таких было не мало, не меньше, чем офицеров. Невосприимчивым к заразе оказался только один класс—местные землевладельцы: не дворяне вообще, потому что поступившие на пугачевскую службу капитаны и майоры и по званию были, конечно, дворянами. Но не было, кажется, ни одного случая, чтобы во главе пугачевского отряда стоял помещик из восставшей местности. Там, где мятеж пылал ярким пламенем, все население превращалось в охотника, а помещики в травимую дичь. Одно, устным путем дошедшее от времен пугачевщины до 60-х годов прошлого века, предание рисует нам трагикомическую картину отчаяния одной крепостной деревни, барин которой был в отъезде: мужички были искренно убеждены, что если им не удастся повесить своего барина, они навеки останутся крепостными. И как они были рады, когда им удалось, наконец, приманить беглеца на родное пепелище! Но, на счастье почти уже повешенного барина, это был последний момент восстания: правительственные войска во-время успели явиться ему на выручку[1]. Местное дворянство гибло «всеродно» не хуже, чем бояре при Грозном.

[1] «Осьмнадцатый век», т. III, «Былое из пугачевщины».

ном. «В некоторых селениях злодейские убийства истребляли всех их владельцев до того, что еще неизвестно, кому они по закону достанутся», доносил Панин. По его подсчету мятежниками было казнено (преимущественно повешено) 753 помещика, а с женами и детьми 1572 человека, но он сам признает эти сведения далеко не полными. Паника, охватившая дворянство приволжских губерний, да и не их одних, была неимоверная. Казани в декабре 1773 г., когда приехал туда Бибиков, никакая непосредственная опасность еще не угрожала. Тем не менее, «многие отсюда, или, лучше сказать, бóльшая часть дворян и купцов с женами выехали,—писал Бибиков жене,—а женщины и чиновники здешние уезжали все без изъятия, иные до Кузмодемьянска, иные до Нижнего, а иные до Москвы ускакали. Сами губернаторы были в Кузмодемьянске». Но чего же было требовать от казанцев, город которых был все же в конце-концов сожжен Пугачевым (хотя только через полгода после того, как они стали приходить в трепет), когда и подмосковное дворянство вело себя не лучше. «Дворянство, собирающееся обыкновенно в Москву к празднику, съехалось тогда в великом множестве; выезжая из губерний, разоряемых разбойничьими шайками бунтовщиков (но в декабре 1773 г. «разоряема» была еще только одна Оренбургская да часть Казанской. *М. П.)* или ими угрожаемых, оставляло отеческие свои домы и искало в Москве последнего себе убежища»[1]. Кто не имел средств ехать в Москву, искали убежища в уездных городах, где помещики скопляись сотнями: в одном Шацке Рунич нашел «до 300 мужска и женска пола дворян». Когда взята была Казань, паника пошла гораздо дальше уездных помещиков. «Сего утра получили мы известие о разорении Казани, и что губернатор со всеми своими командами заперся в тамошном кремле, писал Никита Панин брату 29 июля 1772 г.—Мы тут в собрании нашего совета увидели государыню крайне пораженною, и она объявила свое намерение оставить здешнюю столицу и самой ехать для спасения Москвы и внутренности империи, требуя и настоя с великим жаром, чтобы каждый из нас сказал ей о том мнение. Безмолвие между нами было великое». Но и сама Екатерина только храбрилась: мерою ее паники может служить распоряжение, отданное ею за несколько дней перед тем,—задержать на три дня всю почту из Петербурга во внутренние губернии. По собственному признанию, она еще никогда так не терялась в своей жизни, как в эти месяцы. «Уф, тяжело, горько было, до позабычливо!» вспоминала она потом свое настроение в дни казанского разгрома. От этой растерянности самого «высшего правительства» сохранился и более объективный след, чем письма императрицы: знаменитый проект изловить Пугачева при помощи подкупа его приближен-

[1] «Записки о жизни и службе Бибикова», стр. 278.

ных,—в чем предлагал взять на себя посредничество «яицкий казак Остафий Трифонов», на самом деле, проворовавшийся ржевский купец Долгополов. История этого громадного шантажа составляет истинно комическую сцену в трагедии пугачевщины[1]. «Секретная комиссия», о которой упоминалось выше—к ней Екатерина относилась так ревниво, что попытка Панина забрать комиссию под свое ведение вызвала у нее резкую вспышку негодования,—эта «секретная комиссия» с огромными полномочиями, делавшими ее иногда соперником главнокомандующего, имела главною задачею содействовать предприятию ржевского шантажиста, своего рода провокатора навыворот, ибо он обманывал не пугачевцев, а правительство, без всякой задней политической мысли, впрочем, а просто в расчете сорвать с правительства хорошую сумму денег, что ему было и удалось в первую минуту. А о размерах панпки наверху эта история может свидетельствовать потому уже, что первым, уверовавшим в Трифонова, был Григорий Орлов—человек, вообще говоря, не легко терявшийся.

Если мы к пожару, неудержимо стелившемуся по низам, прибавим эту растерянность наверху да еще те вспышки, которые, почти не переставая, нарушали спокойствие в верхних слоях, мы поймем, что перед противником Екатерины была ситуация, благодарнее которой трудно себе представить. Мы теперь хорошо знаем, что между попытками гвардейского мятежа и мятежом уральских крестьян и яицких казаков не было ровно никакой связи, ни внешней, ни внутренней. Но современникам дело представлялось иначе: Еще Рунич, писавший в двадцатых годах XIX в., находил нужным связывать яицкое восстание с известиями «о ссылке в Сибирь некоторых лейб-гвардии офицеров». А для Екатерины связь между петербургскими «замыслами» и появлением самозванца казалась, повидимому, сама собою разумеющейся: и нет ничего страннее, как видеть в ее переписке наряду с полным игнорированием социальной стороны движения пристальный интерес, с которым она подхватывала такие мелочи как присутствие в пугачевском лагере голштинского знамени, например. Для человека, чувствовавшего себя твердо на престоле,—как обычно представляют себе Екатерину этого времени,—такое поведение могло бы служить, действительно, доказательством невероятной мелочности и ограниченности. Но не принадлежа к числу гениальных администраторов, Екатерина все же не принадлежала и к числу ограниченных людей. Просто, она была более трезвого мнения о себе, чем большинство ее историков. Она знала, что в России XVIII в. так же легко было взойти на престол, как и потерять его, особенно когда соперник был налицо. С этой точки зрения выдающийся интерес представ-

[1] Подробно рассказана Руничем в его записках—«Русская Старина», т. II.

ляют донесения иностранных дипломатов из Петербурга зимою 1773—1774 гг.: известия об успехах пугачевщины систематически переплетаются в них с новостями о несогласиях в царской семье; то Павел, рассказывают, сделал матери сильную сцену, обвиняя своего обер-гофмаршала, Салтыкова, в постоянном шпионстве за ним, Павлом; то Екатерина требует сына к ответу по поводу какой-то неосторожно подписанной им бумаги, попавшей в руки уже действительного екатерининского шпиона, причем английский посланник «из безусловно авторитетного источника» располагает сведениями, что речь шла ни более, ни менее, как о том, чтобы заставить императрицу поделиться властью с Павлом. Все это—сплетни, но для психологии тех, кто руководил борьбой с пугачевщиной, они не менее характерны, нежели уверенность того же английского посланника в том, что движениями пугачевской армии руководят трое сосланных гвардейских офицеров[1]. Пугачев не только объективно был грознее, что можно думать, потому что его военная сила на первых порах ни качественно, ни количественно не уступала силе правительства: субъективно он казался еще страшнее, нежели был на самом деле. Как это ни странно, беглый донской казак действительно мог бы явиться соперником «северной Семирамиды», но при одном условии: чтобы он сам имел хотя бы приблизительное представление о своем политическом положении и возможных для него политических перспективах. Ни следа этого мы не подметим ни у него, ни у его окружавших: они с начала и до конца оставались восставшими яицкими казаками, беглыми солдатами или каторжниками,—словом, тем, чем они были до своего превращения в «генералов» и «полковников». Воплощением государства для них было то единственное государственное учреждение, которое так много значило в их судьбе,—*военная коллегия*. Первое, что они поспешили сделать, это создать свою собственную военную коллегию, наделив ее членов для большего сходства даже именами генералов, заседавших в коллегии настоящей—начиная с президента, гр. Чернышева (им стал Зарубин-Чика, правая рука Пугачева в военных делах). Затем они порекомендовали всем верноподданным Петра Федоровича казацкий строй как идеал и образчик: «награждаем вольностью и свободою и *вечно казаками*,—говорили пугачевские манифесты,—не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными сенокосными угодьями и *рыбными ловлями и солеными озерами*

[1] См. донесения сэра Роберта Гункинга. Сборник Русск. истор. О-ва XIX, стр. 393— 401 и др. Впрочем, английский дипломат сумел схватить и действительно серьезные причины пугачевских успехов: «большое количество медных пушек, отлитых на казенных литейных заводах, достались в руки мятежников,—говорит он,—разрушивших несколько железных заводов, в том числе один из заводов Демидова, крепостные и крестьяне которых присоединились к бунтовщикам».

без покупки и без оброку»,—словом, не требуя ничего, что так досаждало яицким казакам и из-за чего они бунтовали уже десять лет. Большего блаженства для кого бы то ни было пугачевцы представить себе не могли, и мы очень ошиблись бы, если бы приняли их манифесты за провозглашение *земли и воли*, хотя бы в самой примитивной форме: если понимать пугачевские воззвания буквально, они не шли дальше превращения помещичьих крестьян в казенных. «Жалуем... всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков быть *верноподданными рабами собственно нашей короны*», писал «Петр III». А так как на практике и рекрутчина и, денежные поборы продолжали существовать и в пугачевском царстве, притом едва ли не в усиленном виде сравнительно с тем, что было раньше (относительно рекрутчины это несомненно), то от всех обещаний в руках крестьян оставалось одно: право истреблять помещиков,—«коп прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать». Крестьяне пользовались этим правом как только могли широко—мы это видели. Но свести всю революцию к истреблению дворян, при сохранении во всем прочем старого порядка, это могло повести лишь к одному результату: заставить дворянство сплотиться и сорганизоваться так, как оно никогда не было сплочено и сорганизовано раньше. Пугачевская стратегия, испорченная тою же политической близорукостью, как и пугачевская агитация, давала им к тому же достаточно для этого времени.

После поражения Кара (в ноябре 1773 г.) самое естественное в положении Пугачева было двинуться на запад, на Казань и Москву, по следам отступавших правительственных войск. Ожидание этого совершенно естественного события и вызвало ту пашку и в Казани, и в самой Москве, о которой мы говорили выше. Но как военная коллегия для казаков была воплощением государства, так центром всякой власти для них был Оренбург, откуда появлялись все громившие и поровшие Яик генералы. Одержав блестящую победу в поле, Пугачев поворачивает назад и почти на полгода (до марта 1774 г.) застревает под Оренбургом. Эта была не столько стратегическая ошибка, как думают военные историки пугачевщины, сколько именно политическая. Стратегически, если рассматривать восстание как местное, уральское, дело, в попытке овладеть Оренбургом не было ничего нелепого: нельзя было считать себя хозяином на Урале, пока в самой середине его сидел екатерининский гарнизон, который при первой же удаче легко мог перейти от обороны снова к наступлению. Но Пугачев мог стать хозяином не на Урале, а во всей восточной половине России по крайней мере: этого гораздо легче было достигнуть в Казани или Нижнем, но и эта цель и средства к ней лежали вне пугачевского кругозора. Благодаря

этому в руках его противника оказался страшный перевес—тот *выиграл время*, которое Пугачев потерял. Сорвав зло на Каре—больше за собственное легкомыслие, потому что Кар сделал все, что при его средствах можно было сделать, Екатерина поспешила заменить его крупнейшим полицейским талантом, какой имелся в ее распоряжении, в лице А. И. Бибикова. Бывший «маршал» комиссии 1767 г. систематически употреблялся для поручений наиболее «деликатного» свойства, были ли это переговоры с семьей низверженного Ивана Антоновича или приведение в порядок занятых русскими войсками польских областей, с бунтами на восточной окраине он был притом знаком уже практически: в 1764 г., после назначения Вяземского генерал-прокурором, он доканчивал усмирение заводского восстания на Урале. По уверению его биографа, Бибиков действовал исключительно кроткими мерами: «более уверением общего прощения, даруемого монаршим милосердием», и быстро достиг «успокоения»: новейшие историки находят его расправу более свирепою, чем меры, практиковавшиеся его предшественником, и утверждают, кроме того, что «успокаивать» ему было уже некого, ибо восстание было окончательно подавлено Вяземским[1]. Как бы то ни было, он знал Урал и правильно ценил его значение в пугачевщине. Психологически вынужденный, ввиду настроения дворянства, двинуть главные силы к Оренбургу, закрывая дорогу на Казань и Москву, Бибиков все остальное, что было в его распоряжении, двинул на Уфу, для уничтожения пугачевской базы, что Михельсону и удалось выполнить довольно удовлетворительно,—настолько, что Пугачев после своего разгрома удержаться на уральских заводах не мог. Разгром был неизбежен: за время стояния Пугачева под Оренбургом правительству удалось стянуть на восток силы, далеко превышавшие боеспособную часть инсуррекционной армии. В марте 1774 г. в главных пугачевских силах считалось около 3 тыс. регулярных солдат при 35 орудиях,—у Бибикова же было тысяч до десяти: притом последний шел вперед, а Пугачев вынужден был обороняться—психологический перевес был уже не на его стороне. Что восставшие оборонялись все-таки отчаянно, показывают крупные потери отряда Голицына в главном деле (под Татищевой, 22 марта); до 500 убитых и рененых. Зато и у Пугачева легли здесь лучшие силы, и с той поры его армия все более и более носит характер импровизации—кое-как вооруженные крестьяне, толпа, бравшая количеством, а не качеством, начинает играть в ней все бóльшую и бóльшую роль. Попытка разбитого Пугачева опереться на уральское крестьянство (тотчас после разгрома под Татищевой он бросился на знакомый нам Авзяно-Петровский завод), благодаря предусмотрительности Бибикова, тоже ни к чему не привела: движение пугачевской армии по Уралу было,

[1] См. назв. соч., *Семевского*, т. II, стр. 360.

в сущности, бегством, более или менее удачным, перед лицом правительственных отрядов, которые на этот раз всюду оказывались сильнее ее. И только теперь, по необходимости, Пугачев делает то, что давно подсказывал элементарный политический и стратегический расчет,—пытается прорваться в Поволжье и поднять сплошное крестьянское восстание в восточных губерниях. Этого больше всего боялся Бибиков: «Можно ли от *домашнего* врага довольно охраниться?» писал он в начале своего похода, когда ему казалось, что все идет «к измене, злодейству и к бунту на скопищах». Победа под Татищевой и успехи Михельсона на Урале успокоили его—и он умер, 9 апреля, не дождавшись того, чего так боялся. Его смерть, которой современники придавали такое огромное значение, ничего не могла переменить,—Пугачев уже был разбит и вниз по Волге, в сущности, так же *бежал*, как раньше вдоль уральского хребта. Что и эта агония пугачевщины была еще так страшна,—если судить по дворянской панике, это время можно принять за самый грозный период пугачевщины,—показывает только, на какие результаты могло бы рассчитывать восстание, будь оно с самого начала перенесено к западу от Волги. Преемнику Бибикова, Петру Панину, в распоряжении которого было уже столько войска, что «едва ли не страшна такая армия и соседям была», по словам Екатерины, оставалось только терпеливо дожидаться естественного конца всего дела. Он так и поступал, коротая время, от скуки, охотой. И уже, конечно, не энергии этого генерала, две недели собиравшегося выехать из Москвы, постоянно жаловавшегося, что ему «подагрический припадок пал на кишки» и принимавшего приезжавших к нему с докладами офицеров «в светлосером шелковом шлафроке и большом французском колпаке с розовыми лентами»,—не этой слишком штатской фигуре Екатерина была обязана прекращением бунта. Индивидуальный вклад Панина в дело усмирения выразился в поставленных им около бунтовавших деревень «виселицах колесах и глаголях», о чем он с гордостью доносил императрице, подчеркивая, что эта мудрая мера принята по его «повелениям». На этих виселицах и колесах велено было казнить «злодеев и преступников подлого состояния»—«не останавливаясь за изданными об удержании над преступниками смертной казни всемилостивейшими указами как покойною в бозе почивающею государынею императрицею Елисавет Петровною, так и ныне владеющею над нами нашею всемилостивейшею самодержицею». Так впервые в нашей истории Петром Ивановичем Паниным было дано авторитетное разъяснение, что политических преступников указы об отмене смертной казни не касаются. Панин готов был бы и дальше итти, он было издал «повеление», чтобы в случае повторного бунта «казнить всех без изъятия возрастных мужиков мучительнейшими смертями», но и тут его остановила Екатерина. Все-таки она переписывалась

с Вольтером, и ее подобная откровенность могла поставить в неловкое положение.

Но в участии Панина как «усмирителя» пугачевщины была еще одна сторона,—если так можно выразиться, символическая. Панин был главой будировавшего из-за недостатков екатерининского «монаршизма» дворянства. В донесениях московского главнокомандующего Волконского это «большой болтун», а в письмах самой Екатерины,—«первый враль и мне персональный оскорбитель». Что оскорбитель и оскорбляемая сошлись теперь за общим делом, это было глубоко знаменательно. Комиссия 1767 г. едва не поссорила Екатерину и ее дворянство, пугачевщина опять их сблизила, и на этот раз неразрывно. Этот новый и прочный мир нашел себе и еще более яркое символическое выражение, нежели назначение Панина главнокомандующим против Пугачева. Когда зашла речь об организации на местах дворянского ополчения для борьбы с пугачевщиной, Екатерина по дворцовым имениям Казанской губернии местная землевладелица приняла живое участие в деле, и в письме, которым сопровождалось ее пожертвование на «милицию», назвала себя казанской «помещицей». Нужно видеть, какой взрыв холопского умиления вызвало это маленькое слово в сердцах казанских дворян, чувствовавших себя такими жалкими и покинутыми перед лицом надвигавшейся пугачевщины. «Что ты с нами делаешь?—вопияли дворяне в ответном письме:—в трех частях света владычество имеющая, славимая в концах земных, честь царей, украшение корон, из боголепия величества своего, из сияния славы своея снисходишь, и именуешься нашею казанскою помещицей! О, радости для нас неизглаголанной, о щастия для нас неокончаемого, Се прямо путь к сердцам нашим!» Перед чрезвычайно демократической практикой мужицкого бунта где уж тут было хлопотать о «доведении до конца» аристократического «монаршизма» Духа законов.

6. Централизация крепостного режима.

Одним из основных условий русского феодализма XVIII в., как он сложился к шестидесятым годам, была *слабость центральной власти*. Государю-помещику в его вотчине редко была нужна эта власть: он справлялся собственными средствами. А с тем, что превышало эти средства, должно было справляться местное дворянское общество через своих выборных агентов: таков был идеал дворянских наказов 1767 г. Мы не встретим в них жалоб на то, что в провинции мало правительственных чиновников: бюрократическая централизация прочно связалась в воспоминаниях дворянства с реформой Петра, а эту реформу дворяне вспоминали без большого удовольствия: официальные восторги по ее поводу не должны нас обманывать. Если Петр часто цитируется в тогдашней дворянской литературе, то боль-

шею частью для того, чтобы приписать ему то, чего он не делал и что—как выборные дворянские ландраты, например—шло вразрез с основными тенденциями петровской политики в дни ее расцвета. Это был удобный и приличный повод легализировать дворянские чаяния, когда они казались самим дворянам немного смелыми для настоящего момента—нечто вроде тех цензурных вставок, какие делал Монтескье в своих немного скользских рассуждениях о «посредствующих властях». В действительности дворяне желали бы, чтобы между дворянскими выборными органами и общегосударственным центром не было никаких промежуточных звеньев, а этот центр рисовался им в образе сената, где заседают такие же дворяне-помещики. До пугачевщины этого казалось совершенно достаточно—пугачевское восстание заставило пересмотреть вопрос. «Внутреннее бывшее беспокойство», писал Екатерине с места усмирения не кто другой, как Петр Панин, недавний «большой болтун» и вождь дворянской оппозиции, «...для управления таковых (отдаленных от первопрестольных надзираний) народов и стран открыло *потребности в умножении над ними более правительств* и присутственных полицейских надзирателей, нежели доныне оных есть». «Мудрая императрица Екатерина II,—говорит в своих записках знакомый нам член «секретной комиссии» Рунич,—по случаю возникшего в низовом краю России возмущения извлекла все опыты из внутреннего тогдашнего управления губерний и воеводств и со сродным ей благоразумием усмотреть соизволила, что в таком обширном государстве, какова российская монархия, разделенная на 12 только губерний, необходимо требует нового постановления,—*чтобы они (губернии) в пределах своих были не столь обширны*, что и сделано по усмирении в низовом краю пугачевского бунта...» Низший персонал новых губерний, в несколько раз «умноживших» местные «правительства», рекрутировался, как мы знаем, все из того же дворянства: этим были удовлетворены в минимальной мере требования 1767 г. Но над низшей дворянской администрацией были поставлены агенты центральной власти с чрезвычайными полномочиями в лице наместников, которые обращались к дворянскому обществу с высоты императорского трона, нарочито поставленного в залах дворянских собраний, «яко частные цари под начальством единой великой самовластной своей царицы, коей одной обязаны они были ответствовать». Это отнюдь не была только декоративная должность, как часто думают; выборная дворянская администрация скоро это почувствовала. «По прошествии некоторых лет,—говорит тот же автор,—начали изменяться, упадать и терять цену дворянские выборы, ибо некоторые из государевых наместников допустили вкрасться при своих так сказать дворах пристрастию фаворитов и фавориток, по внушению коих на новые трехлетия при выборах начали избирать дворян как в предводители, так и в присутствен-

ные места качеств низких, услужливых прихотям фавора... почему многие добрых качеств дворяне, видя, что в собраниях для выбора зарождаются пристрастия и выгоды... начали удаляться от выборов и решительно оставили по губерниям службу[1]

«Двор» екатерининского наместника с его «фаворитами и фаворитками» был такою же точной копией центрального петербургского двора, как трон в зале губернского дворянского собрания—копией настоящего царского трона. И далеко не случайно в самый разгар пугачевщины вся Россия получила «государева наместника» очень своеобразного типа в лице Потемкина. На «великолепного князя Тавриды» (иные еще называли его «князем тьмы») долго смотрели у нас как на «фаворита» в тесном смысле этого слова, как на человека, лично близкого императрице, а потому и пользовавшегося по личному доверию «всею полнотою власти самодержавной». С этой точки зрения он конечно легко находил себе предшественников в Бироне, Разумовском, Шувалове, Орлове. Но уж современники должны были заметить, что между этими последними и Потемкиным было существенное различие: у тех власть (если они ею обладали, как Бирон или Орлов) и «случай», были тесно связаны,—прекращался «случай» и они становились частными людьми, иногда с богатством и внешним почетом, иногда без всего этого, но всегда без всякого политического значения. Когда кончился «случай» Потемника, когда появился новый фаворит (Завадовский) все были убеждены, что и роль прежнего фаворита сыграна: но, доносил своему начальству австрийский посол, «князь Потемкин к общему удивлению сохраняет авторитет, трудно соединимый с его теперешним положением, и по крайней мере по наружности совсем не похож на попавшего в немилость фаворита, хотя несомненно он более фаворитом не состоит»... С тех пор сменилось еще несколько фаворитов, а Потемкин все оставался при старом значении и влиянии, причем это влияние распространилось даже и на выбор его по внешнему виду заместителей[2]. Размеры же этого влияния были совершенно ни с чем предыдущим не сравнимы: ни один из его предшественников, даже Бирон, не занимал положения такого всевластного первого министра, настоящего великого визиря каким был князь Таврический, притом с первых же дней своего фавора. «Граф Потемкин имеет такое влияние на императрицу, что во внутренних делах все от него зависит»,—писал тот же австрийский посол в 1775 г., а через несколько месяцев он был очень

[1] «Записки» *П. С. Рунича*—«Русская старина», т. II.

[2] Процедура «отбора» Потемкиным предметов временного удовольствия его повелительницы обстоятельно описана его бывшим камердинером, который впрочем сам называет себя «частным секретарем». См. «St. Iean «Lebensbeschreibung des Fürsten Gr. Al. Potemkin», Karlsruhe 1888 (с Рукописи начала XIX в.). Это уже в полной мере «лакейские сплетни», но как раз такие интимности лакеи знают всего лучше...

рад, когда один его приятель доставил ему частную аудиенцию у того же Потемкина, притом посол мог убедиться, что и по иностранным делам тоже «все от него зависит». В марте 1774 г. Потемкин сделался генерал-адъютантом императрицы (звание, в екатерининскую эпоху, имевшее совершенно определенное значение—и Орлов, и Зубов, и все меньшие боги екатерининского Олимпа были генерал-адъютантами),а уже в апреле лондонскому кабинету доносили: «весь образ действий фаворита свидетельствует о совершенной его уверенности в прочности своего положения. Действительно, принимая в расчет время, которое продолжается его фавор, он достиг далеко большей степени власти, чем кто либо из его предшественников»... «Хотя нигде любимцы не возвышаются так внезапно, как в этом государстве однако даже здесь еще не было примера столь быстрого усиления власти, какого достигает настоящий любимец. Вчера к удивлению большей части членов генералу Потемкину повелено заседать в тайном совете». «В действительности он был гораздо больше, чем рядовым членом тайного совета: наиболее «тайное» изо всех тогдашних дел, усмирение пугачевского мятежа, всецело было отдано в его руки. Самые секретные донесения Екатерине с мест доставлялись прямо ему, и он имел право их вскрывать[1]. Гордый и непреклонный Никита Панин вступал с ним в частные интимные разговоры по поводу назначения главнокомандующим против Пугачева Петра Панина. Повидимому вначале Н. Панин тешил себя надеждой, что ему удастся забрать в руки «неопытного» нового фаворита: когда же окончательно убедился, что тот «ничего не внемлет или внимать не хочет, а все решает дерзостию своего ума», то заскучал и стал говорить об отставке. Предметом многочисленных «милостей», сыпавшихся, как из рога изобилия, бывали и другие: в быстрой карьере Потемкина характерно именно сосредоточение в его руках реальной власти. По части «милостей» он не очень опережал других и графом например сделался слишком полгода спустя после начала своего «случая». Зато в первые же его месяцы он стал подполковником Преображенского полка (полковником была сама императрица) и вице-президентом, а фактически президентом военный коллегии: только нежелание всегда тактичной Екатерины обижать старших генералов армии мешало ей подчинить Потемкину формально все русское войско; и без того Румянцев чувствовал себя жестоко обиженным, получая распоряжения из рук человека, еще недавно сражавшегося под его начальством в скромном качестве «волонтера». Но на деле Потемкин все же был главнокомандующим и характерно, что его фавор начал бледнеть с той самой поры, когда вторая турецкая война показала совершенное ничтожество его как полководца. Только тогда один из временных фаворитов, Платон

[1] См. «Записки» *Рунича*, стр. 157.

Зубов, начинает выдвигаться на место постоянного. И точно так же не менее характерно то, что одним из первых, кого Екатерина нашла нужным известить о пожаловании Потемкина генерал-адьютантом и преображенским подполковником, был усмирявший пугачевщину Бибиков: обер-полицеймейстер, работавший на месте, должен был знать, кто в России новый генерал полицеймейстер. Суть была не в том, что Бибиков «любил» Потемкина: почти игривая форма, в которой старый и верный слуга был извещен о появлении нового фаворита (письмо Екатерины от 7 и 15 марта 1774 г., таким резким пятном выделяющееся на общем мрачном фоне тогдашней ее переписки), была одним из проявлений все той же тактичности. Пилюлю нужно было подсахарить...

Только в самое последнее время русская историческая литература начинает делать попытки взглянуть на «князя тьмы» не как на типического представителя фаворитизма XVIII в., а как на выразителя новой политики Екатерины II, так не похожей на времена, когда эта государыня с трогательной добросовестностью конспектировала Монтескье[1]. Как реагировало на эту новую, после-пугачевскую, политику общественное мнение дворянской России, это в необычайно яркой форме выразил лидер дворянской публицистики, кн. Щербатов. Но прежде чем перейти к этому плачу на развалинах русского «монаршизма» нельзя не сказать два слова о новых струнах совсем иного рода, какие начинают теперь звучать в екатерининской политике, подготовляя следующее царствование. Пугачевщина заставила не только поставить у центра всех дел «человека с кулаком», всеми ненавидимого («вся нация—писал ровно через два года после назначения Потемника генерал-адаютантом австрийский посланник,—которая его ненавидит, ничего так сильно не желает, как его падения»,—мы сейчас увидим, кто это «вся нация»), но умеющего всех подчинить своей волей. Она напомнила о том, что в известную минуту, и как раз самую критическую, кулак может бессильно повиснуть в воздухе. *Военные реформы Потемкина* чрезвычайно выразительны. Уже одно стремление организовать войско из *инородцев* —албанцев, волохов, болгар, даже кабардинцев, и так неприятно напомнивших о себе во время пугачевщины башкир—не покажется случайностью тому, кто вспоминит, как вели себя русские войска в дни Пугачева. Иноземные наемники—любимое прибежище всякого деспотизма XVIII в. Но это конечно мелочь на общем фоне потемкинских преобразований. Они вовсе не ограничивались одним введением рациональной формы обмундирования (заимст-

[1] К числу этих попыток принадлежит небольшой очерк, помещенный в «Русском биографическом словаре», составленный г. *Ловягиным*. Его портит только явное стремление подчеркнуть «положительные» результаты потемкинского управления. Значение Потемкина конечно не в этом.

ванной впрочем отчасти у австрийцев). Сущность дела хорошо объясняет одно распоряжение Потемкина[1]: «а офицерам гласно объявите, *чтоб с людьми обходились со всевозможной умеренностью*, старались бы об их выгодах, в наказаниях не преступали бы положенных, были бы с ними так, как я, ибо я люблю их как детей». Положение солдата вообще стремились облегчить для того, чтобы сделать его более надежным, если опять понадобится встретиться с «домашним врагом». Но и самого домашнего врага старались приручить, насколько возможно. Мы видели,— какую поддержку Пугачевщине оказывали раскольники. «Время улучшения раскольников при Екатерине II совпадает с порою усилений влияний Потемкина», говорит новейший биограф последнего. В Таврической губернии старообрядчество терпелось на равных правах с остальными неправославными исповеданиями. Из одной резолюции Екатерины на доклад Потемкина видно, что он предполагал распространить это местное распоряжение на всю Россию, организовав старообрядческую церковь на началах, напоминающих позднейшее «единоверие». Екатерина нашла это слишком рискованным: «сей пункт поныне избегаем был всеми, и по сю пору о сем никто, а наппаче цуховный чин, слышать не хотел». Она посоветовала без огласки улучшить положение раскольников путем частных соглашений с духовной властью. Всего труднее было приручить главную разновидность «домашнего врага»—крепостных крестьян; но и тут Потемкин оставил по себе весьма характерный след, предписав уже совершенно секретно не выдавать помещикам беглых, которые найдут убежище в подчиненной непосредственно ему Новороссии.

Этим распоряжением Потемкин конечно гораздо больше помог колонизации Новороссии, нежели постройкой своих городов—которая к «колонизации» собственно может быть отнесена лишь по недоразумению, потому что населены они были исключительно солдатами, чиновниками и иными казенными людьми—или выпиской заграничных колонистов, по показанию очевидцев частенько умиравших голодной смертью, ибо выдав им грошевое пособие, потемкинская администрация бросала их на произвол судьбы. Что злоупотребления этой администрации были колоссальны, как всякой администрации крепостного типа, об этом не может быть спора. Но это были именно недостатки, свойственные *всякой* тогдашней администрации: когда же приходится перечислять индивидуальные грехи человека, которого ненавидела «вся нация», злейшие обвинители теряются и не знают, что сказать. Щербатов готов приписать Потемкину «все знаемые в свете пороки», которыми тот будто бы не только «сам был преисполнен, но и преисполнял окружающих его»: но видим мы воочию только любовь хорошо покушать,

[1] Цитируемое г. Ловягиным.

да грубое обращение с придворными лакеями высшего ранга. «Неосторожность обер-гофмаршала, князя Николая Михайловича Голицына не приготовить ему какого-либо любимого блюда подвергла его подлому ругательству от Потемкина и принудила итти в отставку»: вот и все доказательства «всех знаемых в свете пороков» Потемкина, какие можно найти в широкой картине «повреждения нравов в России». Для человека, задавшегося специальной целью обличать,—жатва не богатая. Не много находит прибавить сюда и другой обличитель Потемкина, представляющий собою противоположный полюс Щербатову. St. Jean рассказывает например не без пафоса, как самые знатные люди в том числе губернаторы и наместники в полной парадной форме и во всех орденах съезжались за сотни верст навстречу проезжавшему по их губернии Потемкину, а он сплошь и рядом не удостоивал даже выйти из своего крытого возка, где спал или читал, так что собравшейся высокопоставленной публике оставалось только раскланиваться с лакеями и лошадьми князя. Вольно им было кланяться, скажет новейший читатель: чем же виноват Потемкин, что екатерининские наместники, гордые сатрапы перед местным населением, так подло холопствовали перед центральной властью? И наконец Державин, который, как и все дворяне его времени, не прочь привести образчик «пороков» князя Таврического, в качестве самого эффектного номера рассказывает, как тот разрешил купить населенное имение еврею. По нравам XVIII в. когда у всех свежо было в памяти поголовное изгнание евреев из империи Елизаветой Петровной, это был конечно случай резкий: но где же опять-таки тут все «знаемые в свете пороки»? Если при этом и были закрепощены свободные люди—как рассказывает Державин, этому впрочем менее придающий значения, чем национальности покупщика,—то разве вся политика Екатерины в Малороссии не сводилась к закрепощению уцелевших еще остатков свободного населения?

В лице князя Потемкина «вся нация», т. е. все благородное российское дворянство, ненавидела *режим*, а человеку доставалось лишь за то, что он был первым воплощением этого режима, хотя лично он был не хуже и не лучше других. Когда Щербатов почти в симпатичных тонах рисует первого фаворита Екатерины, Григория Орлова, сравнивая его с последующим, он вспоминает добром первую, до-пугачевскую, половину царствования—весну дворянского «монаршизма». «Домашний враг» безжалостной рукой разрушил иллюзии своих господ, и полторы тысячи повешенных помещиков заставили их уцелевших собратьев позабыть всякие мечтания о «властях средних». Приходилось брать то, что центральной власти угодно было уступить, да еще и за это благодарить и славословить. «Испекли законы, правами дворянскими и городовыми названные,—иронизирует Щербатов,—которые более лишение, нежели дание прав себе вмещают и вообще делают отягощение народу». Но, поневоле

идя под ярмо, кляли его,—и тот же Щербатов умел придать этим проклятиям общую форму, не привязываясь к «порокам» отдельных «властителей». «Я охуляю самый состав нашего правительства,—говорит он в своей предсмертной записке,—называя его совершенно самовластным и таким, где хотя есть писанные законы, но они власти государевой и силе вельмож уступают, где состояние каждого подданного основавывается не на защищении законов, не от собственного его поведения зависит, но от мановения злостного вельможи». «Надлежало бы мне теперя говорить о правительствах; но как у нас *по самому непомерному деспотичеству* не законы действуют в правительствах, но преклонение двора и воля вельмож, то прежде и должно о сих говорить». Настроение настолько сродни и недавнему поколению, что нельзя кажется читать эти строки без живого сочувствия; но взгляните на конкретные образчики «непомерного деспотичества». «Охуляю я подчинение губернских прелводителей под власть наместников, яко разрушающее преграду власти наместников над дворянами... Охуляю я учреждение нижних и верхних расправ, где *несмышленные и упрямые крестьяне заседают* с отнятием их от земледелия и с повреждением их нравов; от коих и другие повреждаются... Охуляю я дворянское право в самом его порядке и расположении книг; позволение девкам благородным выходить в замужество и за низшего состояния людей с сохранением своего права, от чего нравы повреждаются и смешиваются состояния; вмещение в разные классы дворянства всяких чинов людей, чрез что самое сословие дворянское уподляется»... Это не все, что «охуляет» старый «монархист» в своей предсмертной речи к тем, кто заставил согнуться его гордую голову (он «отстал от двора», по его словам, в 1777 г.—как раз в начале потемкинского режима): во многих своих «охулениях» он опять оказался бы понятен и людям иного миросозрецания.—когда он нападает например на «чинимые наказания по уголовным преступлениям, производящие мучительную смерть» или на «писание законов самою монархинею, писанных во мраке ее кабинета, когда она хочет исполнить то, что невозможно, и уврачевать то, чего не знает». Но это—общие места, годные для многих мест и разных эпох: индивидуальность вносит в них то, что отражает интересы класса, представителем которого не только в комиссии 1767 г. был кн. Щербатов, и ту перемену, которую этот класс пережил на склоне царствования Екатерины.

Как личность Потемкина не играла никакой особенной роли в этой перемене, так и его смерть ничего не могла изменить в установившемся режиме. Зубов по общему признанию был не умен, и если мог с некоторым внешним приличием играть роль «государственного человека», то лишь благодаря своей чудовищной памяти, позволявшей ему ошеломлять случайного собеседника массой технических терминов и мелких подробностей:

это создавало иллюзию, что он «все знает». Люди, имевшие более частое обхождение с последним фаворитом Екатерины, уверяли что он почерпал свою мудрость главным образом из проектов, доставшихся ему в наследство от Потемкина, почему бывший секретарь последнего, Попов, играл вначале первую роль и при Зубове, пока тот не счел, что достаточно усвоил себе уже суть потемкинской политики. К оригинальным продуктам политического творчества Зубова принадлежал повидимому—хотя бы отчасти—бесстыдный грабеж, известный под именем «третьего раздела Польши». По крайней мере сам он любил этим хвастаться, —и если держаться правила: is fecit cui prodest, придется признать за ним некоторое на это право, так как все богатства Зубова и его приближенных составились из имений, конфискованных у польских помещиков, обнаруживших недостаточную преданность... России. Но награждать русских слуг нового режима землями, отобранными у поляков, давно вошло в обычай: еще усмирители пугачевщины получили имения в Белоруссии, по первому разделу доставшейся России как раз около этого времени. Большая часть потемкинских владений была там же, и оттуда же бралось приданое для большинства мелких екатерининских фаворитов. И тут Зубов нашел уже таким образом традицию, которой оставалось только следовать. Во всяком случае распоряжался огромным земельным фондом, доставшимся русскому правительству благодаря разделу, именно он. «Раскаявшиеся» польские помещики, расчитывавшие получить обратно хоть часть ограбленного у них достояния, прибегали не к кому другому,как к Зубову. Таким путем Понятовский, племянник последнего польского короля, получил 30 тыс. душ крестьян «за то, что ежеминутно называл Зубова высочеством и светлостью». Нужно прибавить, что польский принц только следовал в данном случае установившемуся в после-потемкинской России этикету, который позволял итти и далее: по словам того же свидетеля, «старый генерал Мелиссино, принимая однажды из рук Зубова владимирскую ленту, поцеловал у него руку». Одно такое паломничество польских помещиков в Петербург сохранило для нас любопытную картинку русских придворных нравов 1790-х гг. «Каждый день,—рассказывает в своих записках князь Чарторыйский, которого родители прислали в Петербург спасать семейное достояние,—у Зубова был un lever (утренний туалет короля, по французской придворной терминологии) в точном смысле этого слова. Огромная толпа просителей и придворных всякого ранга стекалась присутствовать при его туалете. Улица была заставлена каретами шестерком и четверком, совершенно как перед театром. Иногда после долгого ожидания толпу предупреждали, что граф сегодня не выйдет, и все расходились, говоря друг другу: «до завтра». В противном случае двери распахивались настежь, и в них бросались, тесня и толкая друг друга, полные генералы, кавалеры различ-

ных орденов в звездах и лентах, черкесы—до купцов с длинными бородами включительно. В числе челобитчиков иногда было много поляков, приезжавших хлопотать о возвращении их имений или жаловаться на какую-нибудь несправедливость». «Самое торжество происходило следующим образом: раскрывались обе половинки дверей. Зубов входил, волоча ноги, в халате, почти неодетый; легким наклонением головы он приветствовал челобитчиков и придворных, в почтительных позах стоявших кругом, и принимался за свой туалет. К нему приближались камердинеры, взбивали ему волосы и пудрили их. Тем временем прибывали новые просители; их также удостаивали легкого движения головы, когда граф замечал кого-нибудь из них; все с напряженным вниманием ловили его взгляд. Мы были из тех, кого всегда встречали милостивой улыбкой. Все оставались на ногах, и никто не осмеливался произнести слова. Это была как мы мимическая сцена: красноречивым молчанием каждый стремился обратить внимание всемогущего фаворита на свое дело. Никто, повторяю, не открывал рта, разве что граф сам обращался к кому-нибудь—при этом никогда по поводу просьбы. Часто он не произносил ни одного слова, и я не помню, чтобы он предлагал сесть кому бы то ни было за исключением фельдмаршала Салтыкова, который был первым лицом при дворе и, как говорят, сделал фортуну Зубовых; благодаря его посредничеству граф Платон наследовал Мамонову. Деспотический проконсул Тутолмин, перед которым все трепетало в эту эпоху в Подолии и на Волыни, приглашенный сесть, не осмелился сделать этого, как следует: он лишь присел на кончик стула, и то только на один момент»[1].

Двадцать лет потемкинского режима так вымуштровали русского дворянина, что казалось самая пылкая фантазия не в силах была бы представить себе этого последнего революционером и политическим заговорщиком. И, однако же такое чудо совершилось всего через несколько лет после описанной кн. Чарторыйским сцены. Виновником чуда был Павел Петрович. Он натянул струну до последней степени, и на нем режим временно оборвался, чтобы, очень скоро, даже не целое поколение спустя, возродиться вновь в лице Аракчеева и Николая Павловича.

Оригинальности мало было и в Павловом царствовании. Основная пружина, выдвинувшая в свое время Потемкина, продолжала действовать и при Павле. Рассказав, как Павел десятками тысяч раздавал своим приближенным казенных крестьян (по случаю коронации в 1797 г. роздано было более 82 тыс. душ), адмирал Шишков дал этому факту такое объяснение: «Причиною сей раздачи деревень, сказывают, был больше страх, нежели щедрость. Павел Первый, напуганный может быть

[1] Czartoryski, «Mêmoires», I, pp. 56—59.

примером Пугачева, думал раздачею казенных крестьян дворянам уменьшить опасность от народных смятений. *Сия можно сказать несчастная боязнь часто тревожила сердце сего монарха* и была причиною тех излишних осторожностей и непомерных строгостей, какими, муча других, и сам он беспрестанно мучился,и которые вместо погашения мнимых искр возмущения действительно порождали их и воспламеняли». Правдоподобность этого объяснения вполне подтверждается словами самого Павла: «по-моему лучше бы и всех казенных крестьян раздать помещикам. Живя в Гатчине, я насмотрелся на их управление; помещики лучше заботятся о своих крестьянах, *у них своя отеческая полиция*»[1]. Полиция, и именно «отеческая» т. е. вотчинная, крепостническая и крепостная, была душой павловского режима: этого не решаются отрицать даже панегиристы «коронованного Гамлета». «Сенат и совет при высочайшем дворе утратили почти всякое законодательное значение: государь хотел сам все видеть, все решать и всем лично управлять,—говорит один из них.—Зато *особое значение приобрели полицейские органы власти*, наблюдавшие за исполнением воли государя...»[2] «Насмотревшись» на управление самого Павла, вы приходите к убеждению, что это был прирожденный полицеймейстер, прежде всего другого. Как нельзя быть более для него характерна в этом отношении одна его записка, относящаяся еще к до-гатчинскому периоду («Рассуждения о государстве вообще» 1774 г), где он настаивал на том, что необходимо «предписать всем, начиная от фельдмаршала, кончая рядовым, все, что должно им делать; тогда можно на них взыскивать, если что-нибудь будет упущено». Это не случайное увлечение: «предписать всем все, что должны они делать»—основная идея Павла, гвоздем сидевшая в его мозгу, идея, которую он добросовестнейшим сбразом пытался осуществить, как только власть попала в его руки. Ежели не всему населению вообще, то по крайней мере дворянству и жителям столиц было точно указано, как должны они причесываться, одеваться, ходить и ездить по улицам, красить свои дома и даже как должны они говорить. «Воспрещено было ношение фраков и разрешено немецкое платье, с точным определением цвета его и размеров воротника; запрещены были жилеты, а вместо них дозволено употреблять камзолы; дозволены были башмаки с пряжками, а не с лентами, и запрещены короткие сапоги с отворотами или со шнурками; не позволялось «увертывать шею безмерно платками», а внушалось «повязывать ее без излишней толстоты» и т. д., и т. д. При этом «домоправителям, приказчикам и хозяевам строжайше подтверждалось, чтобы всем приезжающим для жительства или на время

[1] *Шильдер*, «Павел I», стр. 346.

[2] *Е. Шумигорский*, «Павел I» (В Русско-Биографическом словаре). Курсив мой—М. П.

в домы их объявляли они не только об исполнении сих предписаний, но и о всех прежде бывших, и если окажется, что таковых объявлений кому-либо учинено не было, то с виновным поступлено будет по всей строгости законов». К большому вероятно огорчению Павла, невозможно было урегулировать обыденную, разговорную речь; но из официального языка был изгнан целый ряд слов с заменой их другими. Слово «стража» заменено было словом «караул», «врач»—«лекарь», «граждане—«жители» или «обыватели», «отечество»—«государство» и т. д.; слово же «общество» совсем воспрещено было к употреблению. «Во время путешествия Павла Петровича в Казань, статс-секретарь его, Неледирский, сидевший с ним в карете, сказал государю, проезжая через какие-то обширные леса: «Вот первые *представители* лесов, которые далеко простираются за Урал.—«Очень поэтически сказано,—возразил с гневом император,—но совершенно неуместно: извольте сейчас выйти вон из коляски»[1]. Любовь Павла *к военной* регламентации, его парадомания и мундиромания были в сущности производными качествами, наиболее бросавшимися в глаза формами любви его к регламентации вообще. Мало известно, но очень характерно, что повод к возникновению знаменитых гатчинских батальонов был чисто полицейский: опасение шаек беглых крестьян, будто бы бродивших вокруг Гатчины. Гатчинские порядки ставили себе целью создание не только образцового войска, но и образцового *города:* задолго до Петербурга как Гатчина, так и Павловск, были переведены на «полуосадное положение»:дома строились по определенному фасону, после известного часа нельзя было показываться на улицах и т. д. Собственно к военному делу в точном смысле этого слова Павел уже потому не мог чувствовать особенного влечения, что он от природы был крайне труслив. Ребенком он так трепетал перед императрицей Елизаветой Петровной—женщиной в сущности очень доброй, как мы знаем—что это отражалось даже вредно на его здоровье. Известие о том, что его воспитателем назначен Ник. Панин, преисполнило его ужасом. «Увидя в Петергофе, что идет старик в парике, в голубом кафтане, с обшлагами желтыми бархатными, Павел Петрович заключил, что это Панин, и неописанно струсил», рассказывает его гувернер, Порошин. Взрослым Павел боялся ездить верхом и крайне неуверенно держался на лошади, что было причиною бесчисленного количества «недоразумений» на кавалерийских ученьях и маневрах,—недоразумений, не всегда комических, иногда и трагических, не для самого Павла, а для окружающих. Он сам признавался, что любит «военных, но не войну», и если ни в одной из екатерининских войн ему не удалось принять участия (кроме, на короткое время шведской 1788—1790 гг.,

[1] *Шумигорский*, passim.

где он воевал не столько с неприятелем, сколько с русским главнокомандующим), то в этом виноваты не только политические расчеты Екатерины: ей, правда, не было бы приятно, если бы сын ее приобрел популярность, как военачальник, и она могла сознательно мешать этому; но нужно сказать: характер ее сына очень облегчал эту задачу. Недаром именно после выступления Павла в шведской войне она окончательно перестала беспокоиться о гатчинских батальонах и равнодушно смотрела на то, как Павел увеличивал свою «армию». На этом поле он никому не был страшен, кроме собственных солдат. Зато полицеймейстер он был «бравый»: с его вступления на престол не проходило пожара в Петербурге, на котором бы Павел не присутствовал, а с ним и «все, что носило военный мундир из его свиты»; в результате чего дамам императорской фамилии с их фрейлинами нередко приходилось доканчивать ужин в полном одиночестве. Старые екатерининские придворные, совершенно не привыкшие ассоциировать в своем представлении царя и брандмейстера, долго не могли прийти в себя от изумления после первого такого случая...

Полицейскими соображениями вдохновлялась и *крестьянская политика* Павла, которую так часто утилизировали, пытаясь хоть чем-нибудь облагородить это злосчастное царствование. Для того чтобы прийти к этому выводу, достаточно сопоставить даты. В январе 1797 г. волнения крестьян, за двадцать лет успевших несколько забыть панинское «усмирение», с его виселицами и колесами,—в то время как экономическое положение крепостных ухудшилось, барщина стала еще интенсивнее,—достигли таких размеров, что вечно преувеличивавший все опасности Павел нашел нужным командировать для усмирения их первого, после Суворова, боевого генерала того времени, фельдмаршала Репнина. Одновременно был издан манифест, где говорилось: «С самого вступления нашего на прародительский наш императорский престол предположили мы за правило наблюдать и точно взыскивать, дабы каждый из верноподданного нам народа обращался в пределах, званию и состоянию его предписанных, исполняя его обязанность и удаляясь всему тому противного, яко разрушающего порядок и спокойствие в обществе, Ныне уведомляемся, что в некоторых губерниях крестьяне, помещикам принадлежащие, выходят из должного им послушания, возмечтав, будто они имеют учиниться свободными, и простирают упрямство и буйство до такой степени, что и самым прещениям и увещаниям от начальства и властей, нами постановленных, не внемлют.. Повелеваем, чтобы все помещикам принадлежащие крестьяне, спокойно пребывая в прежнем их звании, были послушны помещикам своим в оброках, работах и словом всякого рода крестьянских повинностях под опасением за преслушание и своевольство неизбежного по строгости законной наказания. Всякое правительство, власть и началь-

ство, наблюдая за тишиною и устройством в ведении, ему вверенном, долженствует в противном случае подать руку помощи, и крестьян, кои дерзнут чинить ослушание и буйство, подвергать законному суждению и наказанию». Действия агентов Павла не оставляли никакого сомнения в полной искренности императорского манифеста: то, что здесь говорилось о «строгости» и «наказании», было отнюдь не фразой. Посланный на бунтовавших крестьян фельдмаршал не мог не дать генерального сражения—уже чин не позволял ему унижаться до мелких стычек—и хотя мятежники, по собственному признанию Репнина, были вооружены лишь цепами и дубинами, при усмирении их в одной только деревне было сделано 33 пушечных выстрела и израсходовано 600 ружейных патронов, причем сожжено было 16 крестьянских домов, убито 20 крестьян и ранено 70[1]. На этот раз войскам посчастливилось все же найти «инсургентов»: но не всегда было так—один вице-губернатор, явившись в бунтовавшую деревню с командою, ни одного взрослого крестьянина там не нашел и должен был для устрашения «пересечь кнутьем жен их и среднего возраста детей». Как бы то ни было, «порядок одержал победу всюду, при том очень быстро (из деревни, бомбардированной Репниным, уже через четыре дня оказалось возможно вывести войска). Происходило это в феврале, а в апреле по случаю коронации вышел указ о трехдневной барщине, претендовавший устранить раз навсегда самую причину крестьянских волнений—отягощение крестьян работой. Нужно прибавить, что самое урегулирование барщиной повинности трактуется в манифесте очень осторожно и как бы вскользь—на первый план выдвигается соблюдение святости воскресного дня. Но, так как воскресенье даже при хозяйстве почти плантационном обыкновенно оставлялось крестьянам, как мы знаем, то с этой стороны большой фактической перемены в существующие отношения манифест и не вносил. Не видно, чтобы помещики особенно тяготились указом 5 апреля 1797 г. и даже чтобы они вообще сколько-нибудь обращали на него внимание: надзор за его соблюдением был всецело в руках местных властей, а эти власти были свои, дворянские. Манифест мог бы встревожить дворянство, как симптом, как первая ласточка эмансипационной политики, но от этой последней Павел был едва ли не дальше, чем даже Потемкин с его косвенным покровительством крестьянским побегам. Не говоря уже о приводившейся выше его сентенции насчет преимущества положения крепостных крестьян сравнительно с казенными, он и больше, чем словами, доказывал, что и здесь «порядок» для него выше всего.

---

[1] *Шильдер*, цит. соч., 328—329. См. также статью покойного *Павлова-Сильванского*: «Волнения крестьян при Павле I» во II т. его сочинений. Из нее видно между прочим, что большая часть «волнений» не шла дальше *жалоб* крепостных на своего помещика.

Когда в Петербурге на разводе кучка дворовых подала ему челобитную, жалуясь на своих господ, Павел немедленно приказал дать каждому из челобитчиков столько плетей, сколько захочет его барин. «Поступком сим», говорит Болотов, Павел «приобрел себе всеобщую похвалу и благодарность от всего дворянства». Нужно сказать, что дворянство могло быть ему благодарным и за более серьезные меры в пользу помещичьего сословия: 18 декабря того же 1797 г. Павлом был учрежден *дворянский банк*, откуда выдавалось под залог имений от 40—75 рублей на душу из 6%; ссуда выдавалась билетами, приносившими 5%. Интересы дворянства, *насколько он их понимал*, Павел старался соблюдать не хуже своих предшественников.

Мы не хотим однако сказать этим, чтобы Павел Петрович был совершенно чужд сознательной демагогии на почве классового антагонизма верхов и низов феодального общества. Напротив, если он где был новатором, так именно тут—позднейшим поколениям оставалось только итти по его следам. Людям его общественного положения во все времена была не чужда мысль, что «народ» который обыкновенно они представляют себе очень смутно, весьма интересуется их личностью и семейными делами[1]. На самом деле у «народа» конечно довольно своих забот, и для него, как бесцеремонно выразился один конногвардейский солдат после смерти Павла, «кто ни поп, тот батька». Но народ толпится на пути высокопоставленных особ, кричит, машет шапками—как тут не явиться мысли, что на эту «восторженную толпу» можно опереться при случае? Надо обладать умом и цинизмом Екатерины II, чтобы ответить так, как она ответила в одном подобном случае: «на медведя еще больше смотреть собираются». Ее сын был человек наивный, неспособный к цинизму, в народные «восторги» простодушно верил и упивался ими еще почти ребенком. Когда он был в Москве в 1775 г. он «разговаривал с простым народом и позволял ему тесниться вокруг себя так, что толпа совершенно отделяла его от полка». Сообщающий об этом английский посол рассказывает, как мы помним, в других своих донесениях от того же времени, о резких столкновениях, происходивших незадолго перед тем между матерью и сыном: и все это на фоне грозно гудевшей вдали пугачевщины, вождя которой казнили на Болотной площади всего за две недели до приезда Екатерины в Москву. В поведении Павла нельзя не видеть своего рода «воззвания к народу»—provocatio ad populum. «Народ», как ему показалось, принял его благосклонно,—в то время как московское дворянство, не помнившее себя от восторга перед спасительницей Екатериной, к великокняжеской чете (Павел был уже тогда женат) отнеслось очень

[1] С особенной наивностью эта мысль выступает например в мемуарах пресловутой Луизы Саксонской.

холодно. Это искание «народных» симпатий, не без связи с тою же пугачевщиной, еще более странно дало себя почувствовать тотчас после восшествия Павла на престол, когда он посылал Рунича (знакомого нам члена «секретной комисси» по пугачевскому делу) на Урал—выразить высочайшее доверие и милость тем, кто некогда поддерживал «Петра III». Но самым эффектным шагом его в этом направлении был тот, о котором единогласно повествуют записки всех современников—мы расскажем его словами одного из лояльнейших слуг Павла, Саблукова. «Спустя несколько дней после вступления Павла на престол, во дворце было устроено обширное окно, в которое[1] всякий имел право пустить свое прошение на имя императора. Оно помещалось в нижнем этаже дворца, над одним из коридоров, и Павел сам хранил у себя ключ от комнаты, в которой находилось это окно. Каждое утро в седьмом часу император отправлялся туда, собирал прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал их или заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать их себе вслух. Резолюции или ответы на эти прошения всегда были написаны им лично или скреплены его подписью и затем *публиковались в газетах* для объявления просителю. Все это делалось быстро и без замедления. Бывали случаи, что просителю предлагалось обратиться в какое-нибудь судебное место или иное ведомство и затем известить его величество о результате этого обращения»[2]. Комедия эта продолжалась до тех пор, пока Павел не нашел однажды в «желтом ящике» карикатуры на самого себя: тогда ящик был упразднен. Какую путаницу создавало это «непосредственное общение» государя с «народом», едва ли нужно объяснять читателю, тем более что резолюция всегда зависела от минутного настроения Павла. Но несомненно также, что вовсе без результатов демагогия не оставалась; «доступность» царя подкупала малосознательных людей—тот же Саблуков отзывается о нововведении Павла с видимым сочувствием. Позже мы увидим, что гвардейские солдаты не оказывались не чувствительными к демагогии еще более элементарной. О Павле начинала итти молва, как о государе грозном, правда, но друге и защитнике бедных людей, и непочтительное сравнение с Пугачевым, которое позволил себе по его поводу подвыпивший сторож Исаакиевского собора, в устах этого сторожа заключало в себе и кое-что лестное...

Все это был расчет, грубый и неуклюжий, но вполне сознательный, нужно думать: человеку, который боялся окружавших его дворян, который вступил на престол с мыслью, что его ждет участь Петра III, если он не примет мер во-время[3], не

[1] Собственно в особый «желтый ящик», стоявший у этого окна.

[2] Записки *Саблукова*, рус. пер., стр. 23.

[3] См. мемуары Чарторыйского и слова самого Павла Марии Федоровне: «если вы вздумаете подражать Екатерине, вы не найдете во мне Петра III».

на кого было опереться в феодальном обществе, кроме низов, так еще недавно бунтовавших против дворянской монархии. Читатель помнит перечень общественных групп, принявших участие в пугачевщине: можно подумать, что Павел распределял свои милости, руководясь их списком. Освобождение крестьян уже потому, что это было «освобождение», слишком расходилось со всем символом веры Павла Петровича: он не мог бы никогда примириться с самой идеей такого акта, как не мог он перенести слова «представитель» (а его сын и продолжатель Николай Павлович—слов «вольные хлебопашцы»). Но облегчить положение крестьян, не нарушая полицейской субординации, он был не прочь: он начал с отмены рекрутского набора, уже назначенного Екатериной, и некоторых натуральных повинностей (вместо чего пришлось тотчас же повысить денежную подать), несколько раз за свое недолгое царствование прощал недоимки, специально занимался участью горнозаводских крестьян на Урале, отписав часть их от заводов и превратив снова в государственные. По отношению к раскольникам он сделал то, о чем только мечтал Потемкин: под известными условиями разрешил богослужение по старым книгам, положив начало так называемому «единоверию». Это отнюдь не была принципиальная веротерпимость: Павел не допустил бы ее как и «представителей»,—но фактически, это была льгота, и раскольники ее почувствовали; когда Павла убили, из их среды вышел единственный, хотя и очень робкий, протест против переворота. Духовенство Павел старался привязать к себе разными мерами: и нарезкой земли из казенной по 30 десятин на церковь, и основанием новых духовно-учебных заведений, и наконец—ему это вероятно казалось важнее всего остального—тем, что стал жаловать духовным лицам ордена и разные другие знаки отличия. По отношению же к дворянству, наоборот, мы рядом с милостями встречаем и ряд ограничительных мер. Современники больше всего шумели по поводу нарушения Павлом жалованной грамоты 1785 г.—восстановлением телесных наказаний для дворян (указы 3 января и 13 апреля 1797 г.); но как раз эти указы остались почти мертвой буквой, и случаев сечения дворян за царствование Павла известно два-три наперечет. Важнее было фактическое упразднение губернской организации дворянства (разрешались только уездные собрания); и тут полицейский мотив, стремление ослабить подозрительную общественную силу, выступает с такою же отчетливостью, как и в устранении от выборных должностей чиновников и офицеров, массами исключавшихся Павлом из службы,[1] прогнанные из Петербурга дворяне отправлялись в свои

[1] За время царствования Павла (1796—1801) было уволено 7 фельдмаршалов, более 300 генералов и 2 000 штаб и обер-офицеров. Из 132 офицеров конногвардейского полка к концу царствования на службе остались двое—все остальные были новые.

имения—если бы допустить их в местные выборные учреждения, эти последние очень скоро стали бы очагами оппозиционного движения.

Как видит читатель, нам с ним удалось выяснить основные линии политики Павла I, не прибегая к излюбленнному методу большинства историков этого царствования: к психопатологии[1]. Все, что делал «сумасшедший» Павел, делал бы и нормальный человек его умственного развития и склонностей, поставленный в подобное положение: и даже эти склонности были не уклонением от нормы, а лишь преувеличением тех привычек и обычаев, которые сложились на почве потемкинско-зубовского режима. Перед Зубовым не смели сесть—перед Павлом становились на колени; перед каретой Потемкина раскланивались—перед каретой Павла выпрыгивали в грязь и делали реверанс. Даже знаменитый «желтый ящик» был лишь более организованной формой зубовских levers du roi, и нужно сказать формой более деловой—Павел занимался своими челобитчиками серьезнее, нежели екатерининский фаворит своими. Даже мундиромания Павла (форма обмундирования одной конной гвардии за его время была изменена не менее *девяти* раз!) находит себе антецедент в мундиромании Потемкина, а что этот последний придумывал мундиры более целесообразные, так это может быть объяснено отчасти более удачным образчиком, на который он напал—австрийские мундиры, а не прусские,—отчасти же тем, что потемкинская униформа придумывалась в лагере, на походе, в обстановке, которой Павел совсем не знал и которую едва ли даже мог себе представить. Словом, в том, что Павел делал *общественно-важного* он был не столько уродом в семье, сколько крайностью — наиболее резким воплощением особенностей данной группы. Но, как раньше полицейская традиция не заслонила от нас сознательной демагогии Павла, так и теперь нормальность его политики не должна закрыть от нас несомненной ненормальности его личной психики. Достаточно привести один случай сомнению абсолютно не подлежащий, ибо он исходит от очевидца—и даже, как читатель сейчас увидит, более чем «очевидца»,—чтобы устранить всякие споры на этот счет. Рассказ идет от лица А. М. Тургенева—полкового адъютанта Екатеринославского кирасирского полка, одного из «потемкинских» полков, которого за то Павел (лично ненавидевший Потемкина) очень не жаловал. «В один день, не упомню числа, после вахтпарада пошел дождь; всем дежурным штаб-офицерам и адъютантам для принятия пароля, который Павел Петрович сам отдавал, было приказано собраться в военную залу перед ка-

[1] Пишущий эти строки отдал в свое время дань этому методу, объяснив многое в политике Павла его болезненной наследственностью (см. «Историю России в XIX в.», изд. бр. Гранат, т. I, стр. 22—24). «Наследственность» тут была конечно, только не физиологическая, от Петра III, а социальная, от Потемкина и Зубова.

бинетом; все собрались. Павел вышел из своего кабинета, отдал пароль; казалось все шло в надлежащем и подлежащем порядке, ничто спокойствия не нарушало, и Павел изволил шествовать во внутренние комнаты; как вдруг минут через пять двери опять отворились, гоффурьеры зашикали, и он вступил в залу и громко сиповатым голосом повелел: «Екатеринославского адъютанта сюда!» Недалеко было меня искать—я был в зале и стал перед государем. Павел Петрович подошел ко мне очень близко и *начал меня щипать*; сзади его, с правой стороны, стоял великий князь Александр Павлович, с бледным лицом; с левой стороны стоял Аракчеев; щипание было произведено несколько раз, от которого брызгали у меня из глаз слезы, как горох. Очи Павла Петровича, казалось мне, блестели, как зажженные свечки; наконец он изволил повелевать мне сими словами: «Скажите в полку, а там скажут далее, что я из вас потемкинский дух вышибу, а вас туда зашлю, куда ворон костей ваших не занесет». Приветствие—не вполне радостное, но изустно мне оглашенное в присутствии 200 или 300 офицеров! Его величество, повторив высочайшее повеление пять или шесть разов, *продолжая щипание*, изволил мне сказать: «извольте, сударь отправиться в полк!»

Мы не будем доканчивать рассказа, повествующего далее, как Тургенев тут же снова снискал милость своего государя, ловко по форме повернувшись перед ним—и для большей правильности поворота не побоявшись даже больно задеть своим палашом слишком близко подошедшего к нему императора; это пожертвование всем форме особенно подкупило Павла, и он проводил исщипанного им адъютанта одобрительным возгласом: «бравый офицер! славный офицер!» Подобными случаями полны современные[1] мемуары, и они, эти случаи, проще всего объясняют нам, почему к заговору против Павла так легко пристал «весь Петербург» с генерл-губернатором во главе: необходимость устранить явно ненормального психически императора оправдывала самые крайние меры. Но событие 11 марта 1801 г. слишком сложно, чтобы его можно было объяснить только этим,—и слишком тесно связано с последующим, чтобы его можно было понять, не выходя за пределы Павлова царствования. Его приходится поэтому рассмотреть отдельно и в иной связи.

---

[1] См. записки Державина, Чичагова, даже Саблукова и Коцебу.

ГЛАВА XII.

АЛЕКСАНДР I.

1. 11 марта 1801 г.

Полицейский механизм, созданный для охраны крепостного «порядка», нарушенного пугачевщиной, при Павле Петровиче развил максимум своего действия. Дворянство, для защиты интересов которого механизм и явился на свет, казалось бы должно было испытывать максимальное удовольствие. Вместо этого царствование Павла было прервано *дворянской* революцией, Павел пал жертвою *дворянского* заговора. Этот заговор становится исходной точкой дворянского оппозиционного движения, наполняющего собою все первое десятилетие XIX в. и преемственно связанного с другим заговором, по составу участников тоже дворянским,—заговором декабристов. Первый заговор был стихийным взрывом, почти можно бы сказать—рефлективным жестом самообороны от «порядка», которому с таким фанатизмом служил Павел. Второй был сознательной попыткой поставить на место полицейского порядка нечто иное. Участники второго были детьми заговорщиков 1801 г. если не в буквальном физиологическом смысле, то как непосредственно следующее поколение того же общественного класса. Первый заговор был формально удачен, но ни на ноту не изменил системы. Второй был с формальной стороны катастрофой для тех, кто в нем участвовал, но косвенно он сделал в системе трещину, которую можно было замазать, но которая фактически под толстым слоем замазки все расширялась. Только после второго мы встречаем настоящую *реакцию*—лет двадцать относительного «покоя», свидетельствовавшего, что, с одной стороны, кто-то,был удовлетворен достигнутыми результатами, с другой, что кто-то разочаровался и не верит больше в достижимость ставившихся с таким упорством целей. В про-

межутке между 1801 и 1825 годами мы не встречаем ни на минуту полной паузы: в течение всего этого промежутка «общественное движение» ориентируется все в одном и том же направлении. Не мудрено, что связь между событиями этих двух годов улавливали уже современники, хотя не менее естественно, что современников больше поражало внешнее сходство, внутренняя связь была для них менее заметна. Рассказав об ужине, предшествовавшем экспедиции гвардейских офицеров в Михайловский дворец, в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. один современник прибавляет: «говорят, что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибиков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла, что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше было бы отделаться от них всех сразу. Как ни возмутительно подобное предложение, достойно внимания то, что оно было вторично высказано в 1825 г. во время последнего заговора, сопровождавшего вступление на престол императора Николая Первого»[1].

Заговор 11 марта обыкновенно ставят за одну скобку с дворцовыми переворотами XVIII в. В известном смысле это конечно и правильно: по своей технике например предприятие Палена и Зубовых ничем не отличалось от предприятия братьев Орловых; но нужно сказать, что и 14 декабря, взятое с *этой* стороны, как две капли воды, похоже на дворцовый переворот. Их однако же не принято сопоставлять,—и это опять правильно: потому что этой стороной дело далеко не исчерпывалось, и не в ней было главное. *Идеология* некоторых декабристов могла очень напоминать идеологию Григория Орлова (мы ниже увидим разительные доказательства этого)—их *психика* была совсем иная: и это *новое настроение* дает нам право резкою чертою отделять первых русских революционеров от устроителей дворцовых переворотов предшествовавшего столетия. И вот эта новая психология дает себя чувствовать уже около 1801 г. Другой современник, гораздо более блестящий, нежели цитированный нами выше Саблуков, рассказав об убийстве Павла, заканчивает такими словами: «Так погиб этот тиран, после того как он пять лет держал Россию под своим унизительным игом и заставлял дрожать сорок пять миллионов людей при малейшем знаке его воли. Он кончил бы тем, что погрузил бы снова в варварство свою страну, если бы она не была от него избавлена при помощи единственного возможного средства. Ненависть к тирану должна брать верх над всеми другими чувствами, говорит Лассепед, и всякое средство хорошо, чтобы сломить этот бич»[2]. И это написал не горячий, увлекаю-

[1] *Саблуков*, Записки , рус. пер., стр. 69.
[2] Memoizes de l'amiral Paul Tchitchagof. Paris 1909.

щийся мальчик, а старик, бывший на своем веку русским министром и главнокомандующим одной из русских армий. А вот другие строки, написанные всего через три дня после катастрофы, еще более любопытные по общественному положению писавшей—и потому еще, что она раскаивалась в своем вчерашнем настроении, раскаивалась, не считая однако возможным его скрыть: «я легкомысленно превозносила революции только потому, что окружавший меня безмерный деспотизм почти лишал меня возможности рассуждать беспристрастно; *я хотела только видеть эту несчастную Россию свободною* какой бы ценою ни было». Это писала своей матери великая княгиня Елизавета Алексеевна, которую 11 марта сделало русской императрицей[1]. Не мудрено, что в кругах, близких к заговорщикам, сохранилась легенда, будто Павлу в эту трагическую ночь предлагали подписать конституцию, и его отказ был непосредственным поводом к катастрофе. Это не более, как легенда: читатель сейчас увидит, что весь характер заговора исключает возможность такой театральной сцены. Гвардейские офицеры с Беннигсеном и Зубовым во главе приходили в царскую спальню совсем не за тем, чтобы вести там политические споры. Но легенда характерна: впервые в истории русских дворцовых революций их участники чувствовали себя борцами за политическую свободу. Раньше просто и грубо, без иллюзий охранялись классовые интересы дворянства. Теперь эта крайне материальная сама по себе задача начинает освещаться поэтическим ореолом: борьба с деспотизмом, вредным для помещиков, начинает сознаваться, как борьба против деспотизма вообще. Еще четверть столетия—и защитники дворянских «вольностей», как декабрист Каховский, становятся не только субъективно, но и объективно политическими мучениками.

Но, как бы красиво ни было то или другое общественное настроение, основы общественной психологии всегда приходится искать в экономике. По отношению к катастрофе Павла Петровича мы имеем редкий, для тогдашней эпохи в особенности, случай осознания этого факта еще современниками. Писавший с их слов декабрист Фон-Визин так определяет условия, ближайшим образом вызвавшие восстание дворянства против Павла. «Павел, сперва враг французской революции, готовый на все пожертвования для ее подавления, раздосадованный своими недавними союзниками, которым справедливо приписывал неудачи, испытанные его войсками... вдруг совершенно изменяет свою политическую систему и не только мирится с первым консулом французской республики, умевшим ловко польстить ему, но становится восторженным почитателем Наполеона Бонапарта и *угрожает войною Англии*. Разрыв с нею наносил неизъясненный вред нашей заграничной торговле. Англия

[1] См. Schiemann, «Die Ermordung Pauls», введение, стр. VII.

снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию притекло все для нее необходимое. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих поместьев, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и пр. *Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную его жестоким деспотизмом. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти всеобщей*». Что Фон-Визин передает здесь подлинное мнение современников, и даже самих участников заговора, доказывает речь Зубова на знаменитом «ужине», с которого заговорщики прямо отправились в Михайловский дворец: по передаче Чарторыйского, Зубов начал именно с указания на «безрассудность разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние». И это в связи с опасностями которыми угрожала России и в частности Петербургу русско-английская война, составила повидимому главное содержание «речи»: внутренняя политика Павла в ней, если верить Чарторыйскому,отсутствовала,—не считая указания, что при Павле «никто из присутствующих не может быть уверен в личной безопасности». Остается прибавить, что сознательность была не только с русской стороны, английская дипломатия сделала для низвержения Павла все, что могла. Английский посланник в Петербурге, Уитворт, был деятельным членом *первого* заговора против Павла (не позже весны 1800 г., т. е. приблизительно *за год* до катастрофы), рядом с вице-канцлером Павла Паниным, и адмиралом Рибасом, причем первый из них, сын знакомого нам усмирителя пугачевщины, являлся едва ли не лучшим проводником английского влияния на русскую политику, чем сам Уитворт. Можно сказать, что самая форма этого первого заговора была «английская». Павла предполагалось объявить сумасшедшим, как это было сделано в Англии с Георгом III. Александр же Павлович должен был занять место «принца-регента». Дело было поставлено настолько серьезно, что Панин собирал уже сведения под рукою у иностранных дипломатов, какими формами облекаются подобные предприятия в той или другой стране: это было нужно потому что Англия как парламентское государство юридическим образчиком для России служить не могла. Александр был посвящен в заговор и имел с Паниным тайные свидания, происходившие для большей конспирации в бане. Затормозило дело повидимому исчезновение с петербургского горизонта Уитворта: косвенный признак, что английские субсидии играли в движении бо́льшую роль, чем допускает большинство мемуаристов, из патриотических соображений. Несомненно, что в дни союза с Англией приближенные Павла получали от английского правительства не

менее крупные суммы, чем в свое время приближенные Елизаветы Петровны: известно например, что фаворитка Павла Нелидова в одном случае получила 30 тыс. рублей. После разрыва милости Англии должны были перейти к противникам павловского режима. Уитворт продолжал поддерживать сношения с оппозиционной петербургской знатью и из-за границы; особенно близок он был с Зубовыми через сестру екатерининского фаворита, Ольгу Александровну Жеребцову. Но дело очевидно должно было итти медленнее: притом же случайные обстоятельства—смерть Рибаса, отставка и ссылка Панина (последняя может быть и не вполне случайная)—расстроили первоначальный штаб заговорщиков. На первый план среди них теперь выдвинулся петербургский генерал-губернатор Пален: но он повидимому возбуждал сильнейшее недоверие в великом князе Александре и кажется не совсем неосновательно. Как раз Пален и Беннигсен принадлежат к числу таких фигур, поведение которых, если мы исключим возможность английских субсидий, является совершенно загадочным. Первый петербугский генерал-губернатор, фактический министр иностранных дел и главный начальник почтового ведомства (один из важнейших постов полицейского режима!)—был почти что временщиком: второй—типичный военный авантюрист тогдашней бурной эпохи казалось готов был служить всякому, кто хорошо платит. Что за охота им была рисковать головой из-за интересов русского дворянства, с которым оба были связаны весьма слабо? Если же предположить, что этого рода служба хорошо оплачивалась, не говоря уже о том, что она была прочнее службы Павлу, «исполненной случайностей», то неожиданно вспыхнувший в них русско-дворянский патриотизм окажется явлением довольно естественным. Но того, кто продавался, можно было и перекупить: в известный момент Павел мог оказаться более выгодным «заказчиком», и Пален продал бы Александра Павловича, как он раньше продавал его отца. Вполне естественно, что Александр желал видеть рядом с собою людей, более популярных в дворянском обществе, участие которых являлось бы своего рода «страховкой»,—и, пока этого не было, «обнаруживал нерешительность». Но екатерининская знать очень туго шла в заговор. Ни одного из тех блестящих дворянских имен, которые так часто попадаются потом на страницах истории Александра I, ни Воронцовых, ни Румянцевых, ни Разумовских, ни Голицыных, ни Строгановых мы не встречаем в списках известных нам членов заговора. Ненавидя Павла, екатерининские магнаты очень не прочь были покончить с ним руками наемных немцев. Александр должен был удовольствоваться тем, что к заговору так сказать официально присоединились Зубовы; но и те с своей стороны потребовали перестраховки—права назвать в решительную минуту Александра всей массе заговорщиков. Не будь этого последнего факта—засвидетель-

ствованного таким компетентным источником, как мемуары Чарторыйского—историки, вероятно, и до сих пор спорили бы, участвовал непосредственно Александр Павлович в заговоре против своего отца или только «догадывался». Благодаря Чарторыйскому мы знаем, что идя 11 марта на императорский дворец, заговорщики с уверенностью могли считать своим главою будущего русского императора, и вопрос может быть только об остальных членах царской семьи. Императрица Мария Федоровна не принадлежала конечно к числу заговорщиков: два конкурирующих между собою лица не могли же быть главами одного и того же предприятия. Но быстрота, с которой она оказалась на месте действия, и энергия, с какой она, не теряя ни минуты, принялась за отстаивание своих прав на российский престол, с достаточной убедительностью доказывают, что она во всяком случае была вполне готова к катастрофе. Некоторые современники не чужды предположения, что около нее группировался параллельный маленький заговор, но Панин с Паленом ее перехитрили, чем достаточно объяснялась бы лютая ненависть доброй императрицы к обоим названным деятелям. Участие в заговоре Константина Павловича почти так же не подлежит сомнению, как и участие самого Александра. Распоряжения, отдававшиеся им в роковую ночь, по состоявшему под его командой конногвардейскому полку, показывают, что он знал о перевороте по крайней мере за несколько часов: из этих распоряжений особенно характерно то, которое делало для ненадежного с точки зрения заговорщиков Саблукова физически невозможным исполнять как следует обязанности начальника дворцового караула. Повидимому кое-что подозревал на этот счет и Павел, за несколько часов до смерти приказавший вовсе удалить из дворца конногвардейский караул—одновременно с арестом Константина и Александра. И во всей трагедии 11 марта нет более ужасного момента, чем вопль задыхавшегося в скарятинском шарфе императора: «ваше высочество, пощадите: воздуху, воздуху! Он увидал в толпе конногвардейского офицера—и был уверен, что это его сын, цесаревич Константин Павлович...[1].

[1] Личные мотивы, определившие участие членов царской семьи в заговоре, не так легко вскрыть, в то же время и большого исторического интереса они не представляют. По общераспространенной версии Павел в последние месяцы своей жизни носился с планом радикального семейного переворота; он собирался развестись с женою и заключить ее в монастырь, Александра в Шлиссельбургскую, а Константина в Петропавловскую крепости. План этот в нем будто бы поддерживал его камердинер Кутайсов, которого Павел сделал графом и андреевским кавалером и который имел больше влияния в государстве, чем все министры. Под влиянием Кутайсова находилась и последняя фаворитка Павла, Гагарина, тогда как прежняя, Нелидова, дружила с Марией Федоровной. Никаких доказательств существования такого «заговора» со стороны Павла и его челяди мы не имеем, и вполне возможно, что он был сочинен ad hoc, задним числом, для того чтобы сколько-нибудь прилично мотивировать поведение императри-

На самом деле состав «исполнителей» был гораздо менее высокопоставленный. Глава заговора правда был представлен своим адъютантом Волконским: подробность, пикантная в том отношении, что традиция твердо усвоила Александру «отвращение» к убийцам его отца—между тем у Александра Павловича всю его жизнь не было личного друга ближе Волконского. Кроме последнего к «порядочным» людям принадлежали только Зубовы: характерно, что бывший фаворит Екатерины оказался честнее фон-дер-Палена и пошел вместе с другими в царскую спальню, когда «бескорыстный немец» остался позади чтобы «наблюдать и поддерживать порядок». Современники были убеждены, что Пален готовился действительно арестовать Александра Павловича при малейшем признаке неудачи. Непосредственно «руками» заговора,—за вычетом Николая Зубова, в эту ночь совершенно пьяного, по словам большинства рассказчиков,—были весьма темные люди, имена которых ничего не говорят читателю, даже хорошо знакомому с историей эпохи. Тираноубийство могло быть окружено ореолом при иной обстановке; но убить целой толпой безоружного, полусонного человека (Павел был настолько спросонок, что не успел даже испугаться, при всей своей трусости, как очень характерно отметил Саблуков) слишком мало льстило самолюбию военных людей, какими были почти все заговорщики без исключения. Чрезвычайно типично участие в самом акте убийства уже настоящего лакея-камердинера Зубова, которого барин привел с собой: как истый феодал, он явился на место действия со своим «двором». Вполне достойным вождем этого отряда был другой из честных немцев, Леонтий Леонтьевич Беннигсен. Кто видал превосходный портрет Джорджа Дау (воспроизведенный при последнем издании мемуаров Беннигсена), тот никогда не забудет этого лица—идеального воплощения холодной жестокости. Современники приписывали Беннигсену решительность и находчивость в трудные минуты. Ни того, ни другого он не обнаружил в 1806—1807 гг., когда командовал русскими войсками против Наполеона. Он был не из тех генералов, которые выигрывают сражения, а из тех, которые, не моргнув глазом, расстреливают или запарывают на смерть сотни людей. Смерти Павла однако же, не хотел брать на свою душу даже он, и в письме к близкому человеку непосредственно после события он

цы и старших великих князей. Не нужно забывать, что в семейной жизни гораздо больше, чем в политике, решающим моментом являлось сумасшествие Павла—жизнь в ежеминутном ожидании безумных выходок, границ которых никто не мог себе представить, была невыносимой пыткой. Затем не нужно упускать из виду и того, что перед 11 марта Павел все сильнее и сильнее начинал подозревать, что против него что-то готовится, и тут дело действительно могло легко кончиться Шлиссельбургом. Недаром он сам явно подготовлял себе наследника в лице маленького принца Евгения Виртембергского, племянника Марии Федоровны. Приходилось спешить...

представлял дело так, что Павла убили совсем «нечаянно», притом в его, Беннигсена, отсутствие—он будто бы вышел распорядиться, оставив все в полном порядке и благополучии, вернулся—Павел уже мертв. Достоверность этого рассказа вероятно не выше, чем рассказ того же Беннигсена о его победах над Наполеоном,—после которых русская армия неизменно отступала, а французская шла вперед. Зерно истины, какое есть в показании Беннигсена, сводится кажется к тому, что убийство Павла не было *непосредственной* целью, какую ставили себе заговорщики: в тысячу раз «приличнее» было бы избавиться от него позже, когда он, отрекшийся от престола «бывший» император, жил бы в какой-нибудь Ропше, как Петр III. Без соблюдения этого минимального приличия дело принимало столь варварский характер, что даже предшествовавшие гвардейские революции оказывались более европейскими. А никто не дорожил европейской внешностью так, как Александр Павлович... Когда он уверял потом Чарторыйского, что убийство отнюдь не входило в одобренную им программу заговора, этому можно поверить, основываясь не только на соображениях общечеловеческой психологии, но и на том, если так можно выразиться, этикете дворцовых переворотов, какой вырабатался в течение XVIII в. Чрезвычайно единодушные показания современников не оставляют никакого сомнения в том, что конец Павла был фатально ускорен той самой демагогией, в которой он искал гарантии от дворянской мести. Заговорщики *вынуждены* были убить императора, потому что иначе их самих перебили бы гвардейские солдаты.

Дворянская по составу офицерства гвардия в своей массе была к 1801 г. несравненно демократичнее, нежели пятьюдесятью годами ранее. Закон о «вольности дворянства» и обычай записывать в службу детей сделали свое—среди нижних чинов гвардии дворян теперь почти не было. Один факт, относящийся как раз к царствованию Павла, подчеркивает это обстоятельство: этот факт заключается в сформировании «дворянского» полка—кавалергардов. Он должен был стать особенно-привилегированным отрядом императорской гвардии и в то же время рассадником кавалерийских офицеров для всей армии. И даже в этой по самому названию (chevaliers-gardes) дворянской части около трети солдат были не-дворяне. Смешение со старыми екатерининскими полками гатчинских батальонов, где и среди офицерства трудно было найти человека из мало-мальски родовитой семьи, еще усилило этот демократизм павловской гвардии. Офицеры и солдаты в ней принадлежали уже к различным общественным классам. И это внесло новую черту в организацию заговора 1800–1801 гг.; прежние были обще-гвардейскими, этот был исключительно *офицерским*. В Семеновском полку, которым командовал Александр Павлович, в заговор были посвящены все, «до подпрапорщика включительно»: т. е. все, кроме

простых солдат. «Генерал Талызин,—рассказывает Чарторыйский,—командир Преображенского полка, один из видных заговорщиков, человек, пользовавшийся любовью солдат, взялся доставить во дворец в ночь заговора батальон командуемого им полка. После ужина у Зубовых он собрал батальон и обратился к солдатам с речью, в которой объявил людям, что тягость и строгости их службы скоро прекратятся, что наступает время, когда у них будет государь милостивый, добрый и снисходительный, при котором все пойдет иначе. Взглянув на солдат, он однако заметил, что слова его не произвели на них благоприятного впечатления; все хранили молчанье, лица сделались угрюмыми, и в рядах послышался сдержанный ропот. Тогда генерал прекратил упражнение в красноречии и суровым командным голосом вскричал: «полуоборот направо.–Марш», после чего войска машинально повиновались его голосу. Батальон был приведен в Михайловский замок и занял все выходы». Конногвардейцы, которых так не любил и боялся Павел, называвший их «якобинцами» (известен случай, как он однажды «сослал» Конногвардейский полк из столицы в деревни Петербургской губернии), отказывались присягнуть новому императору пока им не покажут покойника: и только убедившись, что Павел «крепко умер», «якобинцы» пошли к присяге. Уже когда о смерти Павла было всем известно, солдаты очень хмуро приветствовали Александра—за исключением Семеновского полка, где любили своего шефа: но и в семеновцах Александр был настолько мало уверен, что заставил Палена отложит на несколько дней coup d'etat, выжидая, пока дежурным будет 3-й батальон, единственный, на который он мог вполне рассчитывать. Это сознание ненадежности солдат все время не оставляло руководителей заговора, ставя под вопрос все их расчеты. Чарторыйский,писавший со слов людей, ближе всего посвященных в дело,—в том числе самого Александра Павловича,—говорит об этом вполне определенно: «императору Павлу было бы легко справиться с заговорщиками, *если бы ему удалось вырваться из их рук хотя на минуту и показаться войскам.* Найдись хоть один человек, который явился бы от его имени к солдатам,—он был бы может быть спасен, а заговрщики арестованы. Весь успех заговора заключался в быстроте выполнения».Причины популярности «тирана» среди солдат весьма обстоятельно выясняет тот же Чарторыйский: мы воспользуемся более короткой формулировкой Бенингсена—в данном случае не подозрительного, ибо он передает здесь общее мнение. «Несомненно, что *император никогда не оказывал несправедливости солдату* и привязал его к себе, приказывая при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском гарнизоне». Преображенский караул и готов был вспомнить царскую ласку в ночь 11 марта, хотя офицеры-заговорщики приняли все меры, чтобы подтасовать его состав: на эту ночь в него были назначены почти исключитель-

но бывшие солдаты только-что раскассированного Павлом лейб-гренадерского полка. В самую критическую минуту, когда Платон Зубов тщетно уговаривал Павла подписать отречение, в передней императорского кабинета послышался страшный шум; на самом деле этот шум произвела вновь подвалившая толпа участников заговора: но бывшие вокруг Павла заговорщики, ежеминутно ожидавшие появления солдат ему на выручку, вообразили, что все кончено,—и поспешили прикончить свою жертву.

То, что непосредственно последовало за этим, достаточно объясняет реакцию, возникшую в душе молодой императрицы, так легкомысленно восхищавшейся ранее революциями, знакомыми ей только по книжкам. Она увидала теперь воочию, чем бывает дворянская революция в России. Первое, чем ознаменовали свою победу заговорщики, было разбитие погребов Михайловского замка. Идя «убивать тирана», вышли для храбрости только офицеры—теперь была пьяна вся гвардия без изъятий. Выйдя из своей комнаты, Елизавета Александровна очутилась в толпе пьяных людей, которые хватали ее за руки, целовали эти руки, чуть не целовали ее самое. И среди всего этого бесновалась старая императрица, в сотый раз доказывая свои права глумившимся над нею гвардейским часовым: бедная Мария Федоровна никак не могла отделаться от своего немецкого акцента, и это казалось ее пьяным слушателям всего забавнее. Никогда, даже в дни лейб-кампании, царский дворец не был театром подобной оргии. Александр и Константин поспешили бежать из этого места, одинаково страшного и отвратительного в ту минуту. Д. Х. Ливен сохранила в своих записках эту историческую картину; одинокий возок без свиты, без конвоя, мчащийся глухою ночью по улицам Петербурга—и в нем забившиеся, дрожащие от ужаса, новый император и его брат. Только в Зимнем дворце Александр Павлович несколько пришел в себя. А разливанное море из стен дворца убитого императора начало растекаться по всему городу. Торговцы иностранными винами, уже видевшие себя накануне банкротства, благодаря прекращению балтийской торговли, на радостях выкатили бочки на все перекрестки—и скоро было пьяно все, что хотело напиться. Долго не могло улечься «народное ликование», и уже на следующее утро гр. Головина из окна своего дома могла созерцать сцену, символизировавшую в одном образе общее настроение: пьяный гусарский поручик ехал верхом вскачь по тротуару, крича, что теперь «все позволено»[1]. Но пока «народ» ликовал, правящие круги должны были заняться устранением политических результатов только-что трагически закончившегося царствования.

---

[1] Souvenirs de la comtesse *Golovine*, Paris 1910. Воспоминания императрицы Елизаветы Алексеевны о ночи 11—12 марта, записанные Головиной с ее слов, составляют лучшие страницы этой части «Записок».

Всего настоятельнее это было нужно в области *внешней* политики, которая явилась ближайшим поводом катастрофы. «Примирение России с Англией было непосредственным результатом смерти Павла—говорит Чарторыйский.—Война с этой державой, издавна богатейшим рынком для русского железа, хлеба, строевого леса, серы и пеньки, более всего восстановила общественное мнение против покойного императора. После его смерти нужно было во что бы то ни стало положить войне конец. Наскоро состряпали соглашение, на котором явственно отразилось стремление заключить мир как можно скорее, во что бы то ни стало. Интересы морских союзников России не обратили на себя должного внимания[1], и капитальные пункты, ограждавшие права нейтрального флага, были обойдены молчанием или выражены неясно. Прекращение враждебных действий было все, чего хотели добиться возможно скорее». В Лондоне о событии 11 марта стало известно чуть не на другой день—Жеребцова сообщила о нем Уитворту с быстротой, почти непостижимой в эпоху, не знавшую телеграфа. Со своей стороны англичане настолько видели в начинавшейся войне личное дело Павла, что получив известие о его смерти главнокомандующий английским флотом в Балтике, Нельсон, не дожидаясь формального перемирия, пришел со своими кораблями в Ревель—запасаться там пресной водой и съестными припасами. Ревельский комендант до смерти перепугался, вообразив, что англичане собираются бомбардировать город и делать высадку,—а в Петербурге обиделись, что Нельсон до такой степени пренебрег всякими дипломатическими приличиями. Англичан приняли очень холодно и потом должны были послать им в догонку адмирала Чичагова с извинениями. Рассказ о том, как Чичагов ощупью искал Нельсона по Финскому заливу—и нашел наконец к собственному своему удивлению, только благодаря густому туману,—принадлежит к числу курьезнейших страниц в истории русского флота. Как бы то ни было, тут дело было решено скоро и радикально—понадобился разгром России Наполеоном и Тильзитский мир, чтобы заставить Александра Павловича в этой области пойти по стопам своего отца. Совсем иначе пошло дело в области политики *внутренней*; здесь после некоторого топтания на одном месте в сущности вовсе ничего не было сделано, и Александр Павлович, несмотря на чрезвычайно демонстративные заявления своей несолидарности с предшествующим царствованием, остался на колее, проложенной еще в последние годы царствования Екатерины и с таким рвением пробивавшейся далее Павлом. Объективные условия, создавшие концентрацию крепостного режима, оказались сильнее общественной психологии.

[1] Англичане только-что уничтожили тогда датский флот, заграждавший им вход в Балтийское море.

2. Молодые друзья.

С этой психологией связан впрочем целый ряд недоразумений, которые начали рассеиваться лишь в самые последние годы, хотя материал для их разъяснения отчасти существует уже давно. Конечно для того чтобы нарисовать себе во весь рост российский либерализм «дней Александровых прекрасного начала», понадобилось знакомство с подлинными дневниками Строганова, опубликованными лишь в начале текущего столетия. Но уже мемуары Чарторыйского, напечатанные еще в 80-х годах прошлого века, давали такую превосходную характеристику «топтания на одном месте», что после них говорить серьезно о «реформах первых лет царствования Александра I» можно было лишь при очень большой предвзятости в пользу всяких реформ, хотя бы они ограничивались переобмундированием русских чиновников на английский лад. Не нужно забывать, что Чарторыйский принадлежал к числу ближайших сотрудников Александра в этих «реформах»,—а по уму был самым крупным из всего кружка[1] не исключая конечно и самого императора. Если этот человек, вовсе притом не желавший злословить, стремившийся, напротив, представить злосчастные «реформы» в возможно более выгодном свете, не мог припомнить ни одного факта в их пользу кроме того, что «теперь лучше была организована продажа соли»—и в конце концов должен был признаться, что «дело шло» главным образом о том, чтобы «ввести в новую администрацию молодых друзей императора»[2], то значит вообще сказать было нечего. «Молодым друзьям»—это до последней очевидности ясно из мемуаров Чарторыйского—нечего было сказать не только после, ретроспективно оценивая результаты своей деятельности, но даже и в разгар этой последней. Когда им понадобилось развернуть свою платформу перед императором, они выпустили вперед старика Семена Воронцова, а тот в свою очередь не сумел сказать ничего, кроме повторения старых щербатовских рассуждений о сенате и его значении. Это могло быть недурно в дни комиссии 1767 г., но после французской революции, после конституции 1791 г., которую даже и Александр читал в подлиннике, этого было маловато... Между тем Воронцов так и не мог съехать со своего сената. «Каждая фраза графа Семена начиналась и кончалась сенатом, и когда он не знал, что сказать и что отвечать, он повторял одно и то же, ничего не прибавляя... Нам казалось, что потом император даже и во сне должен был слышать голос, кричавший ему на ухо: «сенат! сенат!». В этой афектации было что-

[1] Кроме Чарторыйского к нему принадлежали, как известно, Строганов, Новосильцев и Кочубей.

[2] Mèmoires, I. pp. 317 et 319.

то смешное и неуклюжее, что должно было охладить императора, вместо того, чтобы одушевить его»[1].

Звучащая в последних словах ироническая нотка должна как-будто внушить читателю, что у самих «молодых друзей» имелось в запасе что-то лучшее старых «монаршических» рассуждений. Было бы очень опасно поддаваться этому внушению: для самого радикального из друзей Александра, для «русского якобинца» Строганова, одна старая записка Безбородки, который «знал всего Монтескье наизусть», казалась верхом политической премудрости «Ограничением (произвола) должны быть учреждения уже существующие,—писал Строганов в своем «Общем плане работы с императором над реформою».—Создать новый порядок вещей для этой цели мне казалось бы очень опасным, и дав некоторый блеск и кое-какие (quelques) привилегии учреждениям старым, можно было бы, кажется мне, создать из них преграду (для произвола) вполне достаточную. Бумага князя Безбородки дает в этом отношении канву для всего, чего только можно пожелать. «Мой принцип,—поясняет он в другом месте, изменять вещи, а не слова, и облекать нововведения в старый костюм так, чтобы не поражать ими никого, и чтобы перемену заметили тогда, когда к ней уже привыкли». Необычайно длинная и даже теперь, спустя сто лет, в чтении, необычайно скучная канитель с такими элементарными «нововведениями», как разрешение покупать землю не-дворянам или запрещение продавать людей без земли (в сущности воспроизводившее лишь знаменитый указ Петра, никогда не исполнявшийся), ставит искренность слов Строганова вне всяких сомнений; новое одевали в старый костюм так старательно, что, будь воля «молодых друзей» кроме этого старого костюма от «нововведений» пожалуй ничего бы и не осталось. К счастию в дело вмешивались иногда «старики» вроде Мордвинова, Румянцева, даже (кто бы подумал?) Платона Зубова. Благодаря первому в России была узаконена—фактически существовавшая конечно и ранее—буржуазная земельная собственность (указ 12 декабря 1801 г., разрешавший купцам, мещанам и казенным крестьянам покупать землю). Благодаря второму закон впервые признал за крестьянином права никому не принадлежать—ни частному лицу, ни казне, право впрочем чисто принципиальное, ибо осуществление его зависело от тех, кому крестьяне принадлежали в настоящий момент (так называемый «закон о вольных хлебопашцах», 20 февраля 1803 г). Платон Зубов едва не сделался виновником ограничения барского произвола относительно дворовых, но этому слишком смелому нововведению «молодые друзья» успели помешать во-время. Их аргументация против опасных новшеств отличалась безукоризненной логикой. По поводу проекта — запретить или ограничить продажу крестьян

[1] Ibid 304—305.

без земли, «на вывоз» (при данных условиях одно из главных средств помещичьей колонизации, свободу которой в сущности и отстаивали, «молодые друзья»), кто-то из них рассуждал: «этот обычай, каким бы варварским, каким бы отвратительным он ни был, связан с общим порядком вещей,—т. е. с положением крестьянина по отношению к его барину. Как тронуть одну из ветвей, не видя ее связи со стволом?.. Мера этого рода не может быть введена, не задевая различных интересов, если уничтожить ее (продажу без земли) вовсе: может быть при помощи распоряжений общего характера удалось бы обуздать этот обычай и искоренить его нечувствительно, задевая эти интересы возможно менее»[1]. Зато когда им самим пришлось заняться вопросом об эмансипации, оказалось, что дальше оброчного мужика они ничего себе представить не в состоянии, так что опять-таки старик Мордвинов, с его «буржуазными» проектами крестьянской реформы—необычайно крепостническими на современный взгляд был куда впереди их[2].

На самом деле «молодые друзья» хлопотали главным образом о двух вещах: во-первых о том чтобы никто не отбил у них монополии личного влияния на императора: для этой цели они ревниво оберегали двери своего «негласного комитета» от вторжения посторонних и облекали его чрезвычайно невинные занятия покровом непроницаемой тайны[3]; во-вторых—получить место, не просто места с жалованьем конечно: они были люди богатые,—а места, которые давали бы им влияние в администрации. Чарторыйский откровенно признается, что должности товарищей министров были созданы специально для «молодых друзей», т. е. без всякой в сущности надобности для дела. Это его подлинные слова: имея смелость повести свои догадки дальше его прямых признаний, мы не сделаем слишком большой неосторожности, если предположим, что и пресловутое «образование министерств» (8 сентября 1802 г.) имело одной из своих задач такую перетасовку правящего персонала, после которой *над* «молодыми друзьями» оказывались бы или нули или люди, им сочувствующие. Их влияние таким образом стало прочно, и не было больше надобности играть в заговорщиков. Все другие, обычно приводимые, мотивы гораздо менее объясняют дело. О замене *коллегиального* начала *личным* могут говорить лишь люди, не имеющие понятия о русской административной практике XVIII в. Коллегии с самого начала были пустой формой, и на самом деле президенты этих коллегий, имевшие непосредственный доклад

[1] См. *В. Кн. Николай Михайлович*, «Гр. П. А. Строганов», II, стр. 11, 34—35, 134 и др.

[2] См. ibid., «Delafixation de l'ètat des paysans», стр. 43 и сл. Ср. наш очерк в «Истории России в XIX в.», т. I, стр. 34.

[3] См. «Строганов», стр. 22, «La base gènerale.. le secret». См. особ. стр. 12,—специальное рассуждение о том, как опасно допускать к делу чужих людей.

у императрицы, уже при Екатерине II являлись настоящими министрами, не говоря уже о том, что функции теперешних министров юстиции,внутренних дел и финансов были и юридически в руках одного лица, генерал-прокурора. Фактически последний являлся премьером в теперешнем смысле слова, поскольку у него не оспаривали этого положения такие фавориты, какими были Потемкин и Зубов. При Павле «личное начало» было проведено так далеко, как только возможно—при нем появилось и самое звание «министра» (министр уделов), и был составлен тот план министерств, который был адоптирован в конце концов «молодыми друзьями». Прибавим, что павловский режим—управление через двух-трех доверенных лиц—все время продолжал господствовать и при Александре, несмотря на существование министерств: до первой войны с Наполеоном все фактически было в руках триумвирата «деятелей» (faiseurs), как называли тогда в салонах Петербурга Чарторыйского, Новосильцева и Строганова; после первой войны—в руках Сперанского по гражданской части и Аракчеева по военной, а в конце царствования—в руках Аракчеева—по всем частям. «Кабинета» в английском смысле, о котором теоретически мечтал Новосильцев, никогда не было,—по той простой причине, что кабинет опирается на партийную организацию, а сменявшиеся около Александра мелкие котерии никогда не выражали собою мнения даже придворных кругов в широком смысле, не только что какого-нибудь течения за пределами двора. Если их политика была все же классовой, то потому лишь, что их члены были представителями определенного общественного класса и не могли вылезти из своей социальной кожи, как и из кожи физической. Это дает известную физиономию «реформам первых лет»; все они, начиная с проектов превращения всех крестьян в оброчных и кончая проектами превратить сенат в некоторое подобие палаты лордов, носят на себе явный отпечаток взглядов и интересов *крупной знати*. С этой точки зрения образование комитета министров вероятно уже напомнило читателю «верховных господ» петровской эпохи. Но была и огромная разница: тогда «верховные господа» в союзе с буржуазией представляли собою крупнейшую *прогрессивную* силу; теперь «молодые друзья» и их старые советники были силой несомненно *реакционной*. После пугачевской помещичьей России, вкусившей от сладости нового барщинного хозяйства, рекою лившего золото в дворянские карманы, не нужно было ни оброчного мужика (всегда ведь, как мы знаем, «утаивавшего» свои доходы от барина), ни аристократической конституции, стеснявшей центральную власть. Для того чтобы вести хозяйство по-новому, нужен был крепостной мужик, порабощенный больше, чем когда бы то ни было, и железный полицейский порядок, который обеспечивал бы власть барина над этим мужиком. Это, немного лет спустя, и объяснил Александру Карамзин в самой до-

ступной форме. «Равнодушие» дворянства к «преобразовательным планам» Александра объясняется не чем другим, как тем, что для дворянства в целом эти планы были более чем излишними. Передовые группы нового дворянства, «помещиков-предпринимателей», были бы может быть не прочь от буржуазной конституции: проекты Сперанского и позже декабристов представляли собою эхо чаяний и ожиданий этого дворянского авангарда. Но тут поперек дороги стала та же старая знать: бессильная создать что-нибудь положительное, она отнюдь не желала делиться властью с российским «сельским сквайром», который умел разводить коноплю и пшеницу, но Монтескье не знал не только наизусть, как Безбородко, а нередко и по имени. Знаменитая характеристика Строганова относится именно к этому провинциальному дворянству[1]. План Сперанского рухнул под напором придворных кругов, и они же, эти круги, явились свирепыми судьями декабристов. Что масса не поддержала своего авангарда, это более чем естественно: масса всегда довольствуется минимумом. А минимумом для дворянской массы, как цинически, но верно выразил Карамзин, были хорошие губернаторы: еще проще говоря, хорошая—с помещичьей точки зрения—полиция. Со всем остальным можно было повременить. Только грубое вмешательство в непосредственную хозяйственную практику помещика могло в эту пору всколыхнуть среднее дворянство и на минуту солидаризировать его с аристократическими верхами. Так было в последние месяцы царствования Павла, так случилось в конце первых лет царствования его сына: и в том, и в другом случае почвой была внешняя политика.

Как видим, «реформы первых лет Александра I» для своего объяснения совсем не нуждаются в личности того, чье имя они носят. Оставляя совершенно в стороне вопрос о «роли личности в истории», мы можем игнорировать Александра Павловича этого периода просто потому, что он был тогда—извиняемся за плохой каламбур—совершенной безличностью. Собственные убеждения у Александра сложились постепенно в результате его жизненного опыта, уже как императора, приблизительно ко второму десятилетию XIX в. Особенно повлияла на него в этом отношении последняя борьба с Наполеоном (1812—1815 гг.). В 1801—1805 гг. это был недоучившийся ученик отчасти Лагарпа, отчасти своего отца—«наполовину швейцар-

[1] «Дворянство у нас состоит из некоторого количества людей, которые сделались благородными только благодаря службе, которые не получили никакого воспитания и которые по всему своему миросозерцанию неспособны представить себе, чтобы что-нибудь могло быть выше императорской власти. Ни право, ни суд—ничто не может зародить в них идею хотя о самомалейшем сопротивлении. Это—класс самый невежественный, самый грязный, и ум которого наиболее ограничен. Такова приблизительно картина дворянства, живущего в деревнях». «Гр. П. А. Строганов», II, стр. 111.

ский гражданин, наполовину прусский капрал», по ядовитому, но меткому замечанию Чичагова, который имел случай наблюдать его очень часто именно в этот период его жизни. И едва ли тот же Чичагов придумал фразу,вырвавшуюся в его присутствии у Александра, в минуту откровенности: «Господи! как меня пугает эта огромная ответственность и затруднения, окружающие меня со всех сторон! Как бы я был счастлив, если бы у меня было пятьдесят тысяч рублей дохода, да хороший полк, которым я мог бы командовать, вместо этой огромной страны и стольких народностей, которыми я должен управлять!» От отцовских уроков у него твердо засела в памяти важность «выпушек, погончиков и петличек»; он целые дни просиживал в комитетах, обсуждавших новую форму кивера или ботфортов, в то время как статс-секретарь у принятия прошений, Муравьев, по месяцам не мог добиться аудиенции. Мундиромания свирепствовала так же, как при Павле, нимало не стесняемая проектами конституции: и в то время как последние оставались на бумаге, новые проекты мундиров немедленно становились самой живой действительностью. Последним словом в этой области были тонкие, «осиные» тальи (мы помним, какое значение придавал им еще Скалозуб): забота о них доводила офицеров до того, что они на смотру, как барышни на балу, падали в обморок от туго перетянутого корсета. От Лагарпа Александр Павлович усвоил отвращение к рабству, причем, судя по мотивировке, которую он выдвинул в одном заседании негласного комитета, и павловская традиция играла тут свою роль. Полицейский мотив—возможность новой пугачевщины—в этой его аргументации был на первом плане. Но именно этот полицейский мотив—мы увидим это подробнее на истории «негласных комитетов» Николая Павловича—в корне подсекал самую идею эмансипации: как только разнеслась весть о намерениях императора, крестьяне немедленно начали «бунтовать», т. е. подавать на высочайшее имя жалобы на своих помещиков; и этого было разумеется довольно, чтобы всякие разговоры об освобождении крестьян заглохли на несколько лет. Таким образом новый мундир так и остался единственным образчиком индивидуального воздействия молодого императора на судьбу его страны.

Не больше «личностью» был в эти годы Александр Павлович и в своей внешней политике. В старой литературе упорно держался взгляд, перешедший и в учебники, что молодой император вступил на престол, одушевленный необычайно широкими и гуманными, хотя немного неопределенными, воззрениями на свою международную роль. Он будто бы видел в себе охранителя всеевропейского мира и«начал христианских»в отношениях между государями Европы, которых он рассматривал, как членов одной семьи. В пользу этого взгляда цитировались и кое-какие документы—вполне подлинные. Только они вышли из-под пера

не самого Александра, а его тогдашнего министра иностранных дел[1], Чарторыйского, который преследовал действительно некоторую идеальную цель, но не совсем ту, какую приписывали внешней политике Александра позднейшие историки. «Я хотел бы,—пишет в своих мемуарах Чарторыйский,—чтобы Александр сделался некоторым образом третейским судьей цивилизованного мира; чтобы он был покровителем слабого и угнетенного, стражем справедливости в международных отношениях, чтобы его царствование одним словом начало собою новую эру в европейской политике, которая должна была впредь быть основана на общем благе и на праве каждого». Какая сентиментальность, скажет читатель. Вовсе нет: Чарторыйский был все, что угодно, но только не сентиментальный фантазер. Можно сказать, что вся жизнь этого замечательного человека била в одну точку: «моя система,—говорит он,—своим основным принципом устранения всех несправедливостей *необходимо вела к постепенному восстановлению Польши*. Но чтобы не натолкнуться сразу же на трудности, которые неизбежно должна была встретить дипломатия, столь противоположная укоренившимся взглядам, *я избегал произносить имя Польши*. Идея ее восстановления подразумевалась всем смыслом моей работы, всем тем направлением, какое я хотел придать русской политике: я говорил только о постепенном освобождении народов, несправедливо лишенных их политического существования; я не боялся назвать греков и славян; все это было как нельзя более согласно с желаниями и мнениями русских; но косвенно все это было приложимо также и к Польше». Александр не был в числе обманываемых: он был посвящен в планы своего министра. Ему без сомнения льстило быть спасителем, избавителем, добрым гением всех угнетенных, в том числе и поляков; но инициатива этого «красивого жеста» принадлежала совсем не ему, и неизвестно, добрался ли бы он до этой идеи собственными средствами. Еще менее можно усвоить этой голове, «посредственной во всех отношениях» тот тонко рассчитанный маккиавелизм, с каким Чарторыйский стремился сделать слугою своего дела ни более, ни менее, как Англию. «Самое могучее оружие, каким пользовались до сих пор французы и которым они еще грозят всем странам, это общее убеждение, которое они сумели распространить, что их дело есть дело свободы и счастия народов,—читаем мы в секретной инструкции Новосильцеву, посланному за спиною официальной дипломатии вести переговоры с Питтом инструкции, подписанной Александром, но написанной конечно его министром.—Стыдно было бы за человечество, если бы дело, столь прекрасное, приходилось рассматривать как собственность правительства, которое ни в каком отношении не заслуживает быть

[1] Номинально *товарища* министра, но фактически он был руководителем русской иностранной политики до 1806 г.

его защитником; было бы опасно для всех государств оставлять долее за французами явную выгоду казаться таковым. Благо человечества, *истинный интерес законных властей* и успех предприятия, задуманного обеими державами, требуют, чтобы они вырвали из рук французов это страшное оружие, и завладевши, воспользовались им против них самих».

Итак политическая свобода должна была стать оружием в руках держав старого порядка («законных властей») против уже не республиканской, но все еще символизировавшей в глазах мира революцию Франции. Трудно найти в истории дипломатических отношений, что-нибудь равное этой международной зубатовщине: и нужно сказать ничто не было усвоено Александром Павловичем лучше. Чарторыйский нашел не весьма правда благодарного, но чрезвычайно памятливого ученика; конституции Финляндии и Польши рядом с аракчеевщиной в самой России находят себе в инструкции Новосильцеву столь полное объяснение, какого только можно желать. Для непосредственной цели переговоров—англо-русского союза—зубатовщина была правда излишней роскошью: еще за год до миссии Новосильцева англичане со своей стороны употребляли все усилия, чтобы сделать Россию своей союзницей в войне с Францией. «Англичане стараются здесь со всей обычной энергией и своими обычными средствами подкупить русское правительство,—писал весною 1803 г. Талейрану французский посланник в Петербурге, Эдувиль. Английским негоциантам, Торнтону и Байму, живущим в Петербурге, поручено их правительством предоставить в распоряжение адмирала Уорена (английского посланника) от 60 до 70 тысяч фунтов стерлингов, 40 тыс. уже траспрованы на Лондон, и остальные тоже трасируют немедленно. Полагают, что эти суммы предназначены главным особам при дворе, которых Англия хочет привязать к себе во чтобы то ни стало». Когда Новосильцев явился к Питту, английский министр немедленно перевел беседу на столь же реалистическую почву. Учтиво выслушав излияния русского правительства на счет того, что всем народам Европы необходимо обеспечить свободу, «опирающуюся на ее истинные основания», и что из этого принципа должно исходить все поведение договаривающихся держав, Питт заявил, что английские субсидии будут доведены до такой цифры, до какой только окажется возможным. «Мы гарантируем пять миллионов фунтов стерлингов,—сказал он,—быть может даже немного более». Он оговорился правда, что далеко за пределы этой цифры Англия не в состоянии будет выйти, не стесняя своей торговли. Александр не обратил должного внимания на эту оговорку и за то впоследствии, в 1807 г. был наказан, очутившись в необходимости заключить весьма постыдный и еще более невыгодный для России Тильзитский мир именно по той причине, что английские субсидии, достигнув предела, иссякли. Но в 1804 г. это было еще далеко впереди: Питт же кроме гран-

диозных размеров суммы соблазнял еще (как это делают опытные банкиры) разными маленькими, но весьма приятными удобствами: обещал например начать выплату субсидий за четыре месяца до объявления Россией войны Франции, так что и расходы по мобилизации оказывались достаточно обеспеченными. Если война не вспыхнула тотчас же, а была отсрочена почти на год, виной была непомерная жадность проявленная австрийским правительством,—тогда как без участия Австрии Россия не могла двинуться с места. Австрийцы одни желали получить два миллиона фунтов единовременно за мобилизацию и сверх того по четыре миллиона в год. Что же осталось бы России? Другим препятствием неожиданно явилась Пруссия, каким-то не совсем ясным образом проникшая повидимому в тайну польских планов кн. Чарторыйского: возможно, что «дружба» королевы Луизы с Александром Павловичем была не совсем чужда этому делу. Но большая часть разделенной Польши с Варшавой в центре была тогда в русских руках: возрождение польского королевства являлось предприятием, непосредственно направленным против Пруссии. С одной стороны грозила опасность потерять Польшу, с другой—Наполеон сулил отнятый им у англичан Ганновер: прусскому королю при всей его симпатии к «интересам законных властей» было от чего поколебаться. С трудом добились от него, чтоб он, по крайней мере, «не мешал»; и он действительно не помешал Австрии и России быть на-голову разбитыми Наполеоном.

После Аустерлица (ноябрь 1805 г.—почти ровно через год после переговоров Новосильцева с Питтом) Австрия, для которой весь реальный интерес войны заключался в английских субсидиях да надежде на территориальные приобретения—ей обещали всю Баварию и кроме того «исправление границы» с итальянской стороны,—поспешила выйти из игры: интерес идеальный, сводившийся к лютой ненависти австрийских феодалов против «санкюлотской» Франции, должен был помолчать до поры, до времени. Будь для России все дело в английских субсидиях, она конечно тоже должна была бы заключить мир. Если она этого не сделала, значит русско-английский союз опирался теперь на нечто более солидное, чем взятки частного или государственного характера. Это, более прочное, основание русско-английской дружбы французские дипломаты уже указывали с полной определенностью. «*Россия слишком связана с Англией своей торговлей*, чтобы особенно хлопотать о сохранении мира» (с Францией), писал в той же цитированной нами депеше, Эдувиль еще за полтора года до войны. Русско-английский союз был экономической необходимостью для обеих стран, притом для России, более, чем Англии: вот почему и разорвала его вторая, а не первая. Русские войска не только после Аустерлица, но и после Фридланда (2 июня 1807 г.), после второй проигранной кампании, продолжали бы пытать счастье против францу-

зов; но англичане не только отказывались что бы то ни было платить—они отказались даже гарантировать русский заем в Лондоне. Видимо там окончательно разочаровались в качестве русских штыков, да и пределы, аккуратно намеченные Питтом, были уже перейдены: русскому императору волей-неволей приходилось мириться.

Здесь Александру Павловичу впервые пришлось познакомиться не теоретически, а практически, на самом себе, с неудобствами абсолютизма. Война отнюдь не была его личным делом; русское дворянство с своей стороны принесло большие жертвы англо-русской дружбе; в два года было взято 600 тыс. рекрут: это называлось правда *милицией*, и правительство сначала дало даже обязательство не употреблять ратников ни для чего иного, кроме обороны русской территории, но на самом деле ни один из «милиционеров» после войны не вернулся в деревню,— все они пошли на укомплектование действующей армии. Жертвуя столько рабочих рук, помещики в праве были ожидать что правительство отнесется к войне серьезно: а оно, бог весть почему, вдруг уступило «врагу рода человеческого». Между тем по крайней мере в Петербурге вовсе не были еще утомлены войной. Для дворянской молодежи война представляла кроме того специальную выгоду; офицеры на время похода освобождались от обязанности платить долги. Война велась на чужой территории и разоряла пруссаков, а не русских (разоряла в такой степени, что пруссаки весьма откровенно говорили о предпочтительности для них французского «нашествия» перед русской «дружбой»); ни один неприятельский солдат не ступил еще ногою на русскую почву, а Россия уже сдавалась! Мотивы, повелительно диктовавшие Александру такое решение, для сколько-нибудь широких кругов были тайной; не мог же русский император объявить во всеобщее сведение, что англичане его «разочли». В глазах дворянской массы мир был доказательством слабохарактерности Александра и его неуменья вести дела. Его возвращение в Петербург из Тильзита было встречено ледяным молчанием. Его старались «не замечать», как это делают в приличном обществе с осрамившимися молодыми людьми,—и всячески избегали говорить о Тильзите, о мире, о Франции и ее «императоре» (в частных разговорах это был конечно по прежнему «Буонапарте»). Представитель этого последнего(знаменитый обер-полицейместер Наполеона, Савари) напрасно приписывал такую сдержанность страху; он на себе мог убедиться, что высшее общество Петербурга отнюдь не запугано. Уполномоченный победителя России сделал тридцать визитов и был принят только в двух домах. Два гостеприимные петербуржца—единственные притом, которые и отдали визит Савари—были, как нарочно, из числа ближайших и раболепнейших слуг Александра Павловича. Все, что было понезависимее, бойкотировало французов без всякого страха. Правительство не решалось опубли-

ковать тильзитский договор—и, пользуясь этим, на бирже публично говорили, что мир может быть вовсе еще и не заключен—так только болтают... Причины особенно нервного отношения к делу именно биржи мы сейчас увидим: пока что отметим, что подмеченные Савари явления вовсе не были местными, петербургскими. Наоборот, чем дальше от столицы, тем разговоры становились, если так можно выразиться, безбрежнее. Проезжавший через Лифляндию французский консул Лессепс слышал там, что «противная миру партия получает с каждым днем все больше силы. Говорят, что во главе этой партии стоит вдовствующая императрица, поддерживаемая англичанами и их приверженцами; к этому прибавляют, что император Александр, опасаясь их угроз, вместо того чтобы въехать в столицу тотчас после своего отъезда из Риги, счел более благоразумным отправиться сначала в Витебск, чтобы заручиться значительной частью войска, которую можно было бы употребить в случае нужды; что в Москве брожение достигло крайних пределов, и ожидают известия о заключении вдовствующей императрицы в монастырь, и т. д.». Но что было спрашивать с захолустных помещиков, когда французскому послу в Петербурге, человеку, которого уже одно официальное положение обязывало быть наибольшим оптимистом в этом случае, нет-нет да и подвертывалась под перо параллель с событием 11 марта 1801 г. «Все жалуются, но никто не недоволен настолько, чтобы нужно было бояться катастрофы,—писал в феврале 1808 г. преемник Савари, Коленкур, которого за его дружбу с Александром Наполеон потом прозвал «русским». Воспоминание об императоре Павле и страх перед великим князем охраняют жизнь императора лучше, нежели правила и честь русских вельмож и офицеров». Другими словами: Александра не убьют, утешал Коленкур Наполеона, потому что боятся, что его наследник, Константин Павлович, окажется копией Павла. Чего стоило одно такое утешение!

3. Континентальная блокада и дворянская конституция.

Коленкур старался уверить себя и своего повелителя, что дело совсем не серьезно: «фрондируют, как и во всех столицах». Но у дворянской фронды 1807—1808 гг. были очень глубокие основания. Тильзитский мир обозначал присоединение России к *континентальной блокаде*, объявленной берлинским декретом Наполеона (21 ноября н. ст. 1806 г.). Французский император не допускал в этом случае никакого нейтралитета—Россия должна была прервать всякие торговые сношения с Англией, как прямые, так и косвенные (через посредство датчан например). «Последние меры, принятые русским правительством против англичан, произвели здесь очень сильное впечатление,—доносил Савари от 6/18 октября 1807 г.—В особенности в купеческом мире позволяют себе наиболее замечаний

по этому поводу. *На закрытие гаваней английским кораблям смотрят как на запрещение, наложенное на все произведения русской земли*, которые Англия покупала и вывозила ежегодно в таком большом количестве; продолжение такого положения вещей представляется уже бедствием, которое прямо затронет интересы народа. Враги Франции, ловко хватающиеся за всякое оружие, которым они могут бороться с нею здесь и уменьшить влияние, которое, как они опасаются, она может оказать на общественное мнение, не упускают случая воспользоваться таким средством... Можно опасаться, что если вскоре не будут приняты какие-либо репрессивные меры, жалобы торговцев примут более серьезный характер. Г. Румянцев так думает, и только от усердия этого министра будет зависеть помешать тому, что он предвидит». Но даже начальник наполеоновской полиции понимал, что дело слишком серьезно, чтобы его можно было уладить обычной тактикой полицейского участка. Вероятнее всего не сам, а при помощи французского консула в Петербурге, Лессепса, Савари набрасывает далее довольно широкий план, легший позже в основу коммерческой политики Наполеона относительно России. «Франция имеет может быть больше средств, чем Россия, чтобы заставить умолкнуть жалобы русских купцов, этого разряда людей, ставящих выше всего свою личную выгоду,—продолжает он свое донесение.—Достаточно бы было распространить в публике слухи, что Франция, которая так давно не делала закупок в России, намеревается закупить лесу, пеньки, холста и пр. При настоящих обстоятельствах подобный торг был бы для нас столь же полезен в политическом отношении, сколько и выгоден: мы приобретем хорошее мнение наиболее недовольных и заставим забыть англичан, о которых будут жалеть по очень многим причинам, если мы не постараемся заменить их; выгода же будет та, что Франция пользуясь минутою, закупит все без конкурентов, а следовательно и дешево». Наполеон очень заинтересовался идеей. Велено было распространить в Петербурге слух, что Франция намерена закупить на русском рынке на 20 миллионов франков материалов для своего флота. Преемнику Савари, Коленкуру, был отпущен миллион франков со специальной целью поддерживать курс русского рубля,—за три года (1804—1807) упавший с 350 до 200 сантимов, что очень удручало русское министерство финансов. Коленкуру в его инструкции было нарочито предписано собрать французских негоциантов, имеющихся в Петербурге, «ободрить» их и составить из них комитет, который бы занялся возрождением русско-французской торговли. Все это было очень недурно на бумаге, но действительность готовила жестокое разочарование. Во-первых никаких французских «негоциантов» в русской столице не оказалось, кроме содержателей модных магазинов, которые не могли же заменить англичан в деле покупки железа и пеньки. Те, кто предлагал свои услуги,

были по признанию самого французского консула, личности очень сомнительные. А затем возник вопрос, что же делать с закупленными товарами? Если еще лионский бархат или брюссельские кружева выдерживали перевозку сухим путем, то от холста, а тем паче железа или пеньки ничего подобного ожидать было нельзя: привезенный на лошадях из Москвы в Париж русский холст обошелся бы дороже самого тонкого голландского полотна. Между тем, как осторожно выражался французский торговый комитет в своем докладе Коленкуру, «мореплавание, если смотреть на него только по отношению к его пользе торговле, не представляет более удобства при перевозке съестных припасов и произведений промышленности обеих наций. Оно будет по всей вероятности закрыто в течение этого года более, чем когда либо, а если сообщение прекратится, ввоз в Россию и вывоз из нее окажутся вполне невозможными, если не принять к тому некоторых мер». Эти последние, по мнению французского торгового комитета, заключались ни более, ни менее, как в создании системы внутренних водных сообщений между Невою и Вислою, с одной стороны, Вислою и Рейном— с другой... Прежде чем французы смогли бы заменить на русском рынке англичан, надо было бы вырыть с тысячу верст новых каналов, примерно: не мудрено, что в Петербурге к возне Коленкура и Лессепса относились с полным равнодушием. В то же время на Балтийское море, хотя на нем в это время не было ни одного английского военного корабля, никто не решался показать носа: так была велика уверенность всех в несокрушимости британской монополии на водную стихию. Блокада Англии на практике превращалась в такую полную и совершенную блокаду балтийских берегов, какую только можно себе вообразить. После шестимесячных хлопот положение на петербургском рынке было таково по оценке самого французского посланника: «Курс несколько ниже 20 ходячих голландских су за бумажный рубль. Несколько месяцев спустя после Амьенского мира (т. е. в 1803 г.) тот же рубль стоил 39 таких же ходячих голландских су. Отчасти курс определяется отношением серебряного рубля к бумажному. В то время как после Амьенского мира за рубль, т. е. 100 копеек серебром, получали не более $1^1/_4$ рубля или 125 копеек бумажных, теперь за него можно получить $1^4/_5$ рубля или 180 копеек тех же бумажных. По всей вероятности за один серебряный рубль можно будет получить до двух рублей бумажных, как только будет объявлено о новом выпуске бумажных рублей (число которых сохраняется в строжайшей тайне в этой стране)». Приведя некоторые смягчающие обстоятельства в объяснение такой картины денежного рынка, Коленкур переходит затем к рынку товарному и дает чрезвычайно любопытную таблицу цен на главнейшие предметы русского экспорта в ноябре 1803 и в марте 1808 г. Несколько цифр из этой таблицы дадут понять читателю о раз-

мерах кризиса, созданного в этой области Тильзитским миром.

	1803 г. (по курсу 39 су за рубль)	1808 г. (по курсу 20 су за рубль)
берковец лучшего железа стоил	$2^1/_2$ р. (82 голл. су)	$2^1/_4$ р. (50 голл. су)
пеньки 1-го сорта . . .	48	45
сало 1-го сорта	58	$50^1/_2$

Таким образом цены на железо упали на 60, а на пеньку даже на 75%!

В то же время цены на все мануфактурные товары сильно поднялись, причем Коленкур сам не решался объяснять этого подъема падением курса рубля, как ни сильно ему хотелось этого. Утешение, которое он в этом случае мог придумать, звучит почти комически: если бы Балтийское море было свободно, говорит он, то положение торговли сделалось бы довольно сносным. Но так как именно этого-то и нельзя было ожидать, то оставалось уповать лишь на то, что торговцы в прежнее время получали хорошие барыши и теперь на прикопленное от счастливых лет «смогут перенести настоящее тяжелое положение». Утешение было во всяком случае не для русских торговцев. Но был разряд предпринимателей, на которых даже сам Коленкур не находил возможным распространить свой оптимизм и эти наиболее несчастные были ни более, ни менее, как магнаты тогдашней России, *железозаводчики*. «Эти последние, не продававшие товара в течение последних двух лет, с целью поддержать необыкновенно высокие цены, поднятые англичанами на этот товар, теперь завалены им; когда же банк принужден был прекратить выдачу ссуд за счет этого товара, потому что их стали требовать слишком много, то последовал усиленный сбыт его со стороны Демидовых, причем 400 тыс. руб. наличными деньгами понизили этот товар до ничтожной цены 130 копеек или $1^3/_{10}$ кредитного рубля за 330 голландских фунтов...[1]. *Для знати за весьма немногими исключениями дело непоправимо.* При своих запутанных делах, обремененные всегда долгами и находящиеся вечно под ножом ростовщиков, они еще больше будут страдать, пока продолжается война, и следовательно, будут сетовать».

Записка Коленкура со всею ясностью, какой только можно пожелать, намечает тот общественный класс, который должен был быть отброшен в оппозицию Тильзитским миром. Это были представители крупного землевладения, т. е. те самые старые и молодые «монаршисты», с которыми управлял Александр до 1807 г.—или вернее которые до этого времени управляли от его имени. Не сумев предупредить катастрофы, они теперь первые от нее пострадали, но винили конечно не себя, а все то

[1] Т. е. за русский берковец.

же козлище отпущения: самодержавного юридически императора, чуть ли не из каприза—и во всяком случае из трусости—заключившего мир. Старик Строганов был одним из первых, кто отказался впустить в свои салоны французского посла. И уже очень скоро дело пошло гораздо дальше. В ноябре 1807 г. Савари мог доносить новому союзнику Наполеона почти-что о заговоре, затевавшемся «английской партией», называя прямо по именам Новосильцева, Кочубея и Строганова, как его вождей. Савари конечно мастер был сочинять «заговоры»—такая была его профессия,—но у него было в руках документальное доказательство, если не злоумышления, то несомненного зложелательства недавних «молодых друзей» императора. Этим доказательством был заграничный памфлет, привезенный в Петербург английским агентом Вильсоном, и распространявшийся в петербургских гостиных не кем другим, как Новосильцевым с братией,—памфлет, где не щадили тильзитского друга Наполеона, резко противопоставляя «малодушию» Александра бодрость русского общественного мнения и мужество русской армии, готовой драться до последней капли крови. Прочтя принесенную Савари брошюру, Александр был буквально вне себя. Он назвал ее «подлой», говорил, что он, «топчет ногами» то, что в ней говорится по его адресу; но на самом деле он так мало ею пренебрегал, что вчерашние «молодые друзья» моментально превратились в «этих господ», а секундою дальше в «изменников». И как позже Коленкур, так Александр в разговоре с Савари ни минуты не колебался в социальной характеристике этих «изменников». Он никого не пощадил в этом на редкость откровенном, для дипломатической аудиенции, разговоре—ни отца, ни бабушки. «Это царствование Екатерины бросило семена неудовольствия, с которым я теперь вожусь,—говорил Александр. Покойный император сделал еще хуже. В эти два царствования коронные имения были отданы в эксплоатацию *всем этим грязным людям*, которых столь прославили события того времени. При Павле давали 9 тыс. крестьян, как брильянтовый перстень. Я решительно высказался против таких приемов управления, *я ничего не даю этим людям*, а затем я хочу вывести народ из того состояния варварства, в которое его погружала *торговля людьми*[1]. Я скажу даже больше: еслибы цивилизация была достаточно развита, я *уничтожил бы это рабство*, *хотя бы мне это стоило головы*. Вот, генерал, источник неудовольствия,—но могут говорить, что угодно, меня не заставишь перемениться и вы скоро услышите о предупреждении, которое я сделаю этим господам». В примечании к этому месту своего донесения Савари прибавляет, что Кочубею немедленно было предложено подать в отставку, а Новосильцев «получил предписание путешествовать».

[1] Пусть читатель вспомнит споры о продаже людей без земли в негласном комитете.

Вот в какой связи была произнесена Александром знаменитая фраза о его желании уничтожить крепостное право,—фраза, которую так часто цитировали, как образчик его обычных взглядов на крестьянский вопрос. На самом деле это было вовсе не простое «выражение мнения»—это был новый боевой лозунг, это был вызов, брошенный «грязным людям», вчерашним «молодым друзьям». Павловская демагогия возрождалась, но на этот раз, в руках людей нормальных и казалось бы более страшных поэтому, чем погибший 11 марта 1801 г. император. Александр как будто нарочно хотел подчеркнуть свой поворот на павловскую колею. Великий полководец гатчинского войска, правая рука Павла, Аракчеев именно теперь приобретает то положение исключительно доверенного лица при Александре Павловиче, в каком привыкла его видеть история: 14 декабря 1807 г. (месяц спустя после цитированной нами беседы императора с Савари) предписано было «объявляемые генералом-от-артиллерии графом Аракчеевым высочайшие повеления считать именными нашими указами». Телохранитель, из-за отсутствия которого, как многие думали тогда, погиб Павел, теперь безотлучно сторожил его сына. Но Александр заботился не только о своей личной безопасности—он хотел показать «грязным людям», что он может сделать. Ему был нужен не только телохранитель,—а и политический секретарь, вернее (сам он этого не сознавал конечно) политический руководитель, который занял бы место, опустевшее с изгнанием «молодых друзей». Таким явился Сперанский.

Деятельность Сперанского не представляла бы никакого интереса, если бы она была отражением лишь случайной перемены взглядов Александра Павловича. Для историка эта деятельность получает смысл лишь с того момента, как удается выяснить, интересам каких общественных групп она служила. Нужно признаться, что для выяснения этого вопроса в русской исторической литературе сделано чрезвычайно мало. Достаточно сказать, что до сих пор мы не имеем ни одной *монографии*, посвященной Сперанскому (*о биографиях*,—из которых лучшая все-таки Корфа, несмотря на свою устарелость, —не приходится говорить: их авторы *научных* задач себе и не ставили). Общие исторические работы по данной эпохе упорно придерживаются индивидуалистической точки зрения: и мы имеем например весьма тонкий анализ тех мотивов, которые определили в душе Александра I ссылку Сперанского, но никакой попытки анализировать действительный социальный смысл пресловутых указов 3 апреля и 6 августа 1809 г.—указов, которым придают такое огромное значение в истории падения Сперанского, хотя они предшествовали этому падению чуть не на три года. Лишь последний по времени историк Александра косвенно затронул вопрос о социальной подкладке проектов 1809—1810 гг.: правда не столько по собственной инициативе,

сколько натолкнутый на это своими источниками. Но общее миросозерцание этого историка настолько убого, что большой пользы и от его попытки наука не получила. Мы узнали интересные подробности о связях Сперанского с масонством и о его надеждах на русское духовенство: но не в этом же был смысл «плана государственного образования», давшего проектам Сперанского историческое значение. Чего однако и можно было ожидать от ученого, искренно убежденного, что арестуй Николай Павлович во время Рылеева—и никакого 14 декабря вовсе бы не было? И после работы проф. Шимана—о ней идет здесь речь[1],—как и после очень талантливого в своем роде труда покойного Шильдера, с полным правом можно сказать, что Сперанский ждет своего историка. Пока этот последний не пришел, приходится оперировать очень общими соображениями, правдоподобность которых едва ли однако же может быть поколеблена детальными исследованиями. Как все исторически крупное, планы Сперанского примыкали к весьма широким течениям, которые слишком заметны на поверхности истории, чтобы их можно было не видать, даже рассматривая события по неволе с птичьего полета. Тем более что он и сам нисколько не думал замаскировывать этой связи. Что *финансы и кредит* являлись становым хребтом его проектов, об этом он говорит как нельзя более ясными словами. «Все жалуются на запутанность и смешение гражданских наших законов,—читаем мы в «Плане государственного образования»: но каким образом можно исправить и установить их без твердых законов государственных? К чему законы, распределяющие собственность между частными людьми, когда собственность сия ни в каком предположении не имеет твердого основания? К чему гражданские законы, когда скрижали их каждый день могут быть разбиты о первый камень самовластия? *Жалуются на запутанность финансов. Но как устроить финансы там, где нет общего доверия, где нет публичного установления, порядка их охраняющего?* В настоящем положении нельзя даже с успехом наложить какой-нибудь налог к исправлению финансов необходимо нужный: ибо всякая тягость народная приписывается единственно самовластию. Одно лицо государя ответствует народу за все постановления; совет же и министры всегда, во всякой мере тягостной, могут отречься от участия там, где нет публичных установлений». Итак без «Публичных установлений», без политических гарантий нет публичного кредита, а без кредита немыслимы прочные финансы: такова основная мысль Сперанского. Возьмите теперь «Патриотическое рассуждение московского коммерсанта о внешней российской торговле», почти современное[2], и вы прочтете там:

[1] «Geschichte Russlands unter Nikolaus I». Первый том (1904 г.) целиком посвящен царствованию Александра I.

[2] Написано в начале 20-х годов, напечатано дважды, в VI томе «Архива гр. Мордвиновых» и в 8-й книжке «Русского архива» за 1907 г.

«Россия сохраняла всегда и будет сохранять благоговейное повиновение велениям правительства: но *доверенность есть чувство внутреннее, оно не вынуждается, но приобретается для каждого коммерсанта*. Наипаче нужно то, чтобы он точно был уверен, что постановления сии были отечественны, на которых основывать должен все свои расчисления, предприятия и обороты, чтобы они были прочны и непоколебимы. Иначе если он раз потерял от внезапного изменения сих постановлений часть своего достояния, то праведно приогорченный не может уж действовать с полною свободою; он связан, он страшится всего и ничему не доверяет: *тогда исчезает и взаимная частная доверенность упадает кредит и прерывается неразрывная цепь беглого оборота капиталов*». Точки зрения секретаря Александра Павловича и представителя интересов крупной русской буржуазии той же эпохи различаются лишь постольку, поскольку различны их официальные положения: один смотрит сверху— с высоты казенного сундука, если можно так выразиться; другой снизу— оберегая выгоду частного кармана. Но оба видят одно и то же— и говорят почти то же самое и даже чуть не теми же словами.

Крупная буржуазия—преимущественно торговая, но не менее и промышленная—была единственной общественной группой, выигравшей от франко-русского союза 1807 г. Уже через несколько месяцев после Тильзита французский представитель в Петербурге отмечал, что «крупные спекулянты», пользуясь лихорадочными скачками курса, наживают себе огромные состояния среди всеобщего разорения. С исчезновением английских купцов и за отсутствием французских русские купцы сделались царями петербургской биржи. Не нужно забывать, что балтийская торговля при всех усилиях Наполеона не вовсе стала: помимо контрабанды, достигшей невероятных размеров— и тем более прибыльной,—процветала «нейтральная» торговля. В Кронштадт и Ригу приходили корабли под датским, голландским, иногда даже прямо французским флагом—и французский посол, покидая сферу высшей политики, должен был предаваться весьма мещанскому занятию, с помощью сыщиков и доносов изобличая перед русскими властями французского капитана из Бордо в провозе товаров несомненно манчестерского происхождения. Французский патриотизм перед лицом торгового барыша оказывается столь же мало устойчивым, как и всякий другой. Зато большими патриотами оказывались—по той же самой причине—русские мануфактуристы. Историк русского хо-

---

Мы цитируем по последнему изданию. В. И. Семевский приписывает его предположительно перу декабриста Штейнгеля («Общ. движение в России», I, стр. 290, прим. 2). Нам кажется, что Штейнгель мог бы изложить свои мысли грамотнее, судя по его мемуарам. Но г. Семевский не отрицает, что записка была написана для московского купечества и по его поручению; так что для характеристики взглядов буржуазии она, и при его гипотезе, может служить. Курсив мой.—*М. П.*

зяйства никогда не забудет, что расцвет русского бумагопрядильного производства был создан именно Тильзитским миром: в 1808 г. основана первая русская—частная—бумагопрядильня, а в 1812 г. в одной Москве их было 11. Исчезнувшую на рынке английскую пряжу сменила русская. Десять лет спустя «благонамеренный и опытный российский коммерсант» воодушевлялся почти до ораторского пафоса, вспоминая об этом времени. «Не только многие богатые коммерсанты и дворяне, но из разного состояния люди приступили к устройству фабрик и заводов разного рода, не щадя капиталов и даже входя в долги,—говорит уже цитированное нами «патриотическое рассуждение». Все оживилось внутри государства и везде водворилась особенная деятельность». Даже 1812 г.—когда между прочим сгорели все московские фабрики, не надолго прервал этот золотой век. Официальные союзники России в дни отечественной войны, англичане, были тогда главными врагами в глазах российского купечества, курьезным образом совершенно сливаясь в этих глазах с фигурою их антагониста, императора Наполеона. «Завистливое око иностранцев предвидело весьма ясно, что должно ожидать от России, если она не будет иметь нужды ни в чьей помощи. Чтобы двигать страшными своими ополчениями (имеется в виду конечно Наполеон), она через агентов своих тогда же постаралась рассеять слух, что по политическим сношениям вскоре разрешится таки ввоз в Россию их изделий (т. е. конечно *английских* изделий) и тем приостановили многих из российских купцов, кои готовились распространить полезные мануфактурные изделия». Но ни англо-наполеоновские козни, ни пожар Москвы не помогли врагам российского капитализма, пока были в силе протекционные тарифы 1810 и 1816 гг. «Звонкая монета явилась повсюду в обороте, земледельцы даже нуждались в ассигнациях; в московских же рядах видны были груды золота; фабрики суконные до того возвысились, что китайцы не отказывались брать русское сукно, и кяхтинские торговцы могли обходиться без выписки иностранных сукон. Ситцы и нанка стали не уступать отделкою уже английским; сахар, фарфор, бронза, бумага сургуч доведены едва ли не до совершенства. Шляпы давно уже стали требовать даже за границу. При таком усовершенствовании русских фабрик в Англии едва ли не доходили до возмущения от того, что рабочему народу нечего было делать». Но чего не смогли ни пушки Наполеона, ни английские интриги, то одним почерком пера осуществил фритредерский тариф 1819 г.—дата, в воспоминаниях нашего автора гораздо более роковая, нежели «двенадцатый год». «Тарифом 1819 г. объявлено всеобщее разрешение ввоза иностранных товаров. Российское купечество с сокрушением прочло в одном из отечественных журналов, что в Лондоне по сему случаю даны были многие празднества, британские фабрики, перед тем остановившиеся, пришли в движение, и рабочий

народ получил занятие на счет России. Вскоре наводнилось отечество наше отовсюду необъятным множеством разных иностранных изделий, между тем как наше железо лежало на бирже без хода, и последовало из того явное преизбыточество ввоза перед отпуском отечественных товаров, вознаграждение оного звонкою монетою вывело ее всю за границу».

В западной Европе были целые страны, индустриальному развитию которых континентальная блокада дала сильный толчок: к их числу принадлежали Саксония и северная Италия. В России нашлась по крайней мере группа населения, среди которой русско-французский союз не был не популярен. Но Сперанский стал у власти именно как сторонник этого союза. «Г. Сперанский (M. de Speransky), секретарь императора, которого ваше величество видели в Эрфурте, только что назначен товарищем министра юстиции,—доносил Наполеону Коленкур от $^{2}/_{15}$ января 1809 г.—Помимо того что он вообще пользуется превосходной репутацией, он один из тех, кто выказывает наиболее преданности настоящей системе, которой другие подчиняются больше по наружности, чем на самом деле—только, чтобы понравиться государю, который продолжает казаться горячим ее сторонником». Естественно, что Наполеон заинтересовался такой редкостью—и не забыл Сперанского, хотя никак не мог запомнить его имени: в 1812 г. при разговоре с Балашовым французский император не без настойчивости допытывался у последнего, за что именно постигла опала бывшего секретаря Александра I. Положение Балашова было очень пикантное,—ибо он как раз и был главным действующим лицом при этой опале: но если верить его словам, он сумел отделаться общими фразами. Что разрыв союза и падение Сперанского оказались так тесно связанными между собою, это лежало таким образом в существе дела, а отнюдь не было только результатом провокаторских расчетов тех, или того, кто сослал Сперанского[1]. Для тех, кому Тильзитский мир казался источником всех бедствий России, т. е. для всей «знати», для всего крупного землевладения, Сперанский был действительно изменником: а когда логика истории заставила Александра стать на точку зрения этих людей, Сперанский стал изменником и для него. Как с одной стороны, нет надобности подозревать сознательную клевету, так с другой—дело вполне понятно и без предположения о сознательном предательстве. Перемена взглядов тем легче могла здесь принять форму личного столкновения, что Сперанский в разговорах с Александром Павловичем не думал скрывать своего преклонения перед Наполеоном и Францией даже тогда, когда не могло уже быть сомнения, что ни о какой русско-

[1] Такова, как известно точка зрения Шильдера, неосторожно подчинившегося здесь взглядам де-Санглена, начальника тайной полиции Александра: на записках де-Санглена основаны главным образом все рассказы о событии 17 марта 1812 г.

французской дружбе больше нет речи. Их последняя беседа—повидимому определившая окончательно судьбу Сперанского—в том и состояла, что император высказывал намерение лично вести войну против французов, а его секретарь, не обинуясь, утверждал что затевать борьбу с последними—совершенная бессмыслица, что на поле битвы Александр Павлович не может тягаться с Наполеоном, и что если уже он так хочет вести эту войну, пусть раньше по крайней мере спросит мнение об этом народа, созвав государственную думу. Тут-то Александр, по его словам, и убедился вполне в «измене» Сперанского[1]. Все это до сих пор—«человеческое, слишком человеческое», и могло бы случиться у всякого государя со всяким министром: своеобразную индивидуальность в этот эпизод,—чтобы уже не возвращаться к нему более,—вносят лишь долгие дружеские беседы за чашкой чая императора всероссийского с такою уже без всякого сомнения «грязной» личностью, как шеф его тайной полиции. Хотелось бы верить, что и эти рассказы де-Санглена такое же хвастовство, как и то, что он повествует о своем необыкновенном благородстве, посрамлявшем Армфельда, Балашова и других приближенных Александра. Но к сожалению известия из других источников, уже гораздо более надежных, подтверждают, что Александр Павлович любил полицейские мелочи не меньше военных—и в слежке за своими врагами обнаруживал не меньше рвения, чем в «равнении носка» своих гвардейцев. Вскоре после 11 марта 1801 г., когда у него произошел разрыв с Паниным, «император,—рассказывает Чарторыйский,—ежедневно по несколько раз получал донесения тайной полиции, подробно рассказывавшие, что делал Панин с утра до вечера, где он бывал, с кем останавливался на улице, сколько часов он провел в том или другом доме, кто был у него и по мере возможности что он говорил. Эти донесения, читавшиеся в негласном комитете (!), были изложены загадочным стилем, свойственным тайной полиции, которым так ловко пользуются ее агенты, чтобы сделать себя необходимыми и придать интерес самым незначительным своим рапортам. В сущности они не заключали в себе ничего, достойного внимания, но император чрезвычайно беспокоился и мучился даже от присутствия графа Панина, постоянно предполагая заговор с его стороны». Александр не забывал 11 марта ни в один момент своей жизни,—а перед двенадцатым годом опасность была к нему ближе, чем когда бы то ни было. То, что его секретарь, как он знал, принадлежит к масонам, давало достаточную почву для мнительности этого рода. Александр боялся масонов. По его настоянию де-Санглен вступил в одну из лож и сделался в ней вице-председателем: за эту ложу можно было очевидно ру-

[1] Рассказ императора об этом передает де-Санглен, конечно, в очень упрощенном виде, многого просто не поняв: ему например послышалось, что Сперанский советовал Александру созвать «боярскую думу».

чаться, но добраться до той масонской организации, в которую входил Сперанский, шпион Александра не сумел. Сперанский занимался там повидимому делами весьма невинными—подготовлял нечто вроде нравственного возрождения русского духовенства, рассчитывая кажется в нем найти проводника и для своих политических идей. Никаких следов заговора во всей этой, очень безобидной, возне нельзя подметить: но мог ли этому поверить Александр Павлович, не веривший *ни одному* из своих приближенных (на этот счет он выражался перед де-Сангленом вполне определенно, и его нельзя было не понять)? Сперанский крайне неприятен, Сперанский ненадежен, Сперанский опасен, таковы были три совершенно последовательные этапа, которые прошла мысль Александра в данном случае. Итог был: Сперанского нужно расстрелять. Тут явился «светский человек» и европеец, профессор Паррот—разговор с ним был струей свежего воздуха, ворвавшейся в смрадную атмосферу истинно-павловского настроения. Александр понял, в какое положение поставит его казнь Сперанского перед теми, кого он до известной степени уважал: вместо казни ограничились ссылкой.

Все это были, как видит читатель, детали—была «обстановка». Суть дела была прямо во внешней политике—дружба или, напротив, разрыв с Наполеоном,—а косвенно в *экономических отношениях*. Спор шел между промышленным и аграрным капитализмом: первому континентальная блокада была на руку, для второго в ней заключалась гибель. Сперанский был на стороне первого: чрезвычайно характерно в этом случае, то, что он говорит, как бы мимоходом, в своем «Плане» по поводу функций отдельных министерств. «Главным предметом» министерства внутренних дел для него является «промышленность»: «министр внутренних дел должен управлять мануфактурами по их уставу». То, что в наши дни стало министерством полиции по преимуществу, для Сперанского было чем-то вроде повторения петровской берг-и мануфактур-коллегии,—но с несравненно более обширным районом полномочий. «Сверх сих трех существенных частей (земледелия, фабрик и торговли) есть другие предметы, кои хотя сами по себе и не составляют промышленности, но принадлежат к ней или, как средства, коими движения ее совершаются—таковы суть *почты и пути сообщения*, или как естественные последствия труда и усовершенствования физических способностей—такова есть вообще *часть учебная*. Посему в естественном разделении дел и сии предметы не могут ни к какому департаменту приличнее относиться, как к министерству внутренних дел». «Наука, коммерция и промышленность» у Сперанского всегда рядом: «какое впрочем противоречие: желать наук, коммерции и промышленности и не допускать самых естественных их последствий; желать, чтобы разум был свободен, а воля в цепях... чтобы народ обогащался и не пользовался бы лучшим плодом своего обогащения—свободою. Нет в исто-

рии примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться». Политическая свобода России для него вытекала таким образом логически из ее промышленного развития. Его понимание этого последнего было чисто-буржуазное: свободный юридически работник представлялся ему единственно-мыслимой базой «промышленности». «Никто не обязан отправлять вещественной службы, ни платить податей и повинностей, иначе как по закону или *по условию, а не по произволу другого*». Поскольку речь шла об обрабатывающей промышленности, проекты Сперанского и здесь имели под собою вполне прочное экономическое основание. Мы видели, что фабрика второй половины XVIII в. держалась почти исключительно на подневольном труде. По отношению к *старым* отраслям производства—железоделательным заводам и суконным фабрикам, например—дело и теперь было в прежнем положении: но текстильная промышленность *нового* типа, бумагопрядильные и бумаготкацкие мануфактуры, почти не имела крепостных рабочих, благодаря чему к 1825 г. из 210 568 человек всех рабочих, занятых на русских фабриках и заводах, 114 575 человек, т. е. более половины, было вольнонаемных. Но эти же цифры показывают, какую роль вообще мог играть промышленный капитал: что значили сто или даже двести тысяч фабричных рядом с *девятью миллионами* душ крепостных крестьян, занятых почти исключительно земледельческим трудом? А в этой последней области общественное мнение помещиков было безусловно на стороне барщинного хозяйства: цитированная нами в своем месте [1] записка Швиткова как раз современница «Плана государственного образования»—оба относятся к одному и тому же 1809 г. Включенный в этот «План» проект юридического раскрепощения крестьян подошел бы может быть крупной знати—главным антагонистам Сперанского по всем остальным вопросам: вся масса среднего дворянства в этом капитальном пункте была бы против него; между тем без содействия этой дворянской массы неосуществима была политическая часть «Плана», которая лично для Сперанского была нет сомнения дороже всего. «План» стоял или падал в зависимости от того, пожелало бы поддержать его большинство помещиков или нет [2].

В самом деле, логически, развитие «промышленности» конечно должно было привести буржуазию к сознанию необходимости

---

[1] См. «Русская история». т. IV.

[2] Отчасти понимая это, Сперанский и не выдвигал освобождения крестьян в первую линию,—мало того даже подчеркивал, что «меры», направленные к этой цели, «должны быть постепенны». Но оно логически вытекало из постановки им вопроса о «личной свободе», «существо» которой сводилось им к двум положениям: «1 без суда никто не может быть наказан, 2) никто не обязан отправлять личную службу иначе, как по закону а не по произволу другого». «Первое из сих положений,—признается он сам в примечании,—дает крепостным людям право суда и, отъемля их от помещиков, ставит их наравне со всеми перед законом».

политической свободы. Но индивидуальная логика работает гораздо быстрее исторической: с тех пор как писал Сперанский, прошло более ста лет, а большинство российских «мануфактуристов и коммерсантов» не обнаружило склонности к политической свободе. На первых же порах класс предпринимателей вполне был бы доволен устранением самых грубых форм произвола, да возможностью подавать свой голос, хотя бы совещательный, в вопросах, которые непосредственно задевали его интересы. «Благонамеренный и опытный российский коммерсант», автор цитированной нами записки, был несомненно одним из самых передовых людей своего класса и своего времени: но по части «конституции» он не идет дальше предложения «учредить Мануфактурный совет», который мог бы «предстательствовать перед правительством о тех распоряжениях и пособиях, какие по усмотрению Совета для поощрения промышленности вообще или для пособия какой-либо фабрике или мануфактуре в особенности будут необходимы». В самом деле до мечтаний ли о политической власти было людям, для которых гражданское равноправие было еще мечтой? «Совершенному развитию коммерческого духа и способностей россиян есть преграда, которая пребудет непреодолима, доколе продолжится ее существование,—читаем мы у того же автора.—Преграда сия состоит в недостатках, какие сокрываются в нашей гражданственности и в самых коммерческих правах... Таковы наши гражданские законы, что все права, облагораживающие некоторым образом купца, приписаны его капиталу, а не особе гражданина, чему едва ли где-либо есть из благоучрежденных государств пример. Скажут, что личность и собственность каждого мещанина довольно ограждена Городовым положением. На это можно отвечать, что о силе и пользе государственных узаконений не по тому должно судить, как они написаны, а по тому, как исполняются и какое действие вообще производят. Если внимательнее взглянуть на настоящее положение наших мещан, то оно ближе подходит к положению жидов в Германии[1]. Известно, что сих последних утесняют так, как безотечественных, оскорбляют несказанно и презирают как бы по долгу и между тем их укоряют, что они не имеют понятия о честолюбии и все обманщики, мошенники и плуты». При таком положении вещей российскому купечеству была нужна не столько конституция, сколько упорядоченный суд и некоторое самоуправление—и когда, полвека спустя, то и другое было дано буржуазными реформами Александра II, этого оказалось достаточно, чтобы на целое поколение сделать русскую буржуазию одним из оплотов старого порядка. Проекты старшего современника Сперанского, адмирала Мордвинова, гораздо больше отвечали насущным потребностям тогдашней буржуазии, нежели «План государственного

[1] Напоминаем читателю, что это писано в 20-х гг. XIX в.

образования» [1]. У Мордвинова мы находим в зародыше большую часть «великих реформ» 60-х годов: и освобождение крестьян за выкуп—причем Мордвинов не находил нужным лицемерить, говоря прямо о выкупе *личности*, —и гласный суд, и отмену откупов, и даже срочную воинскую повинность взамен рекрутчины. И если даже эти проекты не вызвали сколько-нибудь заметного движения буржуазии на их защиту, можно себе представить, насколько она могла быть надежной опорой для несравненно более широких планов Сперанского!

Между тем эти планы вовсе не были академической работой. Сперанский серьезно расчитывал на осуществление своих проектов. Александр серьезно об этом думал—их противники не менее серьезно опасались введения в России конституции. Последнее доказывается лучше всего другого знаменитой запиской Карамзина, недаром доставленой Александру его сестрой, Екатериной Павловной, игравшей в то время по общему мнению крупную политическую роль в высших придворных сферах, притом отнюдь не на стороне той «системы», поклонником которой был Сперанский[2]. При очевидной политической слабости того класса, которому одному «система» была выгодна, что же заставляло верить в серьезность всего плана? Традиция выдвигает здесь обычно классический «либерилизм» Александра Павловича в первую половину его царствования. Что Александр в деле снискания себе популярности—преимущественно в Европе, а не в России—при помощи либеральных фраз успешно шел по стопам своей бабушки, Екатерины II, это не подлежит сомнению. Но цену «либерализму» их обоих знали уже современники. Мы видели в своем месте, какими чертами охарактеризовал режим корреспондентки Вольтера в своей предсмертной записке кн. Щербатов. А о «либеральных убеждениях» ее внука вот что говорит один из ближайших его друзей, не раз уже цитированный нами Чарторыйский: «Император любил внешние формы свободы, как любят театральные представления; ему доставляло удовольствие видеть вокруг себя обстановку свободного государства—это притом, льстило его тщеславию; но ему нужны были только формы и обстановка, а не то, что им соответствовало в действительности; словом он охотно согласился бы, чтобы весь мир был свободен, но под условием, чтобы весь мир с готовностью исполнял его волю».

[1] Об этих проектах см. брошюру г. *Гневушева*. «Политико-экономические взгляды гр. Н. С. Мордвинова», Киев, 1904.

[2] Посторонним, притом заинтересованным, наблюдателям, вроде Коленкура, казалось даже, что великая княгиня не прочь повторить историю ее знаменитой тезки. Она «ласкала старо-русскую партию, переписывалась с выдающимися генералами» и т. д.—словом как будто «подготовляла издалека большие события». Коленкур только дивился, чего же смотрит император? Для него, как и для всех, совершенной тайной были действительные отношения между Александром и его сестрой, вскрытые только недавно опубликованной их перепиской...

Чарторыйский говорит это по поводу случая, когда сенат вздумал на практике воспользоваться (в первый и последний раз!) дарованным ему в 1802 г. правом—делать государю «представления». Но сенату не один Александр придавал только декоративное значение. В приложениях к тем же мемуарам Чарторыйского помещено письмо императора по поводу уже настоящей конституции, к которой повидимому он относился вполне серьезно; только что даровав Польше политическую свободу, Александр в этом письме больше всего—можно сказать исключительно—заботится о том, чтобы «ход управления и реформы», которые предполагается ввести, были «согласны» с его, Александра, «точкой зрения». Чтобы достигнуть этой цели, Чарторыйский должен был при надобности «проявить инициативу, для того чтобы ускорить результаты и представить проекты, согласные с принятой системой»—т. е. опять-таки согласные прежде всего с желаниями Александра Павловича. Когда обнаружилось, что конституционные формы мешают свободному проявлению этих желаний, формы без церемонии выкидывались за борт. «Я не могу умолчать о чрезвычайно существенном нарушении конституции,—писал Чарторыйский императору два года спустя: указы вашего величества опубликовываются без контрассигнирования их кем-либо из министров, что противоречит конституции и органическим статутам... Таким способом, государь, уничтожается всякая ответственность за самые серьезные акты правительства». В результате, познакомившись с тем, как своеобразно новый польский король понимал «свободные учреждения», поляки чувствовали себя очень мало удовлетворенными. «Я нашел в Польше чрезвычайную неуверенность во всем и полную обескураженность,—доносил Чарторыйский еще два года спустя, вернувшись из продолжительной заграничной поездки. Все кажется поставленным под вопрос; нет учреждения, в котором бы не сомневались; нет печальной перемены, которой бы не предсказывали для страны. Такое положение вещей пагубно. Низшие расчеты и личные интересы берут верх, благородные чувства подавлены; среди высших и низших чиновников люди слабые и неустойчивые, считая общее дело потерянным, убеждены, что они могут ни о чем не заботиться кроме их собственной выгоды».

Нет сомненья, что в конституционной России Александр стеснялся бы еще менее нежели в конституционной Польше. Когда Сперанский в своем знаменитом оправдательном письме к императору (из Перми) уверял, что план русской конституции вышел «из стократных может быть разговоров и рассуждений вашего величества», он был прав формально: поговорить на либеральные темы Александр очень любил. Но по существу Сперанский знал конечно не хуже других, чего стоят эти «разговоры и рассуждения». Почему ему в 1809 г. казалось, что Александра можно, что называется, поймать на слове? Почему

другие стали опасаться, что из невинных «разговоров и рассуждений» на этот раз может что-то выйти? Ответ можно найти только в том, что мы знаем об *общественном настроении* тех именно месяцев, когда вырабатывался «План». В это время ко всем плодам тильзитского союза прибавился еще один, некрупный, но особенно горький: России приходилось воевать, в союзе с Наполеоном, против Австрии, самой феодальной из держав Западной Европы, теперь, после того как прусскому феодализму нанесли тяжелый удар реформы Штейна. Венская аристократия была связана чрезвычайно тесными узами дружбы—отчасти даже родства— с петербургской. «Грязным людям» начинавшаяся война должна была казаться прямо братоубийственной. «Все слишком возбуждены, слишком ожесточены против императора и графа Румянцева (канцлера) все из-за той же системы», писал Коленкур в июне 1809 г. Придворный двух императоров, обязанный сразу и успокаивать своего французского повелителя—понемногу приближавшегося к краю бездны, смутно сознававшего это и нервничавшего—и не «выдавать» своего русского коронованного друга, Коленкур старался иногда обратить дело в шутку. Но какой это был «виселичный юмор»! В Петербурге теперь «безо всякой злобы,—писал он около того же времени,—говорят в ином доме о том, что нужно убить императора,—как говорили бы о дожде или о хорошей погоде». Но к середине лета это наигранное благодушие не выдержало, и от 4 июля Коленкур доносил уже без всяких шуток: «никогда общество не было еще столь разнуздано: это объясняется новостями из коммерческого мира и ожидаемым появлением будто бы англичан. *О катастрофе говорят громче, чем когда бы то ни было*». Император не очень этим обеспокоен, спешит он прибавить, предупреждая готовую родиться в голове Наполеона мысль об «измене» Александра,—«эти люди слишком много болтают, чтобы быть опасными»[1]. Но перед 11 марта 1801 г. болтали не менее... «Грязные люди» на самом деле становились все опаснее. На кого опереться? Исконный антагонизм высшей знати и массы провинциальных помещиков, так сказавшийся в цитированной нами выше речи Строганова,—антагонизм в сущности совсем не глубокий и не серьезный, давал казалось последний якорь спасения. Против «крамольников» из потомков Рюрика, Гедимина и екатерининских фаворитов можно было воззвать к верноподданному сельскому сквайру. «Дворянство имеет политические права в выборе и представлении,—читаем мы в «Плане»,—но не иначе, как на основании собственности»,—добавил верный своей юридической логике Сперанский: добавка невинная, потому что безземельные дворяне и раньше голоса

[1] Все цитаты из донесений Коленкура по изданию вел. кн. Николая Михайловича «Дипломатические сношения России и Франции». С.П.Б. 1905—1906, 4 тома.

не имели. «Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянству. Оно может вступать в купечество и другие звания, не теряя своего состояния». Соглашались даже удовлетворить давнее требование, обойденное Екатериной II,—закрыть дверь в благородное сословие перед служилыми разночинцами. «Личное дворянство не превращается в потомственное одним совершением службы; к сему потребны особенные заслуги, по уважению которых императорскою властию в течение службы или по окончании ее даруется потомственное дворянство и удостоверяется особенным дипломом».

Эксперимент был не лишен интереса. При столкновении с жизнью от буржуазной схемы Сперанского осталось бы вероятно не очень много—но кое-какие точки опоры в дворянской массе правительство могло бы найти. Декабристы не с неба свалились, а вышли из этой массы—и если пятнадцать лет спустя общественного возбуждения хватило для революционной вспышки, в 1810 г. его вероятно нашлось бы уже достаточно для мирной демонстрации, вроде екатерининской комиссии 1767 г. Но основание, на котором строил Сперанский, было слишком зыбкое. Этим основанием в сущности был страх Александра Павловича перед «катастрофой». Этот страх, пока, боролся еще с чувством собственного достоинства: еще в апреле 1809 г. Сперанскому было позволено довольно болезненно уколоть «грязных людей», лишив служебных преимуществ придворные звания. Это не была антидворянская мера, как часто думают: дети пензенского или тамбовского помещика мало имели шансов сделать карьеру при дворе. Указ 3 апреля бил по молодежи из тех домов, где говорили об убийстве Александра, «как говорят о дожде или хорошей погоде». Даже еще в августе этого года «буржуазное» направление одержало некоторую победу: указ 6 августа поставил производство в высшие гражданские чины в зависимость от образовательного ценза. Интересы дворянства прямо этот указ задевал еще менее: дворяне служили либо по выборам, либо в военной службе, а—ни того, ни другого указ не касался. Но он упрочивал служебное положение семинаристов, в тогдашней России самой образованной части чиновничества, ибо университет давал пока ничтожное количество подготовленных специалистов, да и среди студентов лучшими были опять-таки бывшие воспитанники духовных семинарий. Дворянство с трудом переносило и одного Сперанского, а тут собирались устроить целый рассадник Сперанских! Мера не могла быть популярной, но конечно, смешно было бы ставить исход всего дела в зависимость от подобных мелочей. Поворот политики сказался, когда дошло до осуществления «Плана». Согласно последнему участие в законодательстве с императором должна была делить государственая дума из депутатов, избранных путем четырехстепенных выборов от всех землевладельцев (размеры ценза Сперанским не были точно установлены). Пре-

делы компетенции этого собрания были очерчены«Планом» довольно тесно: оно было лишено законодательной инициативы, его председатель должен был утверждаться императором, а секретарь был и прямо из чиновников. Видимо дворянам, которые должны были дать $^{9}/_{10}$ всех депутатов, не очень доверяли. Но тем не менее дума должна была представлять собою среднее дворянство и отчасти буржуазию: те, чья компетенция до сих пор шла не дальше *местных* дел, теперь призывались для решения вопросов общегосударственных. Чрезвычайно характерно, что именно эта относительная демократизация центрального управления и не прошла. Вместо думы ограничились открытием 1 января 1810 г. *государственного совета*. Он был и в схеме Сперанского, но здесь это была чисто-чиновничья коллегия, непосредственно содействовавшая императору в текущем управлении,—нечто вроде расширенного государева кабинета. История не без содействия Александра Павловича сделала из него нечто совершенно иное. На этот счет мы имеем свидетельство исключительной ценности: подлинные слова самого императора, под свежим впечатлением записанные Коленкуром. С чувством большого удовлетворения рассказывая последнему, как ему удалось провести через совет на 60 миллионов новых налогов—мы помним, что финансовые затруднения были исходной точкой всех проектов,—Александр добавил: «Я мог бы просто приказать, но я достиг того же результата, а в то же время все умы во всей империи отнесутся к этой мере с большим доверием, когда увидят вместе с указом мнение совета, скрепленное подписями его членов, принадлежащих всей империи, *из которых некоторые даже прямо происходят от старинных московских бояр* (dont quelques-uns même tiennent directement aux vieux Russes de Moscou)». То, что для Сперанского было орудием царской власти, для Александра было моральной силой, на которую эта власть пробовала опереться. Еще не высохли чернила, которыми был написан проект, расширявший привилегии „старых московских русских“ в правах всей дворянской массы, а уже Александр гордился, что «старые русские» не отказали ему в поддержке. Ролью органа общественного мнения, которую играл совет в глазах Александра, объясняется и та странная парламентская декорация, среди которой выступает это учреждение в «Образовании» 1810 г. «Старых русских» нужно было почтить. Но «общественное мнение», говорившее устами нового учреждения,—это было мнение все той же «знати», которая раньше дала «молодых друзей», позже превратившихся в «грязных людей». В разговоре с Коленкуром Александр наивно признавался в своей капитуляции перед этими последними. Государственный совет, который по мысли Сперанского должен был стать первым камнем нового государственного здания, на самом деле оказался надгробным памятником «Плана государственного образования».

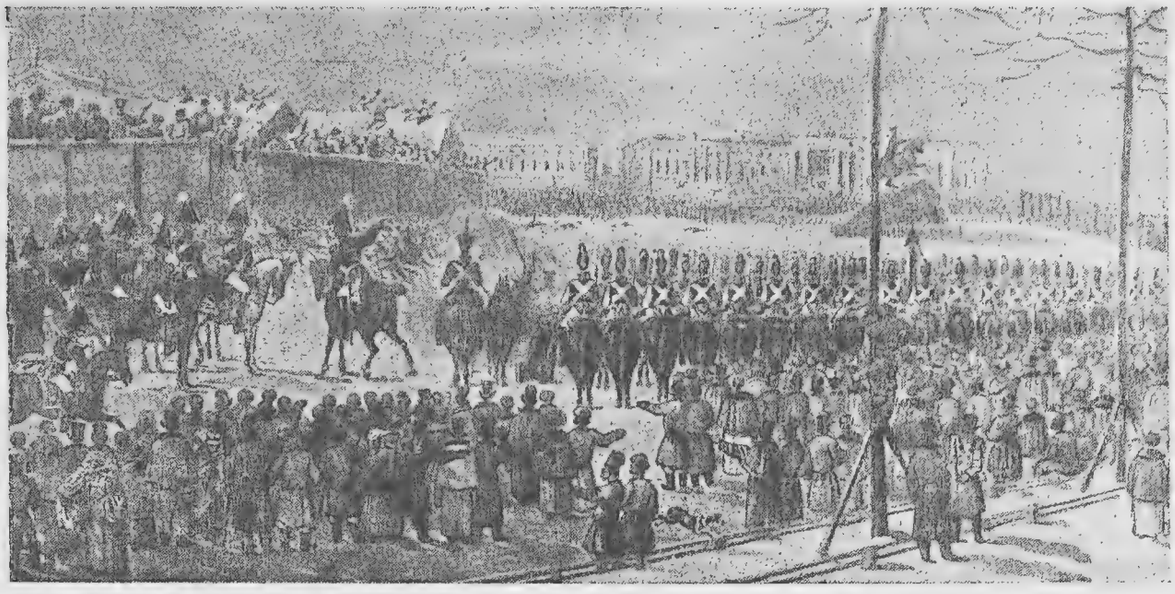
Для капитуляции было слишком время. Те же донесения Коленкура достаточно показывают, что только человек исключительного мужества смог бы удержаться против той бури, которая грозила Александру к концу 1809 г. Уже самый факт австрийской войны был, как мы знаем, невыносимо тягостен высшему дворянству. Каково же было ему узнать, что ее ближайшим результатом будет восстановление той самой Польши, которую разрушила екатерининская Россия! Галиция, отнятая у Австрии не без содействия—хотя, нужно признаться, крайне слабого—русских штыков, должна была пойти на усиление герцогства Варшавского, вот-вот готового превратиться в польское королевство. В это время «не было уже больше никакой меры в отзывах об императоре Александре; об его убийстве говорили громко». «За все время своего пребывания в Петербурге я не видал умов в таком волнении,—прибавляет Коленкур.—Все окружающие государя, даже наиболее ему преданные, перепуганы». Александр умел сохранить наружность спокойного человека. Но до Коленкура уже доходили слухи, что поездка царя в Москву (в декабре 1809 г.) предпринята не без задней мысли—позондировать мнение того класса общества, который Коленкур называет noblesse, под каковым названием не приходится разуметь конечно Коробочек и Собакевичей: Москва издавна была гнездом оппозиционной знати. Прием, встреченный Александром со стороны этой последней, чрезвычайно ободрил императора: чорт вблизи оказался не так страшен, как представляли себе в Петербурге, а главное Александр стал находить, что чорт рассуждает довольно здраво. В разговоре с Коленкуром под свежим впечатлением поездки Александр впервые очень осторожно и с массой оговорок высказал свои сомнения в правильности «системы», усвоенной им после Тильзита. «Так думают в Москве прибавил он,—эти люди не совсем не правы в своей оценке вашего внутреннего положения—и моего, на тот случай, если бы императора (Наполеона) постигло какое-нибудь несчастие». Еще в начале года со «знатью» шла беспощадная война, в середине года стало ясно, что война может обойтись дороже, чем кто-либо ожидал—а в конце его оказывалось, что столковаться с «грязными людьми» не невозможно. Это во всяком случае было проще, чем предпринимать конституционные эксперименты. Притом для последних и времени уже не оставалось. Читатель очень ошибся бы, если бы отнес происшедший переворот исключительно на счет перемены настроения Александра Павловича. Это последнее само было производным моментом—в основе лежали условия более элементарные. Еще в июле, говоря с Коленкуром, Александр так охарактеризовал итоги русско-французского союза, вынудившего Россию воевать сначала с Англией, а потом с Австрией: в первой из этих войн «его (Александра) торговля уничтожена, ее учреждения сожжены, порты и берега находятся под угрозой неприятельского нашествия, страна, богатая

только продуктами, которых ей некуда вывозить, затронута в самых источниках своего благосостояния. Вторая стоит огромных денег, так как приходится содержать войско за границей на звонкую монету, в такой момент когда курс чрезвычайно невыгоден для России...» Для покрытия военных издержек—а также для того, чтобы поддержать курс—в сентябре пришлось заключить заем—из 8%! Так дальше жить было нельзя.

Год спустя, к концу 1810 г.,«система» в сущности уже рухнула. Тарифом 18/31 декабря этого года была объявлена таможенная война Франции, в то время как английская контрабанда стала терпеться почти открыто. И не случайно к этому же самому времени относится знаменитая переписка Александра с Чарторыйским, так долго лежавшая под спудом—и не даром: ибо после ее опубликования совершенно невозможно говорить о «нашествии» Наполеона на Россиию в 1811 г. Письма Александра не оставляют ни малейшего сомнения, что Россия готова была напасть на Францию уже в декабре 1810 г. император подробно перечисляет силы, которыми он думал располагать для этой цели, делая только небольшую ошибку: 50 тыс. поляков, которых он считал на своей стороне, на самом деле оказались на стороне Наполеона, отказавшись принять «данайский дар»—конституцию, которую гарантировал Александр польскому королевству, возрожденному при помощи русского оружия. В 1815 г. Александр только осуществил это свое старое обещание. Отказ поляков изменить Наполеону в 1810 г. сорвал весь план: имея Польшу против себя, Александр не решился на наступательную кампанию, а пруссаки не соглашались присоединиться к русским иначе, как под условием, чтобы те шли вперед. Наполеон, во-время предупрежденый, получил полтора года на подготовку своего «нашествия»,по существу являвшегося актом необходимой самообороны. Россия воспользовалась отсрочкой гораздо хуже. Кампании 1813—1814 гг. показали, что с помощью английских субсидий Александр имел полную возможность мобилизовать те же 400 тыс. штыков, которые перешли Неман с Наполеоном в июне 1812 г.—и остановить этим французов по ту сторону Двины и Днепра, если даже не перейти в наступление. Пожар Москвы и разорение средней России были бы этим предупреждены. Но «знать», очутившись снова в седле, была занята не этим: ей нужно было расправиться со своим «внутренним врагом», воплотившимся в секретаре Александра Павловича. Мы уже видели те субъективные условия, которые определили перемену в отношениях императора к Сперанскому. Объективно падение последнего было совершенно необходимой составной частью падения «системы», выдвинувшей Сперанского на первое место. Нельзя не прибавить одной подробности: одним из ближайших виновников события 17 марта 1812 г. был человек, воплощавший в себе политическое миросозерцание знати в максимальной степени. То был шведский эмигрант граф Армфельт.

Его принято рассматривать обыкновенно с одной из двух точек зрения: или как горячего финляндского патриота, или как одного из величайших интриганов своего времени. Он был, как это ни странно, и тем,и другим одновременно: двусмысленное положение финляндского дворянства тех дней, шведского по культуре и исторической традиции, но тянувшего к России во имя политического расчета, выдвигало на первое место такие двусмысленные фигуры. Но у этой сложной личности была и еще одна сторона хорошо освещанная в записках декабриста Волконского. Армфельт, рассказывает Волконский, «взойдя в тайную связь с неприятелями Сперанского в высших слоях государственного управления, старался иметь опору и в молодежи (т. е. в гвардейском офицерстве, к которому принадлежал автор записок, тогда флигель-адъютант Александра Павловича). Я очень хорошо помню, как при встречах в общественном кругу с молодежью он старался с нами сближаться, и разговор его всегда клонился к тому, чтобы высказывать нам, что аристократия должна faire faisceau (тесно сплотиться), что аристократия должна и может иметь все в государственном управлении, что выскочки из демократического строя, вышедшие в люди, прямые враги значения аристократии, что, составляя целое, аристократия получит значение,—и этими суждениями возбуждал нас на дело, сходное с его намерениями... Какие были дальние намерения Армфельта, положительно не могу высказать, но из мною слышанного полагаю, что цель его не была только смещение Сперанского... А перебирая в памяти его беседы с нами, высказываемое им желание сблизиться с нами и иметь в нас опору, я невольно полагаю, что его замыслы были: *устроить в России образ правления на аристократических началах*».

Таким образом не только крушение «Плана государственного образования», но и самый эпизод ссылки Сперанского не лишен был принципиальной основы—и выводить этот эпизод исключительно из *личных* отношений императора и его секретаря было бы не исторично.Напротив, как финал чрезвычайно характерна эта дуэль старого аристократического «монаршизма», нашедшего себе выразителя в шведском графе и начал буржуазной конституции, представителем которых явился русский тайный советник из семинаристов. Но Армфельт со своими проектами оказался чересчур европейцем: его русские односословники, сломив упрямство своего государя, вовсе не чувствовали настоятельной потребности в организации у нас «правления на аристократических началах». И по пословице «при ссоре двух радуется третий»—от первого столкновения аристократии с демократией на русской почве выигрыш достался третьей силе,двумя борющимися не предусмотренной. И Сперанский, и Армфельт пали: остался Аракчеев.



ГЛАВА XIII.

ДЕКАБРИСТЫ.

1. Тайные общества.

Падение Сперанского означало казалось крушение всех «либеральных» проектов Александра Павловича. А так как проекты шли сверху, общество, исключая придворные круги, о них почти не знало—и уже поэтому должно было относиться к ним безразлично, то казалось бы и «общественному движению» должен был наступить конец. На самом деле именно 1812 г. явился исходным моментом настоящего общественного движения, отнюдь не вызванного поощрением сверху и даже по отношению к этому верху все более и более враждебного. Масса среднего дворянства, которую Строганов так презирал, а Сперанский собирался использовать в качестве политических статистов, вдруг выступила на сцену с явной претензией—играть на этой сцене одну из первых ролей.

Явившаяся непосредственным результатом разрыва франко-русского союза война 1812 г. нам теперь представляется стройной пьесой, действие которой логически развертывалось по известному плану, где чуть ли не все было заранее предусмотрено: и «скифская» тактика заманивания Наполеона в глубь России, и пожертвование в случае надобности даже Москвой, чтобы расстроить «несметные полчища нового Аттилы», и чуть ли даже не взятие Парижа в 1814 г. Но человека, который за два года раньше стал бы предсказывать это последнее событие, в наиболее патриотически настроенных кругах, сочли бы слегка тронувшимся, «несметные полчища» были немногим сильнее русской армии, какой она могла бы быть при немного большей предусмотрительности Александра и его министров[1]—«скифская» же тактика

---

[1] См. по этому поводу расчеты Растопчина в его записках («Русская старина», т. 64-й); он находил вполне возможным—и, повторяем, кампании 1813—1814 гг. оправдали его вычисления—к концу 1811 г. иметь под ружьем 640 тыс. человек. На деле собрали менее 300 тысяч.

была горькой необходимостью, на которую жаловались все, сверху до-низу, тщетно отыскивая виноватого, который «ведет Наполеона в Москву»; а о сдаче этой последней не думали серьезно даже накануне Бородина, за две недели до вступления в нее французских войск. А с небольшим за месяц до этого события Александр Павлович считал ошибкой даже отступление к Смоленску и писал Барклаю-де-Толли (от 30 июля): «Я не могу умолчать, что хотя по многим причинам и обстоятельствам при начатии военных действий можно было оставить пределы нашей земли, однако же не иначе как с прискорбностью должен был видеть, что сии отступательные движения продолжались до самого Смоленска... Я с нетерпением ожидаю известий о ваших наступательных движениях, которые, по словам вашим, почитаю теперь уже начатыми». Барклай сколько угодно мог возражать, что, имея одного солдата против двух французских (таково было соотношение сил перед смоленскими боями), итти вперед—значит итти на верный разгром. Тут же среди высших чинов армии сейчас же нашлись бы люди, гораздо более, чем Барклай, авторитетные в глазах «знати», и которые не задумались бы ни на минуту объявить подобные рассуждения явным доказательством барклаевой измены. «Без хвастовства скажу вам, что я дрался лихо и славно, господина Наполеона не токмо не пустил, но ужасно откатал,—писал Багратион Растопчину через неделю после Смоленска, где русским удалось два дня продержаться против «великой армии». Но подлец, мерзавец, трус Барклай отдал даром преславную позицию. Я просил его лично и писал весьма серьезно, чтобы не отступать, но я лишь пошел к Дорогобужу, как и он за мною тащится. Посылаю для собственного вашего сведения копию, что я министру (т. е. Барклаю) писал; клянусь вам, что Наполеон был в мешке, но он (Барклай) никак не соглашается на мои предложения и все то делает, что полезно неприятелю... Ежели бы я один командовал обеими армиями, пусть меня расстреляют, если я его в пух не расчешу. Все пленные говорят, что он (Наполеон) только и говорит: мне побить Багратиона, тогда Барклая руками заберу... Я просил министра, чтобы дал мне один корпус, тогда бы без него я пошел наступать, но не дает; смекнул, что я их разобью и прежде буду фельдмаршалом». Для того, чтобы правильно оценить эти заявления «хвастливого воина», на которого в петербургских и московских салонах чуть не молились, надо иметь в виду, что только своевременное отступление от Смоленка и спасло русскую армию: промедли Барклай на «преславной позиции» несколько дней, он без всякого сомнения был бы «в мешке», а под Бородиным некому было бы сражаться. Но в данном общественном кругу «шапками закидаем» казалось единственной, достойной России, политикой во все времена и на всех театрах войны; под Смоленском и под Аустерлицем, под Севастополем и на реке Ялу. Багратион потерял бы всю репутацию в глазах людей

своего круга, если бы не уверял их—и не верил сам,—что «неприятель дрянь: сами пленные и беглые божатся, что если мы пойдем на них, они все разбегутся»,—как писал он тому же Растопчину в другом письме. Это писалось о тех самых наполеоновских гренадерах, от которых даже гораздо позже, когда они голодные и обмороженные, отступали из России, кутузовская армия предпочитала держаться подальше. Кутузов был достаточно хитер, чтобы обманывать—не Наполеона, как он обещал, а хвастливых воинов и их поклонников: усердно повторяя «патриотические» фразы, он делал то, что было единственно возможно,—терпеливо дожидался, пока обстоятельства выведут Россию из тупика, куда ее завели люди, уверенные, что «неприятель дрянь». Как известно, он даже перехитрил, продолжая бояться Наполеона долго после того, как тот перестал быть страшен. Но у всякой добродетели есть своя оборотная сторона.

Для себя лично Александр Павлович усвоил выжидательную тактику гораздо раньше Кутузова. Приехав к армии под впечатлением все того же «шапками закидаем» (в возможность нас упательной войны против французов верили еще весною 1812 г., когда повидимому была сделана новая попытка соблазнить поляков, вторично неудачная) и очень скоро убедившись, что предстоит тяжелая оборонительная кампания, Александр сначала отправился в Москву «ободрять население», а затем прочно уселся в каменноостровском дворце, коротая время прогулками в его великолепном парке и чтением библии. Описание его времяпрепровождения летом 1812 г.[1] служит великолепной иллюстрацией к знаменитым словам Канта о том, как легко достается государям война, столь тяжелая для простых смертных. Возможность повторения 11 марта была страшнее всех успехов Наполеона: но от этой возможности теперь, когда он послушно шел на поводу у «знати», Александр Павлович чувствовал себя прочно гарантированным. Ворота каменноостровского парка никогда не запирались во время царских прогулок, и никаких специальных мер не принималось для охраны царского жилища от каких-либо «злоумышленников». Побаивались теперь немного «черни»: рядом с почти преступной небрежностью в подготовке внешней войны довольно тщательно приготовлялись к обороне от «домашнего врага». Императору приходилось специальным письмом успокаивать своих близких, вынужденных оставаться в менее надежных местах, нежели Петербург, доказывая им, что в случае какого-либо «волнения» полубатальоны внутренней стражи (по 300 человек на губернию) легко с этим «волнением» справятся. При этом мы узнаем, что ранее по губернским городам для этой цели существовали лишь «штатные роты» не более, чем по 50 штыков в каждой: так уже успели позабыться уроки пуга-

[1] В записках Стурдзы, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны.

чевщины[1]. При соприкосновении с «чернью» кое-какие меры принимались впрочем и в Петербурге: в собор 15 сентября, в годовщину коронации, Александр ехал не верхом, как обычно, а в карете вместе с императрицами. Но «чернь» манифестировала необычайно скромно; не было только слышно обычных «ура», и этого жуткого безмолвия было достаточно, чтоб у придворных Александра затряслись поджилки[2]. Более смелая, великая княгиня Екатерина Павловна писала в эти дни своему брату: «не бойтесь катастрофы в революционном роде, нет! но я предоставляю вам судить о положении вещей в стране, главу которой презирают». Она добавляет при этом, что такие чувства не составляют особенности какого-нибудь одного класса: «все единодушно вас осуждают». «Величественное самоотречение» императора, прогуливавшегося в своем парке, когда его солдаты десятками тысяч ложились под неприятельскими ядрами, так же мало входило в предусмотренную публикой програму войны, как и пожар Москвы. В стройную картину все это сложилось гораздо позже.

Представители крупного землевладения, моральные виновники всех бедствий, могли без труда подражать тактике своего государя и его главнокомандующего. У каждого из «знати» были имения в разных углах России—каждый легко мог найти свой каменноостровский дворец, достаточно далеко от места военных действий, чтобы шум их не мешал предаваться «самоотречению». В ином положении было среднее дворянство захваченных войной губерний. Уже в московском дворянском собрании Растопчину пришлось принять кое-какие меры,—он сам цинически рассказывает об этом,—чтобы обеспечить «восторженный прием» Александра Павловича и правительственных предложений насчет ополчения и иных «пожертвований». Нашлись, по его словам, дерзкие люди, собиравшиеся со своей стороны предложить императору вопросы: каковы силы нашей армии? как сильна армия неприятельская? какие имеются средства для защиты? и т. п. Растопчин приказал поставить около здания благородного собрания две фельдъегерские повозки (на каких обыкновенно отправляли в ссылку)—и этой демонстрации оказалось достаточно, чтобы замкнуть уста дерзким людям. Он их называет *мартинистами*,—мы не можем судить действительно ли это были остатки новиковского кружка (несомненно уцелевшие до 1812 г. в Москве), или же он просто употребил название, прилагавшееся в те дни ко всяким крамольникам—как в конце XIX в. «нигилисты». Растопчин приписывает своим «мартинистам» планы, шедшие и гораздо дальше: ни более, ни менее, как низвержение Александра и возведение на его место Константина Павловича. Это на первый взгляд кажется уже совершенным бредом: и тем

[1] См. письмо Александра к Екатерине Павловне от 29 января 1812 г. «Correspondance de l'Empereur Alexandre I avec sa soeur la grande duchesse Catherine», st.-Petersbourg 1910.

[2] Точное показание фрейлины Стурдзы.

не менее несомненно, что из небольшой группы, очень близкой к настоящим мартинистам, вышел первый проект *республиканской* конституции для России. Самым неожиданным образом этот проект связан с именами двух екатерининских фаворитов: его автором был гр. Дмитриев-Мамонов, сын одного из мелких заместителей Потемкина, а главным деятелем ордена «Русских Рыцарей», из которого проект вышел, был Михаил Орлов—родной племянник Григория Орлова, младший брат будущего николаевского шефа жандармов и председателя главного комитета по крестьянскому делу в 50-х годах. Если прибавить, что третьим из известных нам членов этого крайне малолюдного «ордена» был кн. Меншиков, и что Орлов, сам флигель-адъютант Александра I, был очень близок с будущим декабристом кн. Волконским, тогда тоже флигель-адъютантом, то мы окажемся в самом центре «знати»,—по крайней мере ее младшего поколения. Совершенно естественно, что проект, вышедший из такой среды, отличался крайним аристократизмом: «народная веча» (sic) мамоновской конституции должна была состоять из двух палат—«палаты вельмож» из 221 *наследственного* члена, «владеющих *уделами, неприкосновенными* в тех областях, от коих они *наследственными представителями и депутатами*», и 442 «простых дворян, не наследственных», но выбранных от одного дворянства («шляхетства», как с выразительным архаизмом говорит проект), и «палаты мещан» из депутатов от городов, причем избирателями могли быть не только купцы, но также «мастеровые и поселяне». Последняя палата должна была отличаться особенным многолюдством—в ней могло быть до 3 тыс. членов. Взаимоотношения палат и их прав проект детально не выясняет,—но что первая должна была иметь перевес, видно уже из того, что два «имперских посадника», из которых один командовал войсками, а другой стоял во главе гражданской администрации, выбирались из числа членов верхней палаты, притом наиболее аристократической ее части—из числа «вельмож». О том, что императора не будет, Мамонов прямо не говорит. Но ему во-первых и места нет в схеме, а затем из сопутствующих замечаний автора видно, что монархическому принципу он решительно не сочувствовал. «Конституция Гишпанских Кортесов,—говорит он по поводу испанской конституции 1812 г.,—весьма мудро писана,—но не вся годится для нас» именно потому, что в ней сохранена королевская власть. «Щадить тиранов (les T., как осторожно обозначает Мамонов, хотя для вящшей предосторожности всю фразу составивший по-французски), это значит готовить, ковать для себя оковы, более тяжкие, нежели те, которые хотят сбросить. Что же Кортесы? Разосланы, распытаны, к смерти приговариваемы, и кем же? скотиной, которому они сохранили корону...» Этот энергический конец написан уже опять по-русски.

Орден Русских Рыцарей ничего не сделал и повидимому даже не собирался делать, в нем только разговаривали, писали

проекты, и его идеалом было написать такую книгу, которая сразу завоевала бы умы всех в пользу «преподаваемого в ордене учения». По теперешнему говоря, это была чисто пропагандистская организация, притом в силу особенностей «учения» ограничивавшая свою пропаганду очень тесным кругом. И тем не менее идейное влияние его на последующие «тайные общества» было гораздо сильнее, нежели кажется с первого взгляда. *Республиканизм* как раз был тем новым, что внесли декабристы в общественное движение начала XIX в.,—наличность же в этом движении вплоть до декабристов сильной аристократической струи теперь не отрицают даже исследователи, всегда относившиеся очень враждебно к «классовой точке зрения». «Предположения о политических преобразованиях М. Ф. Орлова и М. А. Дмитриева-Мамонова,—говорит В. Семевский,—отличающиеся при всем политическом радикализме Мамонова аристократическим характером, примыкают к целому ряду других предположений, в которых в той или иной форме возлагают надежды на аристократию, как на охранительницу политической свободы, таковы: записка Сперанского в 1802 г., беседа гр. П. А. Строганова с гр.С. Р. Воронцовым в 1802 г., проект гр. Мордвинова. Даже Н. И. Тургенев предлагал учреждение пэров сначала в смысле исключительного совещательного учреждения из богатых помещиков, освободивших своих крестьян. Приняв во внимание все это течение, станет понятнее и высокий ценз, установленный для участия в прямых выборах в нижнюю палату веча, и еще более высокий пассивный ценз для избрания в верхнюю его палату в проекте конституции Н. М. Муравьева, и аристократическая тенденция в конституционном проекте декабриста Батенькова»[1]. Мы увидим, что перечисленными примерами «аристократизм» декабристов не ограничивался,—но прежде нам нужно выяснить два вопроса, как читатель сейчас увидит, тесно между собою связанных: во-первых, что же толкнуло аристократическую молодежь на этот, совершенно для нее неприличный казалось бы путь? и во-вторых, почему эти отщепенцы от своей социальной группы нашли такой живой отклик в массе рядового дворянства, которое к «владельцам уделов неприкосновенных» никогда раньше не обнаруживало больших симпатий? Рассматривая декабристов с одной стороны и «русских рыцарей»—с другой, мы замечаем у них два общих признака. Первым из них является—общий тем и другим—резкий *национализм*. «Вельможи» мамоновской конституции «должны быть греко-российского исповедания, равно как и депутаты рыцарства, в *коем кроме русских и православных никого быть не может*». Одним из «пунктов преподаваемого в ордене учения» является «лишение иноземцев всякого влияния на дела государ-

[1] *В. Семевский*, «Политические и общественные идеи декабристов», СПБ, 1909.

ственные»; другой гласит еще решительнее: «конечное падение, *а если возможно, смерть иноземцев*, государственные посты занимающих». Пробуя почву для организации «Союза Спасения», Александр Муравьев предлагал, по словам Якушкина, составить тайное общество «для противодействия немцам, находящимся на русской службе». Как он сам тотчас же объяснил, это был лишь пробный шар, но как нельзя более характерный: кому теперь пришло бы в голову пускать такие пробные шары. Но всего лучше рисует настроение декабристов в этом вопросе известный эпизод записок того же Якушкина, повествующий, как в тайном обществе впервые возникла мысль о цареубийстве. «Александр Муравьев прочел нам только-что полученное письмо от Трубецкого, в котором он извещал всех нас о петербургских слухах, во-первых что царь влюблен в Польшу, и это было всем известно...[1], во-вторых что он ненавидит Россию, и это было вероятно, после всех его действий в России с 15-го года; в-третьих, что он намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить их к Польше; и это было вероятно; наконец, что он, ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву. Это могло показаться невероятным, но после всего невероятного, совершаемого русским царем в России, можно было поверить и последнему известию»... Якушкина, когда он услыхал это, «проникла дрожь»,—а затем он вызвался убить Александра. Между тем «отторжение» от России Литвы, о которой шла речь, казалось бы было ничуть не страшнее «отторжения» от империи Выборгской губернии, присоединенной за несколько лет перед тем к Финляндии: факт, которым в XX в. никто не возмущался, кроме черносотенцев, заставлял клокотать всю кровь в жилах русских либералов 1817 г. Можно вполне допустить, что Якушкин приукрасил картину, желая в возможно более лойяльном свете представить свой слишком нелойяльный замысел: но тут любопытно, какие именно краски он счел нужным усилить. Было бы можно привести множество аналогичных черточек из проектов и воспоминаний целого ряда товарищей Якушкина, притом политически гораздо более сознательных, нежели он: достаточно сказать, что Пестель не соглашался не только на самостоятельность, но даже на простую автономию Финляндии, и что ни один из декабристских проектов, не исключая и «Русской Правды» Пестеля, не признавал равноправия евреев. Новейший исследователь, склонный делить рассматриваемые им явления на «симпатичные» и «несимпатичные», имел добросовестность не скрыть этой черты декабристов, безусловно относящейся к последнему разряду: он только старается сузить ее район[2], да оправдать ее более или менее случайны-

[1] Читатели выше видели, как плохо приходилось Польше от этой «любви».

[2] «Национализма,—говорит г. Семевский по поводу «Русских Рыцарей»,—не чужды были и некоторые другие декабристы». Многие ли были ему чужды?

ми обстоятельствами. «Крайняя ненависть к иностранцам» Мамонова и его друзей «вызывалась», говорит г. Семевский, «столь же крайнею и неразумною приверженностью к ним (иностранцам) Александра I, которая сопровождалась пренебрежительным отношением к русским». На самом деле явление объясняется конечно гораздо более общими причинами: наука не имеет никаких оснований проводить резкую черту между «несимпатичным» национализмом и «симпатичным» патриотизмом. Оба растут на одном корню. И мы не могли бы ожидать ничего другого от людей, для которых двенадцатый год стал исходной точкой всей их сознательной жизни. Якушкин с этой даты начинает свои записки. Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ попрежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава Богу, вся Россия в поход пошла!». В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле». Дело конечно не в объективной верности этой характеристики двенадцатого года. Более детальные рассказы о войне, идущие даже от самих декабристов, совершенно разрушают романтическую картину—народа, как один человек поднявшегося на защиту своей родины. Когда Александр Павлович спросил вернувшегося из-под сожженной Москвы Волконского, как ведет себя дворянство—тот класс, из рядов которого вышли и Якушкин, и Волконский, и все их товарищи, будущий декабрист должен был ответить: «государь, стыжусь, что я принадлежу к нему: было много слов, а на деле ничего». Он пробовал утешить Александра настроением крестьян: но даже из такого архишовинистического источника ,как растопчинские афишки, можно узнать, что крестьяне занятых неприятелем уездов вместо французов сводили нередко счеты со своими господами, пользуясь тем, что ни полиции, ни войск для «усмирения» у последних не было теперь под руками. Что Москва была сожжена не жителями, действовавшими в припадке патриотического усердия, а полицией, исполнявшей приказание того же Растопчина, что французская армия пала жертвой не народного восстания, а недостатков собственной организации—и поскольку она не была дезорганизована (так именно было с императорской гвардией), к ней до конца не смели подойти не только партизаны, но и регулярные русские войска; все это факты слишком элементарные и слиш-

ком хорошо известные, чтобы о них стоило здесь распространяться. Но, повторяем, для нас важна не объективная, а субъективная сторона дела: так именно *чувствовали* будущие декабристы—и если мы хотим понять их настроение, мы не можем обойти двенадцатого года. Якушкин вовсе не какое-нибудь исключение. Ал. Бестужев (Марлинский) писал императору Николаю из крепости: «*Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу*, тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости сперва политической, а впоследствии и народной. *Вот начало свободомыслия в России.* Правительство само произнесло слова: свобода, освобождение! Само рассевало сочинения о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона»[1]. Нужно прибавить, что декабристы не принадлежали к людям, которые задним числом говорят патриотические фразы: они *делали* то, о чем говорили. Редкий из них не был сам одним из участников похода. Никита Муравьев, будущий автор конституции, которому мать не позволяла поступить в военную службу, тайком бежал из родительского дома и пешком отправился отыскивать армию; его арестовали и едва не расстреляли, как шпиона—его спасло вмешательство Растопчина, знавшего семью. Муравьеву было тогда 16 лет. Декабрист Штейнгель уже совсем не юношей, с семьей, приехал в Петербург искать места—и очутился офицером петербургского ополчения, с которым и сделал заграничный поход, вместо того чтобы служить по министерству внутренних дел, как собирался сначала. В этом отношении учредители ордена «Русских Рыцарей» не отличались от декабристов: Мамонов, один из богатейших людей в России, на свой счет формировал целый кавалерийский полк, которым и командовал. Полк, правда, больше прославился разными безобразиями и в России, и за границей, нежели военными подвигами, но это опять была суровая объективная действительность, в субъективной же искренности мамоновского патриотизма мы не имеем никаких поводов сомневаться. А что касается Орлова, то его имя, как известно, прочно связано с капитуляцией Парижа (19/31 марта 1814 г.), им подписанной с русской стороны: в его лице мы имеем таким образом даже не рядового участника «освободительной войны» 1812—1814 г.

Национализм не в одной России явился первичной, зачаточной формой политического сознания: почти всюду в Европе—исключая Франции и Англии—дело начиналось с того же. В Германии, особенно в Италии и Испании, носителями либеральных идей являлись бывшие участники освободительной войны: и первые революционные движения 20-х годов почти всюду принимали форму военного восстания как наше 14 декабря. На этой *профессиональной* стороне движения (вторая общая черта декабристов и «Русских Рыцарей», которые все были из военной сре-

[1] *Семевский*, цит. соч., 206. Курсив наш.

ды) стоит немного остановиться—она мало обыкновенно обращала на себя внимание, а между тем политическое значение ее было большое. Прежде всего ею объясняются организационные особенности русских тайных обществ. Современному читателю, представляющему себе военное восстание как часть демократической революции, оно рисуется прежде всего в образе восстания солдат—без офицеров и даже в случае надобности против офицеров. Это—точка зрения демократически совершенно правильная и понятная, но не военная: для военного армия есть прежде всего командный состав: солдаты без него—толпа, а не армия,—скажет вам всякий военный. «Общество имело желание как можно больше начальников в войсках обратить к своей цели и принять в свой Союз, особенно полковых командиров,—говорит в своих показаниях Пестель,—предоставляя каждому из них действовать в своем полку, как сам наилучше найдет; желало также и прочих начальников в общество приобрести: генералов, штаб-офицеров, ротных командиров. Неудачу дела на Сенатской площади многие участники приписывали тому, что там не было «густых эполет», и неспособный князь Трубецкой сделался «диктатором» между прочим потому, что он был в военной иерархии старшим из наличных в Петербурге членов общества. Затем на программе декабристов влияние профессиональных интересов тоже сказалось достаточно сильно. Из пятнадцати пунктов, намеченных Трубецким для манифеста 14 декабря,—записку Трубецкого приходится считать как бы за равнодействующую всех отдельных мнений, за тот minimum, на котором все сходились,—*три* прямо касаются армии и *два* косвенно. В воспоминаниях отдельных участников заговора военные преобразования еще более выступают на передний план. В программе «Союза Благоденствия», как ее запомнил Александр Муравьев (брат Никиты, автора конституции)[1], из 10 пунктов армии посвящена почти половина; сравнивая эти пункты с запиской Трубецкого, можно заметить, как эволюционировали в этом вопросе взгляды декабристов: в проекте «манифеста» имеется уже уничтожение рекрутчины и всеобщая воинская повинность, муравьевские пункты не идут дальше сокращения срока военной службы и неопределенного «улучшения участи защитников отечества». Но обе программы твердо стоят на одной подробности: уничтожении *военных поселений*. И это как раз вопрос, где с одной стороны профессиональная сторона тайных обществ выступает особенно ярко, а с другой—дело чисто военное приобретает крупное политическое значение. Военные поселения, как известно, официально были попыткой заменить рекрутчину натуральной воинской повинностью известного разряда населе-

[1] Его не следует смешивать с упоминавшимся выше Александром Николаевичем Муравьевым, впоследствии нижегородским губернатором в конце 50-х годов, известным по участию в реформе 19 февраля.

ния: часть государственных крестьян должна была отбывать военную службу совершенно на тех же началах, на каких господские крестьяне отбывали барщину. При этом «военные поселяне» не переставали быть крестьянами: оставались в своих деревнях и обрабатывали землю—совершенно опять-таки так же, как прокармливали себя своим трудом барщинные мужики. Это перенесение в военную область модного среди тогдашних помещиков увлечения барщиной само по себе чрезвычайно характерно, тем более, что оно сопровождалось попытками «организовать» хозяйство военных поселян с тою точностью регламентации, какою проникнуты проекты Удолова, Швиткова и других прожектеров конца XVIII и начала XIX вв., труды которых печатались в записках Вольного экономического общества. Но у дела была и другая сторона, еще более характерная, но уже политически. Военные поселения возникают в очень любопытный момент александровского царствования: в 1810 г., когда с одной стороны война с Наполеоном была почти решена, с другой—Александр Павлович искал путей сближения со своим дворянством. Уничтожение рекрутчины было бы как нельзя более приятно этому последнему; как ни старались помещики сбывать в солдаты наименее ценную часть своей живой собственности, все же рекрутчина, особенно усиленная перед войной, отнимала много рабочих рук, так ценных теперь в барщинном имении. «Военные поселения», напротив, падали всею своей тяжестью на казенных крестьян, почти не затрагивая помещичьих[1]. В то же время при ужасающем падении курса ассигнаций перевод армии на довольствие натурой—притом трудами самих солдат—сулил самые радужные финансовые перспективы. Война двенадцатого года разразилась слишком быстро, не дав времени развернуть эксперимент достаточно широко: но за него взялись с удвоенной энергией тотчас по заключении мира, который казался, а отчасти и действительно был до начала революционного движения 20-х годов, весьма непрочным. Варварская прямолинейность, с которой из мирного казенного мужика выбивали исправного фронтового солдата, давала достаточный повод для общественного негодования против «гуманного» нововведения императора Александра (он очень им гордился именно с этой стороны!)[2]. Но, вчитываясь в отзывы декабристов вы чувствуете, что к этому одному поводу дело далеко не сводилось. Жестоко было барщинное хозяйство вообще и всюду—штатское или военное, безразлично: но мы напрасно стали бы искать у членов тайных обществ такого *личного* отношения к барщине, какое слишком явственно звучит, когда дело касается военных поселений. Трубецкой и Якуш-

[1] Некоторые мелкие имения были экспроприированы на устройство военных поселений—и это уже вызывало ропот.

[2] При введении военных поселений в Чугуевском уезде например было, по весьма точным показаниям, засечено на смерть несколько десятков человек.

кин почти одними и теми же словами характеризуют политические последствия военной барщины: по мнению первого, поселения составят в государстве «особую касту, которая, не имея с народом почти ничего общего, может сделаться орудием его угнетения». «Известно, что военные поселения со временем должны были составить посередь России полосу с севера на юг и совместить в себе штаб-квартиру всех конных и пеших полков,— пишет второй:—при окончательном устройстве военных поселений они неминуемо должны были образоваться в *военную касту* с оружием в руках и не имеющую ничего общего с остальным народонаселением России». В военных поселениях декабристы провидели зародыш опричнины: и кажется они не были совсем неправы. Развитие политического радикализма именно в военной среде должно было настраивать верхи очень подозрительно по отношению к прежней армии. «Солдат доволен, но нельзя того же сказать об офицерах, которые раздражены походом против неаполитанцев,—писал в начале 20-х годов кн. Васильчиков, командир гвардейского корпуса, когда предполагалось двинуть русские войска для усмирения революции, вспыхнувшей на Апенинском полуострове.—Вы можете поэтому судить, как распространились у нас либеральные идеи. Не отвечайте мне на это избитой фразой: «заставьте их молчать». Число говорунов слишком велико... Если Провидению угодно, чтобы война вспыхнула, мне кажется, нужно пустить в дело гвардию, а не держать ее в резерве. Несколько хороших битв успокоят молодые головы и приучат их к строгой дисциплине, а когда кончится война, государь может *уменьшить численность гвардии* и сохранить ее лишь в самом необходимом количестве, что было бы большим благом... *Мы слишком многочисленны—вот в чем большое зло*, и вот *почему войска производят революции*».

Как видим, русскому офицерству было чего опасаться от Александра Павловича—прежде всего, как офицерству. Но мы конечно очень ошиблись бы, если бы свели его программу к отстаиванию профессиональных интересов: тогда дело не пошло бы дальше тех мелких гвардейских вспышек, с которыми приходилось бороться Екатерине II. Армия была только *более* оппозиционно настроена, чем другие общественные круги: но оппозиционное настроение было очень широко распространено во всех кругах—не считая самый верхний слой, «знать», где Мамоновы, Орловы и Волконские являлись резким исключением, и самый нижний, крепостное крестьянство, где ни на минуту не прекращалось брожение, но не имевшее ничего общего с конституционными или республиканскими проектами. Выразителем взглядов дворянской интеллигенции второго десятилетия XIX в. был «Дух Журналов» или «собрание всего, что есть лучшего и любопытнейшего во всех других журналах по части истории, политики, государственного хозяйства, литературы, разных искусств, сельского домоводства и пр.». Этот талантливей-

ший журнал того времени дает самую типичную амальгаму национализма, либерализма и крепостничества, какую только можно себе представить. В нем помещались переводы заграничных конституций и статьи «о пользе представительного правления», написанные со смелостью, которую русской периодической печати пришлось потом забыть чуть не на сто лет. Разъяснялись чрезвычайно убедительно выгоды, какие англичане получают от своего парламента и в то же время доказывалось, что «англичанин едва может пропитать свою душу, евши в полсыта печеный картофель, а русский в сытость и ест, и пьет, и веселится иногда. У нас нет изящных, чудных рукоделий, но почти нет нищих; народ живет в довольстве вообще, а не частно». С большим жаром развивалась мысль о вреде «батрачества», т. е. пролетариата, и в то же время давался совет: «мужиков своих, даже самых богатых не пускать в оброк», а вести исключительно барщинное хозяйство. То внутренне-противоречивое существо, которое представлял собою русский помещик до 70-х почти годов XIX столетия—европейский буржуа, с одной стороны, азиатский феодал—с другой, уже народилось на свет ко второму десятилетию александровского царствования. Противоречия не получалось, если взять этот тип в его экономической основе: новое крепостное хозяйство уже нельзя было вести без капитала и не приспособляясь к условиям рынка. «Капиталы, капиталы, капиталы—вот те волшебные силы, которые и самую дикую пустыню превращают в рай», восклицал «Дух Журналов», отстаивая в то же время свободу торговли всей силой авторитета тогдашней экономической науки, с которою он же и знакомил своих читателей, помещая у себя переводы Сэ, Бентама, Сисмонди и др. А свобода торговли, недаром сказано, была корнем всех буржуазных свобод—и, ведя борьбу с «игом Наполеона», русское дворянство вело в сущности борьбу именно за этот корень всех свобод, ибо экономическим воплощением «ига» была континентальная блокада. Но *свобода* торговли была нужна русскому помещику затем, чтобы сбывать при наиболее выгодных условиях продукты *крепостного* хозяйства—последовательное же развитие буржуазного принципа уничтожало самую основу этого хозяйства, подневольный труд. Правда у отдельных помещиков даже того времени мелькала уже мысль о возможности, даже желательности замены внеэкономического принуждения экономическим: образчиком их был декабрист Якушкин. Приехав в свою деревню Смоленской губернии он нашел, что его крестьяне «трудились и на себя и на барина, никогда не напрягая сил своих. Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться». Способ этот по мнению Якушкина, заключался в том, чтобы поставить крестьян, «в совершенно независимое положение от помещика». Эту «совершенную независимость» он понимал так: крестьяне получали в «совершенное и полное владение» свою движимость, дома, усадьбу

и выгон. «Остальную же всю землю», т. е. *всю пахоту*, Якушкин оставлял себе, «предполагая половину обрабатывать наемными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам». Крепостного мужика предполагалось таким образом разложить на «вольного» батрака, в одну сторону, и подневольного арендатора помещичьей земли—в другую: комбинация столь хорошо знакомая русской деревне позже, что для современного читателя нет надобности распространяться о ней подробно. Якушкину принадлежит несомненная честь—предусмотреть новейшие формы эксплоатации крестьянства слишком на поколение вперед. Как все новаторы, он должен был терпеть от тупости и непонимания окружающих. От министра внутренних дел Кочубея (одного из «молодых друзей» в свое время) он должен был выслушать колкость: «я нисколько не сомневаюсь в добросовестности ваших намерений,—сказал Якушкину министр,— но если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанностей относительно своих крестьян». Но всего больше огорчили его сами крестьяне. Желая узнать, «ценят» ли они оказываемое им благодеяние, Якушкин «собрал их и долго с ними толковал». «Они,—рассказывает он—слушали меня со вниманием и наконец спросили: «земля, которою мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Я им ответил, что земля будет принадлежать мне, но что они властны будут ее нанимать у меня.—«Ну, так, батюшка, оставайся все по-старому; мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение»... Впоследствии Якушкин сам понял, что его проект совершенной экспроприации крестьян является слишком европейским, чтобы его можно было осуществить в условиях грубой русской действительности, и опять опережая свой век на целое поколение, своим умом додумался до истинно-русской формы ликвидации крепостного права—той самой формы, которая была осуществлена реформой 19 февраля: продажи крестьянам их собственной земли за деньги. Перед 1825 г. он «пристально занялся сельским хозяйством и часть своих полей уже обрабатывал наемными людьми. Я мог надеяться, что при улучшении состояния моих крестьян они скоро найдут возможность платить мне оброк, часть которого ежегодно учитывалась бы на покупку той земли, какою они пользовались...» Ссылка Якушкина прервала этот эксперимент—не менее интересный, чем все конституционные проекты декабристов[1].

При сколько-нибудь объективном отношении литературы к предмету, одного этого эпизода было бы достаточно, чтобы по-

[1] См. «Записки *И. Д. Якушкина*», изд. 2, М. 1905, стр. 29—32, 35—37 и 71. Цитаты из «Духа Журналов» в цит. сочин. *Семевского*, стр. 276 и «Русская фабрика» *Туган-Барановского*, стр. 274—281.

ложить конец всяким разговорам о «внеклассовых» добродетелях декабристов, из одной чистой любви к человечеству стремившихся освободить несчастного, задавленного крепостным правом мужика. Александровские радикальные офицеры были прежде всего помещики—и классовых интересов не забывали, даже мечтая о русской республике. Идеалом Никиты Муравьева были Соединенные Штаты—императора он оставлял только, можно сказать, для одного приличия, лишая его всякой реальной власти; но в первоначальном проекте своей конституции он не забывает оговорить, что при освобождении крестьян «земли помещиков остаются за ними». В окончательной редакции этот пункт звучал уже иначе: «крепостное состояние отменяется. Помещичьи крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и земледельческие орудия, в оных находящиеся, и по *две десятины земли на каждый двор для оседлости их. Земли же они обрабатывают по договорам обоюдным, которые они заключают с владельцами оных*». Если Якушкин придумал и даже—насколько это было в средствах частного лица—начал осуществлять проект выкупной операции, то Никите Муравьеву принадлежит честь такого же изобретения *дарственного* (иначе *нищенского*) надела. Этот факт нужно сказать несколько смутил даже В. Семевского при всем его желании видеть в отрицательных сторонах декабристов черты, вообще свойственные их времени,—а отнюдь не эгоистические поползновения какого-нибудь общественного класса. Он должен был признать, что даже такой современник декабристов, как Аракчеев, оказался щедрее их: «даже минимальный размер надела, даваемого крестьянам в собственность, по проекту Аракчеева все же более, чем по проекту Муравьева»[1].

Если мы примем в расчет, что и Якушкин, и Н. Муравьев представляли собою крайнюю левую дворянского оппозиционного движения, нас не удивит, что в окончательно резюмирующем пожелания тайных обществ проекте манифеста, набросанном Трубецким, крестьянский вопрос упомянут лишь очень глухо, причем намеренно взят только с юридической стороны: манифест говорит об «уничтожении права собственности на людей». Мы увидим скоро, что перед такой формулой не останавливались и более передовые министры Николая I. Напротив, мы будем удивлены, что в общем этот манифест должен был носить весьма «буржуазный» характер: мы в нем находим и свободу печати (п. 3), и «предоставление лицам всех вероисповеданий свободного отправления богослужения» (п. 4: не свободы совести однако!), и равенство всех сословий перед законом (п. 6: но все же не уничтожение сословного строя), и отмену подушной подати (п. 8), и уничтожение соляной и винной монополии (п. 9), и наконец гласный суд с присяжными (пп. 14 и 15). Эта програм-

[1] *Семевский*, цит. соч, стр. 618, ср. стр. 623.

ма вероятно уже напомнившая читателю схему реформы 60-х годов логически дополняется тем, что мы знаем о проектировавшейся декабристами организации народного представительства. В «манифесте» и этот вопрос формулирован в самых общих чертах (п. 2: «учреждение временного правления до *установления постоянного выборного*»). Но в конституции Н. Муравьева, с которой никто не соглашался, но которая одна представляла собою нечто законченное, было последовательно проведено начало *имущественного ценза*. Правда сословное начало в замаскированном виде имелось и здесь: земельный ценз был *вдвое ниже* ценза для движимого имущества, крестьяне вообще имели в 500 раз меньше избирательных прав, чем не крестьяне (один «избиратель» на 500 душ!), в частности же бывшие крепостные вовсе не получали политических прав; но если мы примем в соображение, что в тогдашней Европе, не исключая и Англии, классы населения, соответствовавшие нашему крестьянству, не входили в состав цензовых граждан, мы должны будем признать, что *конституция декабристов была менее резко помещичьей, чем можно было бы ожидать*. Вместе с проектом Сперанского ее приходится поставить в разряд *буржуазных конституций*. Ближайшим образом и там, и здесь это объясняется литературными влияниями—сочинениями западных публицистов, по которым учились теоретики тайных обществ, как и Сперанский, и образчиками европейских конституций, которыми они пользовались (на декабристах особенно отразилась испанская конституция 1812 г). Но мы видели, что для объяснения проектов Сперанского этого мало: они отразили в себе тенденции известных *русских* общественных групп—тенденции, в их первоисточнике быть может менее осознанные, нежели под пером государственного секретаря Александра I, но дававшие тем не менее для «творчества» этого секретаря реальную основу. Насколько можно сказать то же о декабристах? В составе тайных обществ не было ни одного купца. Значит ли это, что буржуазия была совершенно чужда движению? Ряд фактов, каждый из которых в отдельности может показаться мелким,—но которые в целом даже теперь при очень несовершенном знакомстве с социальной стороной движения 20-х годов представляют значительную массу, убеждает, что это не так. В одном доносе, поданном императору Александру в 1821 г., сообщалось об опасном настрое среди купцов петербургского Гостиного двора. Купцы собирались группами, человек по 8, с газетами в руках, и толковали о конституции. «Они говорят, что если в стране есть конституция, то государь не может постоянно покидать свое государство, так как для этого нужно дозволение нации... Если ему не нравится Россия, зачем он не поищет себе короны где-либо в другом месте... На что нужен государь, который совершенно не любит своего народа, который только путешествует и на это тратит огромные суммы. Когда же он дома, то постоянно тешит себя

парадами. Все знают, что уже давно в судах совершаются вопиющие несправедливости, дела выигрывают те, кто больше заплатит, а государь не обращает на это внимания. Нужно, чтобы он лучше оплачивал труд состоящих на государственной службе и поменее разъезжал. Только конституция может исправить все это, и нужно надеяться, что Бог скоро дарует нам ее»... Что рассказы эти не были простым сочинительством александровских шпионов,—доказывает интерес, какой проявляли к купцам декабристы по крайней мере некоторые: Рылеев спрашивал Штейнгеля, имевшего большие связи среди сибирского и московского купечества, нельзя ли там приобрести членов для общества? Штейнгель, уже тогда заботливо отгораживавший себя от заговора,—на следствии он формально отрекся от участия в нем,—отнесся к мысли Рылеева отрицательно под тем предлогом, что «наши купцы невежды». Он однако поддерживал с этими «невеждами» близкие отношения, когда дело шло о легальных проектах, да и в разговоре с Рылеевым должен был назвать одно имя, под данную им характеристику купечества не подходившее: то был содержатель типографии Селивановский, в то время как раз подготовлявший издание русской энциклопедии, очень солидного по своему времени предприятия, на которое Селивановским было затрачено до 30 тыс. рублей. Энциклопедия, отчасти уже отпечатанная и одобренная цензурой, была конфискована тотчас же, как только выяснились связи ее издателя с декабристами. Среди петербургской буржуазии у Рылеева, секретаря Российско-американской торговой компании, были самостоятельные связи—и быть может не совсем случайно в последние дни перед 14-м мы встречаем декабристов то на банкете у директора «компании», где говорились либеральные речи даже такими малолиберальными людьми, как Булгарин, то на ужине у купца Сапожникова, который, угощая своих гостей шампанским, приговаривал: «выпьем! неизвестно, будем ли завтра живы!» Это было как раз 13-го числа. Любопытны некоторые тенденции и самого Рылеева, позволяющие его вместе с некоторыми другими кроме Штейнгеля—тут приходится в особенности назвать Батенькова, выразившего как-то желание быть «петербургским лордом-майором»—причислить к тем, кого теперь назвали бы «буржуазной интеллигенцией». «Во второй половине 1822 г.,—рассказывает в своих воспоминаниях кн. Оболенский,—родилась у Рылеева мысль издания альманаха, с целью обратить предприятие литературное, в коммерческое. Цель Рылеева и его товарища в предприятии, Александра Бестужева, состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному, более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и сущест-

вовали или от получаемого жалованья, или от собственных доходов с имений или капиталов. Предприятие удалось. Все литераторы того времени согласились получать вознаграждение за статьи, отданные в альманах: в том числе находился и А. С. Пушкин. «Полярная Звезда» имела огромный успех и вознаградила издателей не только за первоначальные издержки, но доставила им чистой прибыли от 1 500 до 2 000 р.»[1].

Количественно очень слабые, буржуазные элементы тайных обществ могли однако иметь очень большое влияние на их политическую программу благадаря своему качественному перевесу: Рылеев, А. Бестужев, Батеньков, даже Штейнгель были крупнейшими интеллектуальными силами так называемого «Северного» общества. Для того чтобы написать манифест, основные принципы которого сохранились в наброске Трубецкого, обращались именно к Рылееву, а тот привлекал к участию в этом деле Штейнгеля. Батеньков намечался даже в состав временного правительства—единственный из заговорщиков, так как остальные члены временного правительства должны были быть взяты из числа популярных в обществе государственных людей (называли Сперанского, Мордвинова и некоторых сенаторов). Этот качественный перевес дал такое значение и представителю течения еще более радикального, чем «буржуазная интеллигенция». Пестель, не занимавшийся, сколько известно, никакими предприятиями—и вовсе не имевший крестьян, был столь же чистой воды «идеологом», как позднейшие утопические социалисты 70-х—80-х годов. Придавать его «Русской Правде» значение такого же практического проекта, как конституция Н.Муравьева например, было бы конечно неосторожно: это было чисто литературное произведение и, как таковое, нечто очень индивидуальное, личное. В случае победы декабристов Пестель вероятно имел бы удовольствие видеть свою работу в печати,— но едва ли дело пошло бы дальше этого. Чрезвычайно характерно тем не менее, что человек, предлагавший полное уничтожение всяких сословных и цензовых перегородок, в политической области последовательный демократ, а в социально-экономической доходивший почти до национализации земли, мог не только быть терпим в дворянско-буржуазном кругу, но даже стать вождем самой в сущности влиятельной группы заговорщиков, так называемого «Южного общества». Правда у Пестеля нельзя отрицать большого таланта приспособления: при первом сви-

[1] «Общественные движения в России в первую половину XIX в.» т. I, стр. 242. Читатель заметил конечно, что Оболенский стыдится предпринимательства своих товарищей—стыдится разумеется совершенно напрасно—и старается подменить искание прибыли борьбой за повышение заработной платы. Для этого он пытается уверить своего читателя, что литературный труд тогда почти вовсе не вознаграждался, что не верно: люди, приобретшие «славу и известность», зарабатывали тогда не меньше, чем теперь; Карамзину за 2-е издание «Истории государства Российского» предлагали 75 тыс. рублей.

дании с Рылеевым, автор «Русской Правды» в течение двух часов ухитрился быть попеременно «и гражданином Североамериканской республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской» На буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагоприятное впечатление—и у него видимо сохранилось воспоминание о Пестеле как о беспринципном демагоге, которому доверяться не следует. Чго Южное общество не чуждо было демагогии, примером тому был не один Пестель, как мы сейчас увидим: но едва ли можно на счет этой демагогии отнести и «Русскую Правду», которую ведь предполагалось опубликовать *после* переворота. Притом же пропаганда, как мы знаем со слов самого Пестеля, велась почти исключительно среди офицеров: а по отношению к офицерам из помещичьей среды едва ли была бы удачным демагогическим приемом проповедь национализации земли. Она в сущности не была бы удачной демагогией и по отношению к крестьянам: ибо Пестель не всю землю отдавал своим «волостям», а лишь половину—другая же половина должна была служить полем частной предприимчивости, будучи отдаваема государством в аренду без ограничения притом количества земли, которая могла скопиться в одних руках. На этой «казенной» земле вполне могла возникнуть таким образом крупная земельная собственность—только не феодальная, а буржуазная: половина же земли обыкновенно была в распоряжении крестьян и при крепостном праве. Для оброчных и казенных крестьян проект Пестеля не создавал ровно никакой фактической перемены, что признавал он и сам, между тем с демагогической точки зрения наиболее возбудимым элеметом как раз были бы «военные поселяне» из бывших государственных крестьян. «Идеолог» в Пестеле решительно преобладал над демагогом.

Но при всем своем «идеологизме» из-под влияния наличных общественных классов с их интересами не мог разумеется уйти и Пестель. Его программа, как и программа большинства лидеров тайных обществ, оставалась буржуазной—ничего социалистического, даже утопически социалистического, мы в ней не найдем. Его аграрный проект ставил своей задачей исключительно *раздробление земельной собственности*, а отнюдь не *уничтожение ее*. «Вся Россия,—говорит он сам о результатах предлагаемой им меры,—будет состоять из одних обладателей земли, *и не будет у нее ни одного гражданина, который бы не был обладателем земли*». Это уважение к частной земельной собственности, даже стремление ее сохранить, и привели к тому, что его аграрную реформу приходится называть *полунационализацией*. Один вариант «Русской Правды», касающийся «вольных земледельцев», к которым Пестель причислял казаков, однодворцев, колонистов и т. п. хорошо освещает эту сторону дела. «Ежели необходимым окажется включить в состав обществен-

ной собственности частную землю какого-нибудь вольного земледельца, то сей вольный земледелец имеет быть в полной мере за сию землю вознагражден или денежною платою, или выдачею ему в *собственность* из казенных земель такового участка, который бы в ценности своей равнялся участку земли, у него отнятому, все же земли, принадлежащие ныне в частную собственность вольных земледельцев, кои ненужным окажется включить в общественную волостную собственность, имеют оставаться в вечном потомственном владении нынешних своих владельцев на основании общих правил»[1]. Таким образом острие аграрной революции было направлено исключительно против крупной феодальной собственности (для возникновения крупного буржуазного землевладения, как мы видели, никаких препятствий не ставилось): но «знать» как раз и была главным противником всяких «буржуазных» проектов. Кажущаяся на первый взгляд чистой утопией, программа Пестеля с этой точки зрения получает глубокий *политический* смысл: Пестель едва ли не один из всех декабристов отчетливо сознавал, что, не вырвав почвы из-под ног своего социального противника, смешно мечтать о победе над ним. Но бессознательно другие шли по тому же пути. Н. Муравьева Пестель обвинял в том, что тот с условиями своего ценза создает «ужасную аристократию богатств». Но присмотритесь к его цензу: какая же тут «аристократия», когда для того, чтобы быть избирателем или присяжным, достаточно было иметь недвижимое имущество ценностью в 5 тыс. рублей серебром (по тогдашнему курсу около 20 тыс. рублей ассигнациями), а для того чтобы иметь доступ ко всем должностям, до самых высших нужно было владеть недвижимостью не менее, как на 30 тыс. рублей серебром (120 тыс. ассигнациями). В более ранней редакции первый ценз был еще ниже—всего 500 рублей серебром. Его повысили повидимому с главной целью—оставить за пределами полноправного гражданства пестелевских «вольных земледельцев»—однодворцев, колонистов и им подобных. Но помещики все до очень мелких оставались внутри правящего класса: принимая (как это делает Семевский) ценность «души» в 100 рублей серебром, мы получим для первого ценза 50 душ, для второго—300. Коробочки—или их мужья и братья—могли выбирать Собакевичей: какая же тут «аристократия»[2]? *Программа Никиты Муравьева*, взятая с ее социальной стороны, была типичной программой *среднего землевладения*,—того класса, ко-

[1] *Семевский*, цит. соч., стр. 528.

[2] В 1834 г.—очень скоро после эпохи, нами изучаемой, так что данные годятся—в России считали 1.453 помещика, имевших более 1 000 душ каждый (в среднем 2 461 душа на каждого), 2 273, имевших каждый более 500 душ (в среднем по 687), и 16 740, имевших более, нежели по 100 душ (в среднем 217). Эти последние и должны были составить главную массу избирателей по проекту Н. Муравьева. См. Schiemann, цит. соч., I, 392 (по Васильчикову).

торый дал большинство членов тайных обществ. И это тем характернее, что первое из этих обществ было, как мы видели, очень аристократического состава. Оппозиция начала складываться в рядах социальной группы, ближайшей к верховной власти, но здесь она нашла себе мало сторонников. Не найди она себе сочувствия в ближайшем книзу общественном слое, она бы так и замерла, подобно конституционным проектам екатерининской поры. Но теперь средний помещик был не тот, что в 1760-х годах. То, что тогда было кабинетной мыслью, стало теперь лозунгом широкого общественного движения.

Наиболее кабинетным кажется *республиканизм* декабристов. Несмотря на формальный монархизм муравьевской конституции (император которой, с его очень условным правом veto и весьма укороченными административными полномочиями—он не мог, например, «употреблять войска в случае возмущения» без согласия народного веча—отличался от президента республики лишь наследственностью своих функций, «для удобства, а не потому, чтобы оно—императорское звание—было в самом деле семейственным достоянием», пояснил автор), в сущности все лидеры обоих обществ, «Северного» и «Южного», были на стороне республики. На знаменитом заседании «Коренной думы Союза Благоденствия» в начале 1820 г. только один полковник Глинка «говорил в пользу монархического правления», все же остальные «приняли единогласно республиканское правление». Да и Муравьев объяснял появление своего императора единственно желанием—не пугать чересчур вновь вступающих членов. Но дворянская республика может показаться странной нам, а весьма незадолго до начала декабристского движения она была живой действительностью очень недалеко от России: в Польше. Декабристы—тот же Никита Муравьев—очень увлекались североамериканской конституцией, но она тогда признавала даже рабство, и строй южных штатов федерации на практике был чисто аристократический. Если первый пример мог вызвать возражения со стороны прочности такого строя, то второй должен был замкнуть уста всем возражателям: конституция Соединенных штатов в те дни до июльской революции и парламентской реформы в Англии шла так же далеко впереди всех остальных существующих, как позднее конституция австралийских колоний например. Если уж она фактически оставляла власть в руках помещиков (чему номинальный демократизм нисколько не мешал), чего же было стыдиться России? Заграничная действительность не давала аргументов против *аристократической* республики: русская действительность восемнадцатого века делала очень легким переход к *республике* вообще. Начиная с Екатерины I и кончая самим Александром Павловичем, русский престол фактически был избирательным; можно было указать лишь на два исключения—государей, восшедших на престол исключительно в силу наследственного права: то были

Петр III и Павел I,—нельзя было найти исключений, лучше подтверждавших правило. Зато было не меньше государей, которые не имели никаких прав, как обе Екатерины и Анна, и которые получили эти права из рук «народа», одетого в преображенские и семеновские мундиры. Роль гвардии как «избирательного корпуса» настолько вошла в нравы, что участие гвардейцев в вопросе о престолонаследии сделалось для них, по меткому выражению Шильдера, «своего рода инстинктом»[1]. «Я боюсь за успех,—говорил принцу Евгению Виртембергскому петербургский генерал-губернатор Милорадович накануне присяги Николаю Павловичу:—гвардейцы не любят Николая». «О каком успехе вы говорите,—удивился принц,—и при чем тут гвардейцы?». «Совершенно справедливо,—ответил Милорадович:—они должны бы были быть здесь не при чем. Но разве они не подавали своего голоса при восшествии на престол Екатерины II и Александра?» (Более старых примеров Милорадович очевидно не помнил). «Охота к тому у этих преторианцев всегда найдется!». Достаточно было небольшой европеизации этого «бытового явления», чтобы притти к мысли об избирательности главы государства вообще: идеи Детю-де-Траси и других республиканских публицистов Западной Европы падали на хорошо подготовленную почву. Но когда люди начинали говорить «по душе», старые термины и старые образы невольно всплывали в их сознании. «Желая блага отечеству, признаюсь, не был я чужд честолюбия—писал Ал. Бестужев в своем письме из крепости, исповедуясь перед Николаем Павловичем,—и вот почему соглашался я с мнением Батенкова, что хорошо было бы возвести на престол Александра Николаевича. Льстя мне, Батенков говорил, что как исторический дворянин и человек, участвовавший в перевороте, я могу надеяться попасть в правительную аристократию, которая при малолетнем царе произведет постепенное освобождение России.... *я считал себя конечно не хуже Орловых времен Екатерины*».

Практика дворцовых переворотов сделала то, что люди становились республиканцами, сами того не замечая. Целый ряд более мелких фактов, теснее связанных с эпохой возникновения тайных обществ[2], толкал в том же направлении. Среди них на первое место нужно поставить позорное поведение европейских монархов во время и непосредственно после «освободительной войны». В это время монархический принцип чрезвычайно низко стоял во всей Европе, не исключая и Англии, где пред-

---

[1] Шильдер напрасно приписывает свою остроту Милорадовичу: тот, как сейчас увидим, выразился проще.

[2] Последние шли, как известно, в таком порядке: в 1814 г. «Орден Русских Рыцарей»; в 1816—1817 «Союз Спасения», развернувшийся к 1818 г. в более широкий—и почти открытый—«Союз Благоденствия». В 1821 г. последний был закрыт, и с этого момента собственно датируется «заговор декабристов». См. ниже, отдел «14 декабря».

ставитель этого принципа, принц-регент, не решался иногда показаться на улицах Лондона, боясь, что его забросают грязью: когда Александр Павлович ездил с визитом в Англию, пришлось, как ни было английским придворным совестно, объяснить это деликатное обстоятельство русскому императору; тот засмеялся и поехал к принцу-регенту первый, не дожидаясь его встречи. Но «величественное самоотречение» самого Александра в дни отечественной войны и его хронический абсентеизм позднее в эпоху конгрессов не могли не содействовать развитию такого же настроения и в среде русской интеллигенции, и даже полуинтеллигенции: осуждать императора, который Россию «знать не хочет», как мы видели, решались даже торговцы гостиного двора. Памятником этого настроения в русской литературе остался знаменитый Noël Пушкина («Ура! в Россию скачет кочующий деспот...»), который знала наизусть вся читающая Россия, хотя напечатан он был впервые только в 1859 г. и то за границей. Наконец на последовательное проведение избирательного принципа во всей схеме государственного устройства должен был наталкивать такой будничный факт, как дворянские выборы. Уездный предводитель был выборный, губернский тоже: почему же всероссийскому предводителю не быть также выборным? Между тем с сословной организацией тогдашнего общества политические проекты 20-х годов были связаны гораздо теснее, чем может показаться с первого взгляда. Декабристская конституция носила буржуазный характер; но «великий собор», созыв которого предполагался, как первое последствие удачного переворота, должен был состоять из депутатов по два от *каждого сословия* каждой губернии, т. е. надобно думать два от дворянства и два от городского населения, ибо крестьяне не получали равного с другими представительства даже и после по проектам окончательной конституции. «Возможным полагалось многое уступить,—показывал на следствии Трубецкой,—исключая однако же собрания депутатов из губерний по сословиям». Насколько эта необходимость считаться с существующей дворянской организацией была *общим* мнением, показывает любопытный факт: правительственный проект конституции, составленный Новосильцевым около 1820 г., «государственная уставная грамота Российской империи», дает состав нижней палаты «государственного сейма», очень схожий с составом декабристского «великого собора», в ней мы также находим представителей от дворянских и городских обществ—только эти последние выбирают не прямо депутатов, а лишь кандидатов в депутаты, известная часть которых утверждается императором. И здесь помимо слишком явной тенденции нельзя не видеть влияния той же установившейся практики дворянских выборов: дворянское собрание выбирало собственно двух кандидатов в предводители, но из них по традиции утверждался тот, кто получал больше голосов.

При всем влиянии буржуазного миросозерцания на декабристов республика не была в их проектах отражением этого влияния. Республиканские взгляды были подготовлены прошлым дворянской России и могли сложиться в дворянском кругу совершенно самостоятельно. Республиканизм ультра-аристократических «Русских Рыцарей» является ярким тому доказательством. Когда русская буржуазия, три четверти столетия спустя, выступила со своей собственной политической программой, в этой программе не было республики.

2. 14 декабря.

Существование «тайных» обществ было таким же общедоступным секретом, как в свое время заговор против Павла. По рассказу Н. Тургенева, принятие новых членов происходило до необычайности просто: с предложениями обращались к полузнакомым людям, которых раз-два встретили в гостиных—совершенно так, как предлагают записаться в члены какого-нибудь просветительного или благотворительного кружка. Устав «Союза Благоденствия» в своей организационной части скопирован был с прусского черносотенного «Тугендбунда», который ставил своей задачей быть «среди народа оплотом трона нынешнего властелина Пруссии и дома Гогенцоллернов против безнравственного духа времени», а равно «создавать общественное мнение в низших классах народа, благоприятное для государя и правительства». Возможность такого заимствования в обществе, которое с самого начала задавалось конституционными стремлениями, хотя и «весьма неопределенными», по отзыву Пестеля, показывает, насколько сильна была среди тогдашней русской оппозиции националистическая струя: прусский «Союз Добродетели» мог привлекать только своим патриотизмом. Сравнивая два устава, образец и подражание, нельзя не отметить еще одной любопытной черты: Тугендбунд ставил непременным условием для своих членов-помещиков освобождение ими своих крестьян, притом с землею. Декабристы в своих мемуарах впоследствии и даже уже раньше в своих показаниях на допросах, очень выдвигали крестьянское дело: но этого обязательства в устав своего «Союза Благоденствия» они однако не перенесли[1]. Не мудрено, что откровенный характер «заговора» сделал все его секреты легко доступным правительственным шпионам—и что эти шпионы в то же время не могли сообщить своему начальству ничего, действительно тревожного. Уже летом 1821 г. в руках Александра была обстоятельная записка Бенкендорфа, будущего шефа жандармов Николая Павловича, о тайных обществах. Обыкновенно отмечают сходство этой записки с «донесением следственной комиссии» 1826 г.: еще разительнее то, что она некоторые факты передает вполне согласно с воспоминаниями самих декабристов,

[1] *Семевский*, назв. сочин., стр. 421—422.

притом это относится к фактам, имевшим очень ограниченное число свидетелей. Очевидно, что когда члены-учредители мотивировали формальное закрытие союза в начале того же 1821 г. желанием «удалить ненадежных членов», это не была пустая фраза. Но ни записка Бенкендорфа, ни еще более раннее, повидимому, знакомство императора с уставом «Союза Благоденствия»—так называемою «Зеленою книгою»—не произвели на него никакого действия. Александр Павлович слишком много слышал вокруг себя либеральных разговоров со времени своего вступления на престол, чтобы придавать им какое-нибудь значение. Создавая тем временем медленно, но неуклонно опричнину военных поселений, о чувствовал себя с каждым годом ближе к цели: к тому моменту, когда он, опираясь на «преданного» мужика в военном мундире, сможет игнорировать не только дворянских говорунов, но и любое более серьезное движение. Но, не боясь, он не хотел и раздражать без надобности: члены тайных обществ, большею частью известные Александру по именам, не только не подверглись никаким карам, но сохранили даже свое служебное положение, как ни казалось это странным: император только позволял себе изредка подшучивать над теми из них, кто, увлекаясь сочинением проектов конституции, забывал о фронте (так было еще в 1823 г. с кн. Волконским). Но уже с 1820 г. квиетизму Александра Павловича пришлось выдерживать жестокие испытания: в январе этого года вспыхнуло восстание Риэго в Испании, в июле разразилась революция в Неаполе, и не успели подавить последниюю, как пришлось иметь дело с новой итальянской революцией, в Пьемонте. Какое значение имела испанская революция для русского движения видно из того, что для декабристов расстрелянный впоследствии Риэго был «святой мученик»; повышенное настроение в Петербурге перед 14 декабря выразилось между прочим тем, что в книжных магазинах были выставлены портреты Риэго и его товарища Квироги. А как реагировал на эти известия Александр, видно из указа I сентября 1820 г. об экстренном рекрутском наборе по 4 человека с 500 душ. Не нужно забывать, что все эти движения носили чисто военный характер: их предводителями были офицеры, а революционной массой являлись солдаты. Пока Александр мог быть уверен, что «нас это не касается», что русские офицеры и солдаты сделаны совсем из иного теста, чем испанские или итальянские, он мог еще быть относительно спокоен: русские войска предполагалось даже использовать на службе «порядка» в Италии, и соответствующий корпус был уже сформирован. Но осенью того же 1820 г., на конгрессе в Троппау, куда собралась реакционная Европа, чтобы решить, что же ей делать с неумиравшей «гидрой революции», Александр получил известие, разрушавшее последние иллюзии. В ночь с 16 на 17 октября вспыхнули беспорядки в Семеновском полку—том самом, который больше всех содействовал вступлению Александра на

престол и был всегда любимым его полком. Все значение «семеновской истории»—в хронологической дате: в спокойное время, когда не было ни тайных обществ, ни военных революций в Европе, история в семеновских казармах дала бы материал для разговора в соответствующих кругах на две недели—не больше. Как известно, движение было чисто солдатским—офицеры, хотя среди них было несколько членов Союза Благоденствия, между прочими один из самых замечательных впоследствии декабристов, С. И. Муравьев-Апостол, никакого участия в деле не принимали. Причины солдатского недовольства были профессиональные, бросающие очень любопытный свет на хозяйственную организацию русской гвардии того времени: в полку было много ремесленников, башмачников, султанщиков и т. д.; их заработки шли в ротную кассу на улучшение солдатского быта—стола, обстановки и т. п. Семеновцы например спали на кроватях, а не на нарах, как обычно было в тогдашних казармах. Вновь назначенный, чтобы подтянуть полк, командир полковник Шварц стал употреблять эти деньги на улучшение обмундировки, в то же время отнимая у солдат такую массу времени шагистикой, что их ремесленная деятельность была этим крайне стеснена. На такой чисто экономической почве возник конфликт, обострившийся благодаря грубости Шварца в личных отношениях: жестоким по тогдашним аракчеевским нравам его назвать собственно было нельзя. Правда он снова ввел в Семеновском полку исчезнувшие было там телесные наказания, но их применял например и Пестель в своем полку: между тем Пестеля солдаты любили, ибо он наказывал только «за дело»; Шварц же дрался без всякого толку. Самый «бунт» вылился в чрезвычайно мирную форму, внушившую Александру Павловичу мысль, что все это—дело «штатских» рук. «Внушение кажется было не военное,—писал он Аракчееву:—ибо военный сумел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял». На самом деле смирное поведение солдат объяснялось именно тем, что они ни о какой революции не мечтали: их протест казался им вполне легальным, ибо они знали, что полковой обычай на их стороне, и были убеждены, что Шварца начальство накажет за нарушение этого обычая, как скоро узнает, в чем дело. Тот же принцип, что в столкновении начальника с подчиненными ради «престижа власти» первый всегда должен быть прав, был, очевидно, их простому уму недоступен. Предполагать, что движение было *вызвано* петербургскими «радикалами», как повидимому склонен был представлять себе дело Александр, судя по его разговору на эту тему с Меттернихом, не было ни малейшего основания; но что «радикалы» могли и хотели бы им *воспользоваться*, это обнаружилось очень скоро. Через несколько дней после семеновского «бунта» на дворе преображенских казарм была найдена чрезвычайно любопытная прокламация в форме обращения от семеновцев к преображенцам, но написанная вне

сомнения не солдатом, хотя и для солдат[1]. Повидимому нечаянно из соображений демагогических автор прокламации стал на единственно правильную, хотя в те дни едва ли кому, кроме Пестеля, сознательно доступную точку зрения: *политический деспотизм* он изображает как орудие *дворянского* господства и, возбуждая солдат к восстанию против самодержавия, он аргументирует от ужасов нового крепостного права. «Хлебопашцы угнетены податьми,—пишет он:—многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но оная всякому безотменно нужна, семейство терпит великие недостатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно...» В связи с этой прокламацией, довольно длинной, имевшей целью повидимому только создать известное настроение, стоит другая, коротенькая, где указывались и практические способы переворота: арест всех теперешних начальников и избрание новых «из своего брата солдата». Воззвания вызвали толки среди солдат, и в этих толках поминалась уже «Гишпания». По этому опыту будущие декабристы могли бы судить, какое громадное оружие в их руках: но повидимому никто из них, кроме С. Муравьева-Апостола (по догадке Семевского, автора и наших прокламаций), никто из них не умел или не хотел этим оружием воспользоваться. Они продолжали попрежнему рассчитывать на «густые эполеты». Из 121 человека, перечисленных в «донесении следственной комиссии», было 3 генерала, 8 полковников и 17 штабофицеров: унтер же офицер в рядах заговорщиков был только один, знаменитый Шервуд-Верный, долгое время считавшийся первым доносчиком на декабристов, хотя в его доносе едва ли было что-нибудь, вовсе неизвестное высшему правительству. Но это последнее считало руководителей тайных обществ хитрее и смелее, чем они были на самом деле. После семеновской истории Александр стал обращать большое внимание на здоровье и настроение гвардейских солдат, затрагивая в этих заботах даже «святая святых» фронтовой дисциплины—телесные наказания[2]. Одновременно с этим он впервые начинает относиться к тайным обществам, как к делу серьезному. Характерный анекдот по этому поводу рассказывает Якушкин. «В 22 году генерал Ермолов, вызванный с Кавказа начальствовать над отрядом, назначенным против восставших неаполитанцев, прожил некоторое время в Царском Селе и всякий день видался с императором. Неаполитанцы были уничтожены австрийцами, прежде нежели наш вспомогательный отряд двинулся с места, и Ермолов возвратился на Кавказ. В Москве, увидев приехавшего к

[1] Опубликована впервые *Семевским* в журнале «Былое», 1907 г., февраль, с небольшими пропусками из-за цензурных вероятно соображений.

[2] См. об этом у *Семевского*, «Былое» стр. 91 и 115—117.

нему. М. Фонвизина, который был у него адъютантом, он воскликнул: «Поди сюда, величайший карбонарий!». Фонвизин не знал, как понимать такого рода приветствие. Ермолов прибавил: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся», В это время у Александра еще хватало духу шутить над теми. кого увлекали «проекты конституции»; но очень знаменательно, что он как раз теперь сам перестает играть в подобные проекты. С безобидным словесным либерализмом он не прочь был заигрывать, и «государственная уставная грамота» была уже готова перед самым семеновским делом. Семеновский бунт убил ее, как и вообще остатки всякого, даже словесного, либерализма в самом императоре. Сближение Александра с такими представителями ортодоксального православия, как Фотий, несомненно относится к этой же группе явлений: не теперь было ссориться из-за каких-нибудь квакеров или г-жи Крюднер с крупнейшей полицейской силой, которая могла оказаться так полезна именно в случае *народного* восстании. Масонские ложи были окончательно запрещены в то же время: тут также компромиссы были признаны долее невозможными. Но тщетность этих формальных запрещений Александр конечно первый сознавал лучше кого бы то ни было другого. Все принятые им меры нисколько не уменьшали его тревоги. От 1824 г. сохранилась такая собственноручная его заметка, приводимая Шильдером: «Есть слухи, что пагубный дух *вольномыслия* или *либерализма* разлит или по крайней мере сильно уже разливается и между войсками: что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Митрий Столыпин и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров; сверх сего большая часть разных штаб и обер-офицеров».

За год до смерти Александр Павлович перестал доверять своей армии. И, нужно сказать, его подозрения скорее отставали от действительности, нежели преувеличивали ее. Из опубликованных теперь показаний Пестеля мы знаем,что в тайных обществах конкурировали между собою два плана переворота. По одному из них моментом для революции избиралась смерть Александра, естественная—ее находили возможным дожидаться, потому что этот план «требовал еще много времени»,—но в случае если бы Александр не торопился умирать, «и насильственная смерть покойного государя могла оказаться надобной». Местом восстания должен был быть Петербург, а главной его силой—гвардия и флот: как видим, программа 14 декабря была готова заранее, но история не дала необходимой для ее осуществления отсрочки. По другому плану, который Пестель излагает гораздо конкретнее, так что сразу видно, к чему больше лежало у него сердце, все должно было свершиться несравненно скорее.

«Другое предположение было следующее: начать революцию во время ожидаемого высочайшего смотра войск 3-го корпуса в 1826 г. Первое действие должно было состоять в насильственной смерти государя императора Александра Павловича потом издание двух прокламаций: одну войску, другую народу. Затем следование 3-го корпуса на Киев и Москву с надеждою, что к нему присоединятся прочие на пути его расположенные войска без предварительных даже с ними сношений, полагаясь на общий дух неудовольствия. В Москве требовать от сената преобразования государства. Между всеми сими действиями 3-го корпуса надлежало всем остальным членам союза содействовать революции. Остальной части южного округа занять Киев и в оном оставаться. Северному округу поднять гвардию и флот, препроводить в чужие края всех особ императорской фамилии и то же сделать требование сенату, как и 3-й корпус». На следствии Пестель называл это предположение «неосновательным»—и ставил себе в заслугу, что он его оспаривал, но кажется в действительности споры относились только к *сроку*, назначавшемуся для начатия дела; поведение же на допросе Пестеля достаточно понятно, если мы примем в расчет, что первым пунктом плана было цареубийство. На самом деле, как нельзя более естественно, что «Южное общество», во главе которого стоял Пестель, отдавало инициативу «своим» войскам, а «Северное»—гвардии и флоту, но вооруженное восстание и притом в близком будущем готовили оба общества[1].

Неожиданная смерть Александра, раньше всех даже намечавшихся самыми торопливыми сроков, спутала все карты. Надо было или выступить немедленно—или отложить выступление на долгие годы, может быть совсем. Рылеев и то жалел, что было упущено восстание Семеновского полка, но теперь ситуация была несравненно благоприятнее. Смерть Александра была полной неожиданностью не только для заговорщиков, но для всех вообще, начиная с членов его собственного семейства[2]. Императору не было пятидесяти лет, и хотя он прихварывал последнее время, как казалось, от случайных причин, в общем его здоровье, закаленное годами походной жизни, не внушало

[1] Различие между «Северным» и «Южным» обществами было, как известно, чисто организационное, хотя классовый, *помещичий* оттенок был в планах северян гораздо заметнее; южане были демократичнее. Но члены «Южного» общества имелись и в Петербурге (см. записки Завалишина)—резкой демаркационной черты и здесь провести нельзя.

[2] Рассказ о том, что Александр не умер, а «ушел» и объявился десять лет спустя в Сибири под видом старца Феодора Кузьмича, имеет значение лишь как образчик психологии, не столько «народной», сколько тех кругов, где рассказ сложился и живет доселе. Никаких документальных данных в его пользу не имеется. Напротив, документов, касающихся предсмертной болезни императора, вскрытия и бальзамирования его тела, перевозки последнего в Петербург,—сколько угодно. Для науки поэтому существует лишь один факт: Александр I умер в Таганроге 19 ноября 1825 г.

никаких серьезных опасений. Страх перед надвигавшейся революцией повидимому подтачивал его сильнее, нежели могли это сделать военные передряги. И только этим страхом, доведшим Александра до своего рода политического паралича, можно объяснить ту странную непредусмотрительность, которую с недоумением отмечают все его историки: он как будто совершенно не интересовался вопросом—что же будет с престолом российской империи в случае его кончины? За отсутствием детей у самого Александра, наследником по закону был второй сын Павла, цесаревич Константин. Но последний пользовался такой репутацией, что никто—начиная с его самого—не мог представить себе его императором. В кондуите этого великого князя был ряд инцидентов совершенно уголовного характера, которые всякого честного человека неминуемо привели бы на каторгу, и все это было известо в очень широких кругах[1]. Уже в конце первого десятилетия XIX в. Константина в семье не считали возможным наследником—и видели такового в следующем брате. Николае Павловиче. Но тот был так мал еще (родился в 1796 г.), что и о нем, как императоре, серьезно пока не приходилось думать: Александр Павлович являлся таким образом из всей семьи единственным мыслимым носителем короны—что, как мы видели, Коленкур считал лучшей страховкой против повторения 11 марта. В 1823 г. положение было оформлено. Удобным поводом являлась женитьба Константина на графине Грудзинской: девушка не из царствующего дома не могла быть русской императрицей—отсюда не без натяжки был сделан вывод, что и муж ее не может быть императором. Юридическая почва под этой концепцией была, нужно сказать, очень шаткая: «Учреждение об императорской фамилии» (изданное Павлом 5 апреля 1797 г. и долгое время являвшееся единственным «основным законом» Российской империи) не предусматривало казуса. Жаннета Грудзинская конечно в нормальном порядке вещей не могла стать императрицей, но ее детям ничто не мешало юридически наследовать престол, а тем более ее мужу царствовать. Константин, если бы захотел, мог бы спорить, но он сам шел навстречу сомнительным юридическим доводам своего старшего брата, прекрасно понимая, что нельзя же в манифесте говорить о действительных мотивах его устранения. Но—тут-то и начинается странность, изумляющая всех историков Александра—начатый юридический шаг до конца доведен не был: об устранении Константина Павловича и замене его Николаем опубликовано во всеобщее сведение не было. Не только в народе, но и вообще дальше интимного домашнего круга о перемене никто не знал. В глазах публики наследником оставался Константин Павлович. Когда близкие люди указывали Александру

[1] См. *Golovine*, «Souvenirs» (особ. стр. 118) и «Обществ. Движения», I, стр. 439, прим. 1.

на путаницу, которая почти неизбежно должна возникнуть отсюда в критический момент, Александр воздевал очи к небу и начинал говорить о божественном промысле. С индивидуалистической точки зрения для объяснения такого образа действий не остается другой гипотезы, кроме религиозного умопомешательства, но если мы взглянем на поведение Александра Павловича не как на результат свободного самоопределения, а как на продукт сложившейся к данному моменту обстановки, нам и тут быть может удастся обойтись без помощи психопатологии. Александр смутно чувствовал—хотя всеми словами он не сказал бы этого даже самому себе;—что русское престолонаследие зависело не от актов, которые читаются в церквах и печатаются в официальных журналах, а от соотношения тех неофициальных сил, одну из которых он назвал, в цитированной нами записке, духом „вольномыслия или либерализма". Назначить прямо и открыто наследником Николая Павловича значило нанести этому духу такую пощечину, которой он мог и не стерпеть: это значило весьма возможно ускорить ту революцию, которой Александр так боялся. Ибо великий князь Николай, несмотря на свою молодость, был в 1823 г. личностью вполне сложившейся и определенной.

Сохранилась история детства, отрочества и юности императора Николая Павловича, написанная современником на основании подлинных документов и прошедшая через высокоавторитетную цензуру. Автором этого очерка был статс-секретарь Николая барон Корф, а цензором не кто другой, как император Александр II. Чрезвычайно трудно заподозреть такую работу в пристрастии против изображаемого в ней лица: тем более что автор, скромно называющий себя лишь «собирателем материалов», действительно часто ограничивается дословным пересказом своих источников. И вот что например узнаем мы от Корфа насчет детских игр Николая,—игр, носивших конечно военный характер: это было более чем естественно в сыне Павла и брате Александра Павловича. «Игры эти обыкновенно бывали весьма шумны, о чем постоянно писали все кавалеры в журналах всех годов этого периода, от 1802 и до 1809 г. Поминутно встречаются в них жалобы на то, что великий князь Николай Павлович «слишком груб во всех своих движениях и его игры почти всегда кончаются тем, что он ранит себя или других»...; говорят про его страсть кривляться и гримасничать; наконец в одном месте при описании его игр читаем: «его характер столь мало общителен, что он предпочел оставаться один в совершенном бездействии, чем участвовать в игре. Эта странность могла происходить только от того, что игры его сестры и его брата (Анны Павловны и Михаила Павловича, младших детей Павла, с которыми он воспитывался вместе) ему не нравились,—а он не был способен уступить хотя бы в мелочах»... Кроме того игры эти редко были миролюбивы. Почти всякий день случалась или ссора,

или даже драка: Николай Павлович был до крайности вспыльчив и неугомонен, когда что-нибудь или кто-нибудь его сердили, что бы с ним ни случалось, падал ли он или ушибался, или считал свои желания неисполненными, он тотчас же произносил бранные слова, рубил своим топориком барабан, игрушки, ломал их, *бил палкой или чем попало товарищей игр своих*,несмотря на то, что очень любил их, а к младшему брату был страстно привязан»...[1]. Таков был ребенок: в подростке все эти качества получили дальнейшее развитие. «В продолжение последних лет своего воспитания,—говорит наш автор,—Николай Павлович сохранил всю ту строптивость и стремительность характера, всю ту же настойчивость и желание следования одной собственной своей воле, которые уже и в предыдущий период давали столько забот его воспитателям, и с возрастом эти качества даже еще более усиливались». Его баловство попрежнему носило крайне грубый характер: в 1810 г., уже четырнадцатилетним мальчиком, он, ласкаясь к одному из своих преподавателей, «вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступать ему на ноги и повторял это много раз». Выучившись играть во «взрослые» игры, на бильярде и в карты, он играл «с прежнею заносчивостью и стремительностью, с прежним же слишком большим желанием выиграть, говорят журналы». Из одного письма его матери, императрицы Марии Федоровны, к двадцатилетнему уже Николаю Павловичу мы узнаем и еще о двух его особенностях: привычке кстати и некстати возвышать голос и грубом тоне; и того и другого императрица советовала «безусловно избегать»; не видно однако, чтобы совету последовали. Если прибавить к этому привычку не слушать других, безапелляционно заявляя свои мнения о чем угодно («какой дурак!», было сказано об одном греческом философе, взгляды которого преподаватель великого князя охарактеризовал, как ошибочные), и наклонность удивлять этих других остротами и каламбурами, которым говоривший смеялся первый (и часто, надо думать, в полном одиночестве)—*моральный* портрет получится довольно полный. Последние черты дают уже переход и к *интеллектуальной* стороне. О ней не трудно догадаться; один из цитированных журналов в двух словах резюмирует дело: великий князь, говорится здесь, «мало размышляет и забывает самые простые вещи». Между тем механизм памяти у Николая был великолепный; что входило в эту голову, сидело в ней прочно; задача была в том, как туда что-нибудь ввести. О трудностях задачи дают представление подлинные уже слова Николая Павловича. Рассказав Корфу, как его, Николая, в юности мучили «мнимым естественным правом» и «усыпительной политической экономией» (ее читал не более, не менее, как знаменитый Шторх), император продолжал: «И что же выходило?

[1] Сборн. Русск. Истор. Общ., т. 98, стр. 37—38, цитаты из кавалерских «журналов» в оригинале по-французски; курсив наш.

На уроках этих господ мы или дремали или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучивали кое-что вдолбяшку, без плода и пользы для будущего». Что ни «плода, ни пользы» не было, этого не могли скрыть самые лойяльные люди: «суди сам,—ответил Жуковский на вопрос одного своего приятеля, чего можно ждать от Николая:—я никогда не видал книги в его руках; единственное занятие—фрунт и солдаты». Зато «необыкновенные знания великого князя по фрунтовой части нас изумили», рассказывает Михайловский-Данилевский (известный впоследствии «сочинитель» истории отечественной войны)—рассказ относится как раз к 1825 г. «Иногда, стоя на поле, он брал в руки ружье и делал ружейные приемы так хорошо, что вряд ли лучший ефрейтор мог с ним сравняться, и показывал также барабанщикам, как им надлежало бить. При всем том его высочество говорил, что он в сравнении с великим князем Михаилом Павловичем ничего не знает; каков же должен быть сей?—спрашивали мы друг друга».

До 1818 г. Николай, по собственному заявлению, «не был занят ничем», В этом году, двадцати двух лет от роду, он начал свою деловую жизнь—будучи назначен командиром одной из гвардейских бригад. Что произошло при первом его соприкосновении с житейской практикой; как принял он открывшуюся перед ним действительность, и как эта последняя должна была встретить его—пусть расскажет он сам. Извиняемся перед читателем за длинную выписку; но здесь весь Николай. Страницы не жалко, чтобы показать во весь рост эту во всяком случае крупную фигуру. «Я начал знакомиться со своей командой и не замедлил убедиться, что служба везде шла совершенно иначе, чем слышал волю государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила были в нас твердо влиты. Я начал взыскивать—один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде, даже моими начальниками. Положение было самое трудное; действовать иначе было противно моей совести и долгу; но сам я ставил и начальников и подчиненных против себя, тем более что меня не знали и многие или не понимали, или не хотели понимать. Корпусом начальствовал тогда генерал-адъютант Васильчиков; к нему я прибег, ибо ему поручен был, как начальнику, матушкою; часто изъявлял ему свое затруднение; он входил в мое положение, во многом соглашался и советами исправлял мои понятия. Но сего недоставало, чтобы поправить дело; даже решительно сказать можно, не зависело более от генерал-адъютанта Васильчикова исправить порядок службы, распущенный, испорченный до невероятности с самого 1814 г., когда по возвращении из Франции гвардия осталась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. В сие-то время и без того уже расстроенный трехгодовым походом порядок совершенно расстроился, и к довершению всего, дозволено

было офицерам носить фраки. Было время (поверит ли кто сему?), что офицеры езжали на учение во фраках, накинув на себя шинель и надев форменную шляпу! Подчиненность исчезла и сохранялась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была—одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день. В сем-то положении застал я мою бригаду, хотя с малыми оттенками, ибо сие зависело от большей или меньшей строгости начальников. По мере того, как начал я знакомиться с своими подчиненными и видеть происходившее в других полках, я возымел мысль, что под сим, т. е. военным распутством, крылось что-то важнее, и мысль сия постоянно у меня оставалась источником строгих наблюдений. Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора: на искренно усердных и знающих, на добрых малых, но запущенных, и на решительно дурных, т. е. говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных; сих-то последних гнал я без милосердия и всячески старался оных избавиться, что мне и удавалось. Но дело сие было не легкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь через все полки, и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние сказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось»[1]

Итак пока между либеральным офицерством шли споры о том, быть ли будущей России цензовой монархией или демократической республикой, нашелся человек, сумевший стать на совершенно оригинальную точку зрения: он заметил, что все спорившие «говоруны», без различия оттенков, были во фраках. Вот где, если не корень, то наиболее очевидный симптом зла: вы чувствуете,как близки мы к павловской униформе, обязательной для всех «жителей» без изъятия. Нет только павловского безумия, но тем положение было опаснее, именно безумие делало Павла столь уязвимым,—будь он в здравом уме и твердой памяти, он мог бы процарствовать те же тридцать лет, что и его третий сын. И вы чувствуете также непримиримость конфликта. Офицер-заговорщик мог знать службу не хуже Николая Павловича (вероятно даже лучше иногда: декабристу Фонвизину отдавали на поправку «запущенные» полки): но требовать от него, чтобы он все свои помыслы обратил на то, как бы побить рекорд «лучшего ефрейтора» по части ружейных приемов, было напрасным трудом; вне фронта он всегда оставался бы «человеком во фраке»—интеллигентом, по-теперешнему. Но интеллигенция и Николай—это были огонь и вода: чтобы один мог жить,другая должна была умереть или по крайней мере замереть на время. Мы видим, как был прав император Александр, если он, как можно

[1] Из собственноручных записок Николая о 14 декабря—см. *Шильдера*, «Николай I», стр. 149—150.

догадываться, *боялся* провозгласить Николая своим наследником,—боялся, что это одно вызовет немедленный взрыв революции. На развалинах расстрелянного картечью бунта можно было сказать всей передовой части общества: оставьте всякую надежду; но и то Николай решился на это не сразу—и у него был период чего-то вроде компромисса, как мы увидим. Сказать же это *перед* бунтом—значило прямо произвести пробу, кто будет стрелять лучше. У Александра Павловича нехватило на это духа. Нехватило на это духа и у «русского Баярда», весьма плохо исполнявшего тогда обязанности петербургского генерал-губернатора, генерала Милорадовича. Подозревать этого немного театрального «героя» отечественной войны в нелойяльности у нас нет оснований. К «людям во фраке» он конечно не принадлежал; но настроение войск он знал хорошо, и когда Николай Павлович по получении известия о смерти старшего брата заговорил повидимому о своих правах, Милорадович решительно отказался ему содействовать. «Сами изволите знать, вас не любят», категорически заявил он будущему императору.

Великий князь Николай должен был весьма живо почувствовать, что значит «фактическое соотношение сил». Он, как и вся царская самья, прекрасно знал, что существует, хотя и неопубликованный, но как нельзя более подлинный, подписанный Александром I манифест, назначающий наследником его, Николая[1]. Но император Александр был теперь мертв, и с телом его бальзамировщики обращались, «как с куском дерева», по выражению одного очевидца. Воля живого генерала, самодовольно объяснявшего всем, желавшим слушать, что у него «шестьдесят тысяч штыков в кармане», была сильнее воли мертвого императора. Это молчаливо и косвенно признал даже государственный совет, в первую минуту пытавшийся проявить что-то вроде самостоятельности. Когда Милорадович объявил свою «волю» и здесь, с ним не стали спорить, как не стал с ним спорить Николай Павлович. Твердым военным шагом он первый отправился присягать императору Константину, а за ним пошли члены государственного совета. На следующее утро в окнах книжных и эстампных магазинов Петербурга красовались уже портреты Константина I. Теснившаяся перед портретами публика, успевшая позабыть физиономию цесаревича, избегавшего столицы, дивилась разительному сходству нового государя с Павлом, на ухо рассказывала друг другу скандальные анектоды о Константине, но в общем считала все происходившее вполне нормальным и сама относилась к нему нормально: дальше тес-

[1] Впоследствии официальная традиция, чтобы изгладить малопочетное для Николая Павловича воспоминание, усвоила версию, согласно которой он ничего не знал будто бы о манифесте. Несостоятельность этой версии превосходно доказана Шиманом,—но действительную связь фактов понимал уже Шильдер, в ближайших же осведомленных кругах никогда и сомнений на этот счет не было.

ного придворного круга никто не знал ни об отречении Константина, ни о происходившей во дворце глухой борьбе. Не иначе отнеслись к делу в первую минуту и члены «Северного» общества, «Накануне присяги все наличные члены общества собрались у Рылеева,—рассказывает Оболенский.—Все единогласно решили, что ни противиться восшествию на престол, ни предпринять что-либо решительное в столь короткое время было невозможно. Сверх того положено было вместе с появлением нового императора действия общества на время прекратить. Грустно мы разошлись по своим домам, чувствуя, что надолго, а может быть, и навсегда, отдалилось осуществление лучшей мечты нашей жизни!»

Положение Константина Павловича было необыкновенно сложно. С одной стороны он был осведомлен о существовании планов тайных обществ во всяком случае не хуже Александра: но само собою разумеется отношение к ним его в силу объективных условий «оппозиционного» великого князя было иное, нежели царствующего императора; тот боялся—этот, напротив, мог надеяться.... Декабрист Завалишин передает со слов другого члена тайного общества, Лунина, что цесаревич имел с последним продолжительные беседы, в которых титуловал между прочим Пестеля по имени-отчеству: Павел Иванович. Из этих бесед Лунин вынес впечатление, что на Константина, в известном смысле, можно до некоторой степени рассчитывать. Записки Завалишина—довольно мутный источник, но что Константин после 14 декабря долгое время не выдавал Николаю Лунина под разными предлогами (по словам Завалишина, давая ему тем временем полную возможность скрыться за границу), это вполне подтверждается опубликованной в недавнее время переписки братьев[1]. Натура глубокодеспотическая, Константин Павлович, товарищ по воспитанию Александра, не чувствовал однако же принципиального отвращения к внешним формам свободной жизни, как Николай. В Польше, где он стоял с войсками с 1814 г., он мог привыкнуть к конституционной обстановке,—и уже самый факт женитьбы на простой польской дворянке указывал на некоторую эмансипацию цесаревича от традиций Зимнего дворца. Если кого из царской фамилии можно было представить себе в роли «императора» муравьевской конституции, то скорее его, чем Николая или даже Михаила Павловичей. Декабристам, по крайней мере некоторым, кажется не чужда была мысль английских вигов XVII в. насчет того, что «дурное право делает короля хорошим». Ради этого быть может стоило перешагнуть через прошлое Константина. Но в этом прошлом было нечто такое, через что ему самому перешагнуть было морально невозможно: как-никак в 1823 г. он формально отрекся от

[1] В 131-м *томе Сборника Русск. Историч. Общ.* «Переписка императора Николая I с цесаревичем Константином Павловичем».

престола в пользу младшего брата. Существовало его письмо на этот счет, хранившееся вместе с таинственным манифестом. В семье все об отречении знали: с какими глазами явился бы он к матери императрице Марии Федоровне? Какое впечатление получилось бы, если бы противная сторона опубликовала этот документ? Константин мог стать царем только «волею народа»—в гвардейских мундирах: эта воля могла стушевать и худшие правонарушения. Константин понимал, что присяга, данная людьми, не знавшими ничего о его отречении, не могла равняться такому волеизъявлению: ему нужно было нечто вроде переизбрания. К этому в сущности он и вел: не отрицая фактов, имевших место в 1825 г., даже подтверждая их, он при всех настояниях Николая отказывался дать одно—свое отречение *уже как императора*. Великий князь Константин под давлением со стороны старшего брата подписал в 1823 г. отречение: это верно; но подтверждает ли его император Константин I теперь, когда никакого давления нет: на этот счет из Варшавы не было никакого ответа. Письма обоих братьев переполнены изъявлениями верноподданнической преданности их друг другу, но никакого документа, который уполномочил бы Николая действовать, он в руках не имел. Перед семьей Константин был совершенно чист; он не позволял называть себя «величеством», не принимал донесений, адресуемых ему как государю, и ждал, что будет дальше. Для товарищей Лунина создавалась ситуация, благоприятнее которой трудно себе что-нибудь представить, и они тотчас же это поняли. «На другой же день весть пришла о возможном отречении от престола нового императора,—продолжает Оболенский.—Тогда же сделалось известным и завещание покойного и вероятное вступление на престол великого князя Николая Павловича. Тут все пришло в движение, и вновь надежда на успех блеснула во всех сердцах. Не стану рассказывать о ежедневных наших совещаниях, о деятельности Рылеева, который вопреки болезненному состоянию (у него открылась в это время жаба) употреблял всю силу духа на исполнение предначертанного намерения—воспользоваться переменою царствования для государственного переворота».

Но «междуцарствием» воспользовались не одни заговорщики. «Между тем как занимали внимание публики новым императором (Константином),—рассказывает другой близкий к Рылееву человек, Штейнгель,—экстра-почта, приходившая ежедневно из Варшавы в контору Мраморного дворца, принадлежавшего цесаревичу, была от заставы препровождаема в Зимний дворец и тут вскрываема. Хотели из частных писем знать, что там делается.—Приказано было солдат не выпускать из казарм,—даже в баню, и наблюдать строго, чтобы не было никаких разговоров между ними. Полковым и батальонным командирам лично было сказано, чтобы на случай отказа цесаревича приуготовили людей к перемене присяги. Обещано генерал-адъютант-

ство и флигель-адъютантство» [1]. Тактика Николая Павловича была та же, что и его противников: старались привлечь на свою сторону «густые эполеты». Но у Николая средств привлечения было больше. Даже иные члены тайного общества—как Шипов, командир Семеновского полка—не устояли перед соблазном: чего же было ждать от дюжинных карьеристов? Нам неизвестно, какие приемы были пущены в ход по отношению к Милорадовичу, но уже очень скоро хозяин «шестидесяти тысяч штыков» стал говорить о восшествии на престол Николая, как о деле возможном, хотя и не ручался за его успех. Окончательно закрепил перевес Николая случай, который всегда холопски служит более сильному. Нашелся предатель, если не среди самих участников заговора, то очень близко к ним: Ростовцев, которого считали своим, который все видел и знал, отправился накануне решительного дня к Николаю и рассказал ему—не так много, чтобы это можно было назвать формальным доносом, но достаточно, чтобы Николай был предупрежден. Будущий председатель редакционных комиссий объяснил свой поступок самыми возвышенными мотивами,—но нельзя все же совсем забывать (как это не прочь была сделать либеральная историография), что с этого возвышенного поступка началась карьера Ростовцева. Николай был уже настороже: днем раньше на его письменном столе уже лежали свежие и подробные сведения о деятельности тайных обществ, присланные из Таганрога: результат совместной работы целых трех провокаторов, один из которых, Майборода, был весьма близок к Пестелю. Николай хорошо знал уже, что делается в армии—Ростовцев дал понять, что и в Петербурге то же, и что было еще важнее, предупредил, когда можно ждать удара. Рылеев и его товарищи выбрали, как момент выступления, вторичную присягу, уже Николаю Павловичу; Николай считал теперь почву достаточно подготовленной и решился 14 декабря закрепить свое право, использовав, как мог лучше, семейную лойяльность цесаревича Константина. Что он идет на coup d'etat, Николай понимал прекрасно: но ему приходилось выбирать между государственным переворотом сверху и революцией снизу; в смысле личной опасности это было одно и то же—и то, и другое одинаково могло стоить головы. «Послезавтра поутру я или государь, или без дыхания», этой знаменитой фразой Николай в сущности поставил себя на одну доску со своими противниками: те шли завоевывать республику, этот шел на приступ императорской короны. Дело решилось тем, чья сабля острее: но это была лишь его военная сторона, а в основе тут, как и всюду, лежала сторона *социальная*. При тактике заговорщиков и Николая—одинаковой, как мы

[1] «В период времени с 14 декабря до Нового года назначены были 20 новых генерал-адъютантов и 38 флигель-адъютантов». *Шильдер*, «Николай I», т. I, стр. 356.

видели,—вопрос решали гвардейские верхи. Но они не только из-за генерал- и флигель-адъютантства были на стороне «порядка», т. е. на стороне coup d'etat; то была кость от кости и плоть от плоти той самой «знати», которая прочно держала власть в своих руках все время—особенно прочно с того момента, как Александр капитулировал перед нею в 1810 г. Когда вы просматриваете списки бойцов за «правое дело» против «бунта» декабристов, вас поражает изобилие остзейских фамилий: Бенкендорфы, Грюнвальды, Фредериксы, Каульбарсы мелькают на каждой странице. Самая феодальная часть российского дворянства оказалась наиболее преданной Николаю. А на противоположной стороне из блестящих рядов «знати» 14 декабря сиротливо и конфузливо, стоял один князь Трубецкой—видимо, чрезвычайно смущенный прежде всего тем, что он попал не в свое общество. Ибо нельзя же объяснить невозможное поведение этого «диктатора» только его трусостью: все же он был солдат и в нормальной для него обстановке сумел бы по крайней мере не спрятаться. Но его участие в заговоре именно было непормальностью, поразившею, прежде всего другого, его врагов. «Гвардии полковник! князь Трубецкой! как вам не стыдно быть вместе с такою дрянью?»—были первые слова Николая, когда к нему привели пленного «диктатора». Что нужды, что среди этой «дряни» были носители исторических фамилий, как Бестужевы: они давно выпали из рядов «правительной аристократии», у них были не тысячи, а только сотни душ, и в глазах императора Николая или даже какого-нибудь графа Чернышева эти «обломки гтрою счастия низверженных родов» были не выше, чем в их сообственных глазах—их унтер-офицеры.

С точки зрения Зимнего дворца восстание 14 декобря было чуть не демократической революцией, а оно менее всего желало ею быть, и в этом была его ахиллесова пята. Чтобы понять, что в этот день в Петербурге действительно начиналась первая русская революция, нет надобности обращаться к воспоминаниям самих декабристов: пусть они будут пристрастны. Возьмите записки лояльнейшего из немцев, родного племянника императрицы Марии Федоровны, принца Евгения Виртембергского, когда-то кандидата на российский престол по капризу Павла, а под конец рядового русского генерала. Он ничего не понимал в происходившем движении, он только добросовестно рассказывает то, что видел своими глазами. Утром в день восстания он «усердно предавался» добродетельнейшему занятию—писал письмо к своей матери,—когда в его комнату вбежал встревоженный его адъютант. «Встав (из-за письменного стола), я взглянул на дворцовую площадь, по которой проходили группы солдат со знаменами—я принял их за возвращающихся после присяги. А вокруг них теснилась необозримая толпа народа, из которой доносился дикий рев—нельзя было понять, был ли это знак радости или выражение неудовольствия». Сбежав вниз,

принц нашел на площади Николая, окруженного густой толпой «черни», которой новый император пытался объяснить «обстоятельства своего восшествия на престол». Принцу картина показалась чрезвычайно дикой и неприличной—он поспешил уговорить своего кузена сесть на лошадь и, отдав необходимые распоряжения (между прочим забаррикадировать все входы и выходы из дворца), сам последовал за ним на Сенатскую площадь. Выполняя известный нам план, заговорщики решили захватить сенат, чтобы сделать из него юридический центр переворота: называли и двух-трех сенаторов, на которых они могли бы рассчитывать. То, что Николай был предупрежден, испортило в числе прочего и этот шаг—сенат в полном составе с раннего утра был собран во дворец. Пред зданием сената принц Евгений увидал «кучку солдат, человек в 500; около нее было несколько озабоченных и повидимому вооруженных людей в статском платье[1], *и волнующаяся густая толпа народа разных классов покрывала всю Исаакиевскую площадь и все прилегающие к ней улицы*». Относительно настроения этой толпы не могло быть сомнений: командира гвардейского корпуса Воннова она было стащила с лошади; в самого принца Евгения бросали снежками—а когда конная гвардия вздумала атаковать каре инсургентов, в нее полетели камни и поленья, гораздо больше способствовавшие отражению атаки, нежели слабый ружейный огонь декабристов, стрелявших (и по признанию принца Евгения между прочим) больше в воздух: в конной гвардии, как и во всех полках, были члены тайного общества, и последнее не теряло еще надежды иметь полк на своей стороне. Вообще принц был поражен незначительностью сил, какими мог располагать новый император: кроме батальона преображенцев, не было видно никакой пехоты; артиллерия была в пяти верстах, а когда наконец привезли пушки, то не оказалось снарядов; конногвардейцы и кавалергарды производили какие-то неопределенные движения, для которых один из официальных историков события должен был придумать термин «атакообразные»—попросту говоря, они избегали серьезного столкновения, как избегали ввязываться в него и их противники. И так дело продолжалось с рассвета до сумерек короткого декабрьского дня. К этому времени артиллерия Николая получила наконец порох и картечь, а остзейское офицерство решилось проявить инициативу: по совету остзейца Толя картечь была пущена в ход[2]; от нее

[1] «Прибыв на площадь вместе с приходом Московского полка, я нашел Рылеева там,—пишет Оболенский.—Он надел солдатскую суму и перевязь и готовился стать в ряды солдатские».

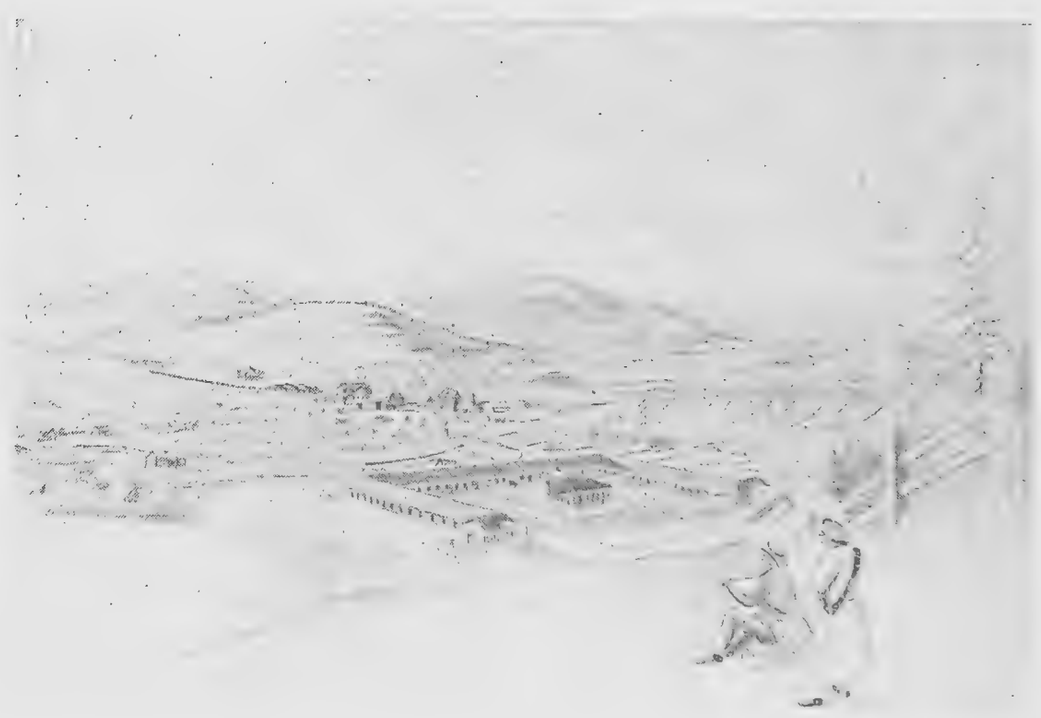
[2] Николай в своих воспоминаниях приписывает эту сомнительную честь Васильчикову. Но воспоминания Николая вообще не являются очень надежным источником. Их основная тенденция—показать, что были исчерпаны «все меры кротости», прежде чем пущено было в ход оружие. Согласно с этим атака конногвардейцев например изображается, как одно из

пострадала прежде всего восставшая толпа: первый выстрел был дан по крыше сената, откуда бомбардировали поленьями конную гвардию; лишь второй и следующие были направлены в каре, но и в окружавший его народ также; «штатских» полегло не меньше, нежели солдат восставших полков. Толпа на «предметном уроке» увидела, кто сильнее: на другой день о революции напоминали только усиленные караулы вокруг Зимнего дворца и на его лестницах и коридорах; в городе было мертвое спокойствие.

Можно ли объяснить случайностью тот факт, что декабристы «простояли» революцию? Ее шансы были очень велики—одного маленького факта достаточно, чтобы видеть, что можно было бы сделать, если бы не бояться народного движения? Н. Бестужев рассказывает, что после первой присяги (Константину) он с братом Александром (Марлинским) и Рылеевым «положили было писать прокламации войску и тайно разбросать их по казармам; но после, признав это неудобным, изорвали несколько исписанных уже листов и решились все трое итти ночью по городу останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором *дана свобода крестьянам* и убавлена до 15 лет солдатская служба... Нельзя представить жадности, с какою слушали нас солдаты; нельзя изъяснить быстроты, с какою разнеслись наши слова по войскам: на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом». Но это был единственный, как читатель видит, довольно неуклюже поставленный опыт. Систематической пропагандой среди солдат занимался только С. И. Муравьев-Апостол, действовавший на юге, но в его «православном катехизисе» как раз отсутствуют социальные мотивы; если он же был автором знакомой нам прокламации к преображенцам, остается удивляться, как скоро он забыл то, что ему так ясно представлялось в 1820 г. И эта забывчивость тоже могла быть не случайной. Одно место из записок Штейнгеля лучше длинных рассуждений покажет нам, как смотрел на вопрос *средний* декабрист. «Один из непринадлежащих к обществу, но знавший о нем с 1824 г., хотя и неопределенно по одной дружеской доверенности Рылеева (такой густой вуалью Штейнгель прикрывает... самого себя), представлял ему, что *в России революция в республиканском духе*

последних решительных действий, предшествовавших канонаде. Между тем и декабристы (бывший все время на площади М. Бестужев), и их противники (эскадронный командир конной гвардии Каульбарс) сходятся в том, что атак в течение дня было *несколько*—все одинаково неудачные. Другая отличительная черта «воспоминаний»—явное стремление затушевать роль *немцев* в усмирении восстания: называются по возможности «истинно-русские» имена. Например о присутствии принца Евгения по рассказу Николая нельзя и догадаться—но зато тщательно отмечено, что посланного с каким-то поручением рейткнехта (конюха) звали Лондырев. «Народность обязывала...»

еще не возможна: она повлекла бы за собою ужасы. В одной Москве из 250 т. тогдашних жителей 90 т. было крепостных, готовых взяться за ножи и пуститься на все неистовства. Поэтому он советовал, если хотят сделать что-нибудь в пользу политической свободы..., то уже *лучше всего прибегнуть к революции дворцовой»*... Дворяне 1825 г. очень не прочь были бы итти на стопам своих предков 1762 и 1801 г. Но та часть дворянства, которая твердой ногой стояла во дворце и могла сделать переворот, *не хотела* той свободы, о которой мечтали декабристы. А к тем, кто мог им помочь, они *не смели* обратиться. В этом роковом кругу и задохнулся заговор, недостаточно аристократический для дворцового переворота и слишком дворянский для народной революции.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПУГАЧЕВЩИНЕ».[1]

Полтораста лет назад, 10 (21) января 1775 г., трагически закончилось последнее большое крестьянское восстание крепостной России: в Москве, на Болоте, был казнен последний мужицкий царь, «Петр Федорович» для своих приверженцев, «Емелька Пугачев» для дворян, злобной стаей окружавших эшафот, к которому «простой народ» не допускали.

Предосторожность была не лишняя: для «простого народа» и через пятьдесят лет казненный Пугачев оставался царем. Пушкин, собирая материалы для истории «пугачевского бунта», обратился к одному старику в Берде, главной квартире пугачевцев под Оренбургом в дни восстания: «Расскажи мне, дедушка, про Пугача». «Для кого Пугач, ваша милость, а для меня царь-батюшка Петр Федорович», услышал он в ответ. Что при жизни Пугачев пользовался популярностью широчайших народных слоев, от душившихся и истреблявшихся царскими чиновниками башкир, калмыков и киргизов до уральских, московских и тульских «мастеровых», от крестьян поволжских губерний до дворовых московских помещиков, этого и дворянские историки «бунта» не могли да и не хотели даже скрывать. И это массовое настроение характерно отразилось в самую последнюю минуту. Пугачев был приговорен культурной и образованной Екатериной II к четвертованию: эта мучительная казнь заключалась в том, что казнимому отрубали сначала ногу, потом руку, потом другую ногу, потом другую руку,—и лишь с оставшимся человеческим обрубком кончали, отрубали и голову. Но казнивший Пугачева палач, по рассказам современников, «ошибся»—отрубив голову сразу; обряд «четвертования» приш-

---

[1] «Пугачевщина» т. I, из архива Пугачева; манифесты, указы, переписка,—изд. Центроархива. Гиз, 1926 г., стр. 3—13.

лось исполнять уже над трупом. Так мужик в красной рубашке оказал мужицкому царю последнюю услугу, какую мог оказать.[1] Толпа, теснившаяся вдали от эшафота, за густыми шеренгами екатерининских солдат, ждала и желала большего: в ней ходили слухи, что Пугачева «помилуют»—ей не верилось, что «Петра Федоровича» могут в самом деле казнить...

Пугачевщине отказывают в названии «революции»—и с точки зрения строгой научной классификации это правильно. Последнее крестьянское восстание не выработало своей идеологии, даже в том зачаточном виде, в каком она была у Разина. Разинцы почти сознательно стремились заменить складывавшееся бюрократическое самодержавие казацким кругом—и характерно, что Разин хотя и не отказывался от спекуляции царским именем, но сам до конца выступал со своей собственной физиономией, как казацкий атаман. Весь политический смысл пугачевщины сводился к замене злой царицы Екатерины добрым царем Петром Федоровичем, причем традиция была так сильна для последнего , что у него была не только своя военная коллегия, но и свой «граф Чернышев». В истории казацких восстаний пугачевщина несомненно является со всеми признаками упадка: казачество уже не в состоянии было подняться до высоты не только Разина, но и Булавина. Но тем более пугачевщина была *крестьянским* восстанием: вообще говоря, *восстанием крепостных людей*. Более мелкая, чем ее предшественницы—смута, хмельничина и разинщина—политически, тем интереснее пугачевщина социально. На ней мы можем проследить, до чего могло подняться крестьянское движение в России в расцвете крепостного хозяйства.

У читавших дворянского историка пугачевщины эта характеристика сейчас же вызовет в памяти знакомое «крылатое слово» Пушкина: «не дай бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Мужицкое восстание—да ведь это значит сожженные усадьбы, повешенные помещики, разгром и погром, уничтожение всякой культуры, хотя бы и дворянской. Словом, одни минусы, никаких плюсов. Конечно все это «оправдывается» жестокостями крепостного права; конечно помещики это «заслужили»; словом, тут есть известное моральное удовлетворение, но не могло быть никакого революционного смысла. Дви-

[1] В наше время всяческих реабилитаций прошлого, которое успело стать милым, сделана между прочим попытка отнять инициативу смягчения казни Пугачева у палача и передать ее Екатерине II, будто бы предписавшей избежать «мучительства» (ст. А. Чулошникова в «Русском прошлом», 1923 г., № 3). Данные были бы убедительны, не будь у нас показаний *очевидцев*, свидетельствующих, что поступок палача был полной неожиданностью для распорядителей казни. А перед лицом этих показаний вывод получается такой: Екатерина и ее высшие чиновники *хотели* смягчить казнь, конфузившую «просвещенную» императрицу перед Европой, но не посмели из страха перед дворянством, а палач *посмел*.

жение смотрело назад, а не вперед. И как ни гнусна интенсифицированная барщина, все же она была более прогрессивной организацией хозяйства, нежели то, что могли поставить на ее место поволжские крестьяне, вдохновляемые уральскими казаками.

Но вы изображаете буржуазно-либеральную философию истории—слышу я протесты молодых товарищей, уверенных, что Октябрьская революция дотла стерла все «старые» настроения: кто же *теперь* так думает? Увы, Октябрьская революция не столько стерла дотла старое, сколько дала нам возможность его стереть дотла—но для этого придется поработать. Что же касается устарелости изображенной оценки, сошлюсь на совсем недавно вышедшую «Пугачевщину» К. Тренева—ее не так давно поставили в Художественном театре по случаю полуторастолетней годовщины. Вещь весьма недурная со стороны диалога, сценичности, художественной техники вообще. Но «народ» в ней взят именно под тем углом зрения, который охарактеризован выше. Правда, есть какие-то совсем не художественные, картонные «рабочие» (кстати едва ли это исторически верный термин: восемнадцатый век знал «рабочих людей», но еще у Герцена, как имя существительное, мы имеем «работника»),— но они появляются на две минуты, чтобы соблюсти приличия, требуемые главреперткомом, и никого ни в чем не убеждают. А «народ» модернизирован, сравнительно с Пушкиным, только кое-какими черточками, взятыми напрокат у Л. Толстого. Все ли почитатели великого писателя после 1905 и 1917 г. заметили, что Платон Каратаев более устарелая фигура, нежели «бедная Лиза» Карамзина?

Мы—многие из нас по крайней мере—смотрим на политического крестьянина с необычайно высокого Арарата, и это в настоящий именно момент прежде всего политически крайне близоруко. Ведь нельзя же понимать «смычку с крестьянством» так, как ее изображают на плакатах; рабочий подает крестьянину плуг, а тот рабочему мешок с рожью. Смычка—это значит приобщить крестьянина к нашей общественности, сделать его сознательным участником нашей строительной работы. А как этого достигнуть, коли его, крестьянина, политически от земли не видать, коли с нашей возвышенной позиции до него политически даже и не достанешь.

И вот, перед нами крестьянин не теперешний, наполовину обученный в школе, переживший и проделавший две революции, а крестьянин XVIII в.—«ревизская душа», продаваемая оптом и в розницу. Чай, он и говорить-то как следует не умел. «Тае да тае», как толстовский Аким. Что могло остаться от крестьянского восстания этого времени, кроме донесений губернаторов и генералов, рассказывающих, как они его усмиряли?

Представьте себе: от этого крестьянского восстания нам остался *его собственный архив*» — архив Пугачева. Печатаемые

в этом томе материалов по истории пугачевщины документы все вышли из пугачевских канцелярий. Других здесь нет.

И конечно это не все документы, созданные самой пугачевщиной. Случайность нашего подбора бросается в глаза—но виноваты в этом не мы. Никто же не занимался «хранением» пугачевских бумаг. Центроархива у Екатерины II не было. Сохранилось в следственном производстве только то, что могло служить уликой против того или другого участника восстания; но у последних было именно поэтому более чем достаточно оснований подобные улики уничтожать. Можно быть уверенным, что наиболее характерные и содержательные пугачевские документы до нас не дошли, ибо были сожжены раньше, чем попали в руки екатерининских чиновников. Возможно, далее, что некоторые, компрометировавшие лиц, которых не желали втягивать в следствие, были истреблены самими этими чиновниками или их начальством. Многое пропало естественным путем, при том или ином разгроме пугачевской армии. Словом, до нас несомненно дошли лишь *обрывки* архива. И все же их хватает на целую книжку.

Пугачевцы не только жгли усадьбы и вешали помещиков—они писали. Писали конечно не самым изысканным «штилем»—хотя по части «штиля» у них были перебежавшие к ним екатерининские канцеляристы, слог которых местами определенно чувствуется. В общем стиль пугачевских бумаг менее отличается от слога правительственных манифестов той эпохи, нежели речи мужичков Л. Толстого и Глеба Успенского от жаргона интеллигенции 1880-х годов. Характерно, что друг о друге стороны отзываются буквально тождественно. Екатерининские генералы для Пугачева такие же «злодеи и возмутители», какими для этих генералов были Пугачев и его атаманы. А ставшие на сторону екатерининской администрации мещане и купцы г. Кунгура—такие же «злоумышленники», какими для этой администрации были крестьяне, приставшие в Пугачеву. В своей «царской» роли предводитель крестьянской рати был как нельзя более последователен.

«Предводитель крестьянской рати», но разве Пугачев не был прежде всего другого казацким атаманом? Переходя теперь к содержанию пугачевских бумаг, мы должны сказать, что именно в этом пункте они вносят существенную поправку в обычную характеристику—ярче всего она отразилась в упоминавшейся выше пьесе К. Тренева, но в ней не без вины и пишущий эти строки. Идя по старой литературе, мы склонны были изображать пугачевщину *первого* периода как местное казацкое движение. У Тренева она почти все время остается таким—исключение составляет вторая (кажется) сцена, бунт в помещичьем имении, торчащая оторванным от целого куском. Эта картина безусловно не верна. Уже от самых первых дней восстания, от 17 (27) сентября, мы имеем обращение к «казакам и калмыкам и та-

тарам», от первых чисел *октября* ст. ст. характернейший манифест к башкирам, жалующий их «верою и законом», т. е. обещающий неприкосновенность мусульманской религии, теснимой рьяными христианизаторами (в числе наших документов есть и благодарность одному татарскому мулле за ревностную службу Пугачеву),—а от второй половины того же октября мы имеем уже обращение ко «всему миру» Авзяно-петровского завода—будущей технической базы восстания. В движение, кроме казаков были сразу втянуты, как главный объект угнетения русских колонизаторов—туземное население Уральского края, так и «мастеровые» уральских заводов, т. е. вся народная масса Приуралья.

Заводское крестьянство сливалось с заводскими рабочими—во «всем мире» были и те и другие, пока движение оставалось местным, уральским—но никак не только казачьим,—о крестьянах особенно говорить не приходилось. Но уже ноябрьский манифест «ко всем верноподданным рабам всякого звания» «всякою вольностию отечески» жалует этих «рабов», а от первого декабря мы уже имеем прямое обращение *к крестьянам* и притом татарам: «Петр Федорович» продолжал итти по линии «угнетенных народностей».

Манифест 1 (12) декабря совершенно определенно ставит классовую крестьянскую точку зрения. Пообещав крестьянам «землю, рыбные ловли, леса, борти, бобровые гоны и прочие угодья, *также и вольность*», манифест продолжает: «а если кто не будет сие мое воздаваемое милосердие смотреть, яко то помещики и вотчинники, тех, как сущих преступников закона и общего покоя, злодеев и противников против воли моей императорской—лишать их всей жизни, то есть казнить смертью, а домы и все их имение брать себе в награждение. А на оное их, помещиков, имение и богатство, также яство и питие было крестьянского кошта: тогда было им веселье, а вам отягощение и разорение...».

Бибикову, прибывшему на место действия именно в декабре, не нужно было большой проницательности, чтобы определить восстание, как направленное не столько против императрицы Екатерины, сколько против крепостного строя вообще, и угрожающее не столько администрации, сколько прежде всего и больше всего помещикам.

Знаменитый, неоднократно воспроизводившийся манифест Пугачева от июля 1774 г., где повелевалось: «Кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать»—этот памятник агонии пугачевщины вовсе не был приспособлением казацкого восстания к новой среде, где оно оказалось после того, как Пугачев был выбит с Урала. «Бейте помещиков, забирайте землю!» было лозунгом с самого начала. Постепенно только расцвечивалась конкретная

мотивировка лозунга. Скоро оказалось, что «Петр Федорович» потому и престол-то потерял, что вступил на него с твердым намерением освободить крестьян. «Всему свету известно, сколько во изнурение приведена Россия,—писал (в январе 1774 г.) пугачевский полковник Грязнов жителям Челябинска,—от кого же, вам самим то небезызвестно. Дворянство обладает крестьянами; но хотя в законе божием и написано, чтобы они крестьян так же содержали, как и детей, но они не только за работника, но хуже почитали полян своих, с которыми гоняли за зайцами. Компанейщики завели премножество заводов и так крестьян работой утрудили, что и в ссылках того никогда не бывало...». «Дворянство же премногощедрого отца отечества, великого государя Петра Федоровича, за то, что он соизволил при вступлении своем на престол о крестьянах указать, чтоб у дворян их не было во владении... изгнали всяким неправедным наведением, и так через то принужденным нашелся одиннадцать лет отец наш старанствовать, а мы, бедные люди, оставались сиротами...». Этот в рабском виде странствующий крестьянский царь должен был сильно действовать на воображение массы, и недаром легенда пережила Пугачева, находя для своего героя разные воплощения до Федора Кузьмича уже в середине XIX в. включительно.

Но «Петр Федорович» нес избавление не только от крепостной неволи у господ, а и от крепостнического государства. Наиболее выразительным символом последнего для деревни была *подушная подать*. «Ежели всемогущий бог допустит принять всероссийский престол, и тем моим подданным прощены будут подушные деньги, так и от помещиков крестьяне освобождены будут...» («указ» 5 июня 1774 г., подписанный «членом военной коллегии» Иваном Тавровым). Характерно, что подушные «прощаются» не сейчас, а когда «Петру Федоровичу» удастся свергнуть Екатерину II. Лозунг должен был подстрекать к дальнейшим действиям,—«спокойная в свете жизнь», для которой Пугачев «вкусил и претерпел от прописанных злодеев дворян странствие», должна была начаться лишь после окончательной победы. Другим символом дворянского государства была *тюрьма*—где, кроме уголовных колодников, немало было и политических арестантов, после недавних волнений башкир и заводских крестьян. Недаром именно башкирам Пугачев писал в декабре 1773 г.: «Кто желает, ко мне идите; если в тюрьмах содержатся и в боярских руках люди... не держать, отпускать; от меня приказ—ежели силой содержать будут кто, повелел таковым голову рубить...»

Мы написали выше «дворянское государство»—и это вовсе не абстракция XX в. Пугачевцы отлично понимали классовую природу стоявшей против них государственной машины—и иногда даже «перегибали палку», изображая «российскую империю» просто как царство дворян, игнорируя Екатерину (о ко-

торой вообще пугачевские манифесты почти и не упоминают). «Дворяне привыкли всею Россиею ворочать, как скотом, но еще и хуже почитают собак, а притом без малых жить не привыкли; а государь все то от них тогда отобрать изволил, так через то дворяне умыслили написать хулу, *а признали за* лучшее *владеть Россиею* сами...»—писал в январе 1774 г. жителям Челябинска пугачевский полковник Ив. Грязнов. Естественно что дворянам такое пренебрежительное отрицание их классового государства казалось отрицанием государства вообще. Но нес ли с собой Пугачев действительно *анархию?* Всего менее. В другом месте («Русская история», т. III, гл. XIV) мне приходилось указывать, как мало соответствует действительности представление о пугачевской *военной тактике*, как о стихийном напоре беспорядочной толпы. У Пугачева была, действительно, армия—немногим хуже екатерининской. Печатаемые документы дают много примеров тому, как роскошно были например снабжены пугачевцы *артиллерией*. Потерять 18 пушек в одном бою было обычным делом—как и собрать 20 новых. Там и сям рассеяны любопытные сведения *о технической базе* Пугачева, каковой были уральские горные заводы,—первое же обращение, еще в октябре, к Авзяно-петровскому заводу, заказывает две мортиры с бомбами, понадобившиеся очевидно для предполагавшейся уже тогда осады Оренбурга. Но к этому, как к вещи известной, мы возвращаться не будем. Новее другое. Каждый шаг вперед «бессмысленного и беспощадного бунта» сопровождался о р г а н и з а ц и е й занятой местности. Сначала приведем пример, ближе всего относящийся к организации военной. Для этого стоит выписать целый небольшой документ.

«Указ е. и. в., самодержца всероссийского из государственной военной коллегии атаману Илье Арапову. Через сие повелевается тебе имеющийся в окрестных селениях барский всякого рода хлеб приказывать кому способно: немолоченный молотить, а намолоченный молоть и, смоловши, присылать в здешнюю армию тех же или прочих жителей равенственно на подводах, а за провоз тем подводчикам выданы деньги из казны будут. И сколько же будет от тебя отправлено сюда, рапортовать. А как одному тебе порученное сие дело вскоре исполнить нельзя, то позволяется тебе выбирать по с е б е поверенных, и посылать в те жительства, с данными от тебя наставлениями, с принадлежащим числом конвоем, для высылки сюда в армию всякого молотого хлеба, также и овса, сколько найдется, высылать же. *Да и то наблюсти, что бы посланные от тебя поверенные не отваживались чинить крестьянам никаких обид*, в противном случае подвергнут себя его величества гневу. И порученное сие дело исполнить тебе как можно наискорее. Публикацию же, при сем приложенную, объявлять во всяком селении и чинить по сему е. и. в. указу во всем непременно. Декабря 16 дня 1773 года» (следуют подписи членов «государственной коллегии»).

Эта забота о крестьянстве — чтобы ему обид не было — не единичное явление: она проходит через все соответствующие документы. «Если и впредь будут таковые преступники законам, какие причинять обиды и разорения, то таковых, тотчас поймав, и по поимке присылать за караулом в вышереченную военную государственную коллегию при рапорте, с изъяснением их преступления...» (Копия с указа военной коллегии от 17(28) декабря 1773). «Будучи вам при сем командировании и при наборе верноподданных, в жительствах казакам никаких обид, налог и притеснений не чинить, ко взяткам, кроме съестного припаса (,) не касаться под опасением смертной казни. Если же где кем захвачено у разных обывателей скот и разный экипаж с денежною казною, то для изыскания виновного и с грабителем присылать ко отправлению к его императорскому величеству к нам...» («наставление» «российского и азиатского войска предводителя Ивана Кузнецова и полковника Салавата Юлаева... атаману Гавриле Ситникову». Январь 1774 г.). «По состоявшемуся из государственной военной коллегии присланному находящемуся при корпусе под Уфою графу Чернышеву его императорского величества указу между прочим предписано за разорение и грабеж, кто б какого звания и достоинства ни был, чинить смертную казнь» (из «наставления» того же Кузнецова есаулу Матвею Чигвинцеву, от того же времени). «Ежели потребно им (посланным с каким-нибудь поручением казакам) быть может для себя или коней провиант, то им (жителям) неотменно давать, *за которой требовать с них* (казаков) *деньги по обыкновенной цене*» (приказ муллы Адигута Тюмесева, того же времени). «А как та команда действительно соберется, то быть вам во всякой чистоте, никому обид и грабежа не делать, а если окажитесь в каких худых поступках, то будете достойны смертной казни...» (приказ башкирского полковника Бахтияра Канкаева, июнь 1774 г.). И т. д., и т. д.

Мужицкий царь очень заботился о том, чтобы его армии не производили на крестьянство того же впечатления, как армии дворянской царицы Екатерины. Насколько это ему удавалось? Заранее можно сказать, что плохо.

Кроме того, к делу примешивалась национальная вражда: в наших документах есть ряд указаний на жестокие грабежи башкир среди русского населения уральских заводов. В минуту огромного национального подъема нельзя было заставить башкира щадить русского колонизатора, не щадившего башкира в предыдущий период. И все добросовестнейшие усилия башкирских полковников делу помогали мало. Но поскольку у Пугачева руки доставали, он умел сохранить от разгрома не только мужицкое, а и барское добро, доставшееся в мужицкие руки. «А боярскую пажить, имения, хотя тот боярин и бежал, а сколько останется после его пажить, отдав оную всю вернейшему человеку с описанием и сюда репортовать. Если же из сего кто

верноподданным истинным сыном отечества и чинит какое грабительство, а наипаче вящие и нестерпимые обиды, таковые яко преслушник его величества повеления, без наказания оставлен не будет...» (указ военной коллегии января 1774 г.). А из другого подобного же указа можно заключить, что и поджоги усадеб рассматривались лишь как террористическое средство, которое следовало оставлять, как только преследуемая террором цель была достигнута. «Их (противников Пугачева под Уфой) жилища как можно огню предать для лутчего страха; и от того может они со всем своим усердием в покаяние (придут), то оное зажжение, как наискорее, стараться сократить» (указ военной коллегии конца декабря 1773). Правда, что «зажжение» касалось тут не дворян, а городских жителей — с купечеством и мещанством Пугачев тоже старался ладить, и в числе наших документов мы находим охранные грамоты купцам, а также и духовенству.

Но не нужно думать, что даже и башкиры «грабили» в уголовном, так сказать, порядке — как бандиты. От февраля 1774 г. до нас дошел такой документ, подписанный «графом Иваном Чернышевым»: «Завода Рождественского атаман Семен Волков и есаул Василий Завьялов и со всеми мирскими людьми представляли мне, что со оного заводу взято башкирцами боярской денежной казны полторы тысячи, которая действительно от тех башкирцев здесь мною принята: а предписанного Рождественского завода жители имеют заработанных у прежнего боярина, а не полученных за работу денег более полуторы тысячи рублев. Того ради определяю тебе (атаману Степану Кузнецову, к которому обращен «ордер»), сим вместо предписанных тех взятыми башкирцами денег, из выручeнных за соль и из прочих питейных доходов, выдать им полторы тысячи рублев, дабы они не могли прийти в крайнее разорение».

Башкиры отдали, таким образом, захваченное в пугачевскую казну — считая его правильной военной добычей: а это оказалась заработная плата заводских «мастеровых». Последним возместили утраченное из *государственных* доходов. Да, у Пугачева были государственные доходы — о продаваемой его казной соли (тогда государственная монополия) мы имеем не одно упоминание в нашем сборнике документов. Вообще пугачевский тыл был настолько организован, что там действовала *почта* (приказ полковника Бахтияра Канкаева от 12/23 июля 1774 г., «кто какого жительства услышит неприятельские находы, то чтобы неотменно во всякой скорости ко мне репортовали через почту») и даже... *паспорта* (приказ «походного старшины» Саифула Саидашева от 26 марта 1774 г.: «из здешней армии без письменных билетов много в домы свои разошлись, того ради тебе (села Крылова старосте Дмитрию Захарову), если кто из здешней армии без билетов, или хотя и с билетами, оных отнюдь не пропускать...»).

Но если пугачевская администрация в своих приемах попросту воспроизводила администрацию дворянской России, то происхождение ее было иное. Пугачевский тыл — и это едва ли не лучшее свидетельство в пользу «склонности» населения к «самозванцу» — управлялся *выборными* властями. Самым первым и элементарным требованием, с каким занявшие ту или другую местность пугачевцы обращались к ее жителям, было — учредить *земскую избу*. Вот один из образчиков того, как возникала на местах пугачевская администрация: «1774 года февраля первого дня Рождественского завода и деревень Пристаничной и Зобачевки мирские старосты (следуют имена) и все оного завода и деревень мирские люди дали сей мирской приговор оного же завода атаману Симеону Иванову сыну Волкову (и) эсаулу Василью Меркулову сыну Завьялову в том, что выбрали оных по мирскому общему согласию для того, чтоб иметь оным над нами команду, как прежде бывшим командирам, и ни до каких нас своевольств, грабительств и озорничеств не допускать, да и нам быть, чтобы оным во всем послушным...» Нужно прибавить, что и военное пугачевское начальство, поскольку оно не пришло с «Петром Федоровичем» с Яика, тоже было выборное: в несколько более раннем (20 января) документе того же Рождественского завода мы читаем, что «Рождественской заводской конторы служители и Рождественского завода жители мастеровые и работные люди, также выборные из тех же мастеровых людей и деревень... крестьян казаки... единогласно приговорили и выбрали над посланными заводскими и деревенскими казаками быть начальником» тому же Семеону Волкову.

Всякий, взявший оружие за дело «Петра Федоровича», был казак — и всякий начальник этих казаков был атаман: при поверхностном чтении таких документов и может показаться, будто все восстание носило сплошь «казацкий» характер. Но это было бы ошибкой — «казак» у Пугачева был противоположностью екатерининскому «солдату». Это название такое же, как теперь «красноармеец», и происхождением этот казак мог быть и из «работных людей», и из «пахотных крестьян», и из башкир.

Мы далеко не исчерпали всего богатейшего содержания пугачевского архива. Но приведенных цитат достаточно, чтобы оценить, насколько правильна традиционная характеристика «бессмысленного и беспощадного» бунта. Беспощадным он был, правда, но лишь по отношению к одному классу—помещикам. Бессмысленным же он мог быть назван лишь с точки зрения тех же помещиков, которые, конечно, не могли видеть большого смысла в уничтожении их господства. Под пугачевское знамя собрались все, кого угнетала дворянская Россия в каком бы то ни было качестве: заводского мастерового, пашенного крестьянина или «инородца». Последнее великое крестьянское восстание было первым восстанием всех угнетенных царской Россией—

и пугачевские манифесты к киргизам, башкирам и калмыкам были зарей того раскрепощения нерусских народностей, которое совершилось на наших глазах. А совместная борьба уральских горнорабочих («люди при заводе находятся беспахотные и пашен у себя не имеют»—писали жители того же Рождественского завода, который выбирал в атаманы Волкова) и крестьян напоминает нам о той политической смычке пролетариата и крестьянства, которая в тех же местах в 1919 г. помогла нам отбить и разбить Колчака. Нам не приходится стыдиться отдаленных родственников XVIII в.—они даже организационно стояли недалеко от тогдашнего «российского государства».

Кончая с дворянской легендой о бессмысленном бунте, архив Пугачева кончает и с дворянским же изображением крепостного крестьянина, как не то святого юродивого, не то бессловесной скотины. Стряхнув барина, этот крестьянин сразу приобретал способность и говорить, и действовать по-человечески—полтораста лет тому назад, как и теперь.

К ВОПРОСУ О ПУГАЧЕВЩИНЕ [1]

Присланные работы тт. П. и С. имеют прежде всего тот общий недостаток, что обе дают анализ не самого восстания, как образчика «крестьянской войны», типичной для феодального режима, а его социально-экономических предпосылок. Это в сущности *введение* в историю пугачевщины.

Частным дефектом обеих работ является слишком большое внимание, уделенное ими критике явно фантастической схемы т. Меерсона (знак равенства между последним и Малышевым у т. С. я считаю поставленным не совсем правильно: т. Малышевым тоже слишком всерьез принимается схема Меерсона, но объявить его меерсоновцем все же нельзя; скорее его можно обвинить в «струвианстве»). Если бы кто-нибудь из авторов *детально* и *конкретно* разобрал схему т. Меерсона,—это был бы шаг вперед, и такую работу стоило бы напечатать. А критика в той общей форме, какая ей придана в двух настоящих работах, ломится в открытую дверь. Едва ли кто-нибудь теперь *дойдет* до той утрировки «теории торгового капитала» до какой дошел Меерсон, у которого феодализм за торговым капиталом совершенно исчез и даже классовая борьба внутри феодального общества объясняется из того же торгового капитала. Выходит, что методы феодальной эксплоатации никакой роли не играли, а торговый капитал был всем.

На самом деле пугачевщина была типичным восстанием феодальных крестьян, одним из последних восстаний этого рода в европейской истории. Восстания крестьян в средние века

[1] Письмо семинару 1-го курса ИКП, 1931. Напечатано в «Историке-марксисте», 1932 г. т. 1—2., стр. 75—78.

были таким же неизбежным последствием методов внеэкономического принуждения, как стачки рабочих являются неизбежным последствием капиталистической эксплоатации. Рабочие давят на капиталиста экономическим средством—стачкой, крестьяне имели в руках только внеэкономическое средство давления—бунт. Экономическая стачка может и неизбежно должна при известных условиях перерасти в борьбу всех рабочих против всего капиталистического режима,—в пролетарскую революцию, бунт феодальных крестьян тоже мог при известных условиях превратиться в восстание против всего феодального режима—в буржуазную революцию. Но для этого необходимы в обоих случаях: 1) известные объективные условия—известный уровень развития производительных сил; 2) определенная степень сознательности и организованности восставшей массы.

На первом условии особенно приходится настаивать в наши дни, когда с легкой руки деборинщины, разоблаченной, но далеко не изжитой, мы встречаем на каждом шагу попытки совершенно сбросить со счетов объективные условия, заменив все одной «диалектикой», что выдается за самый стопроцентный марксизм. На самом деле, как давно указал Ленин в своих замечаниях на «Экономику переходного периода» Бухарина, «без известной высоты капитализма у нас бы ничего не вышло». «Диалектика», не считающаяся с объетивными условиями, есть идеалистическая, а не марксистская диалектика. В истории мы имеем случаи, когда восстание феодальных крестьян против своих помещиков вошло как крупная составная часть в буржуазную революцию, больше того, сделало объективно возможной последнюю. Этот случай—так называемая «Великая французская революция»—канун XIX в.

Крестьянская пугачевщина во Франции составляла тот фон, на котором восстание парижских рабочих и мещан превращалось в общенародную революцию. Если бы городское восстание было разбито, крестьяне были бы конечно раздавлены; но если бы во французской деревне было спокойно, феодализму нетрудно было бы справиться с городским восстанием. Успех одного обусловливал успех другого и в общем, повторяю, французская пугачевщина вошла крупнейшей составной частью в «Велпкую французскую революцию». Но в какой обстановке это совершалось?

Во-первых, производство во Франции давно уже было в руках буржуазии: помещик давно превратился в земельного ростовщика и вымагателя ренты; во-вторых, буржуазпя уже выработала свою идеологию, мало того, подчинила ей даже дворянство, которое свою феодальную идеологию давно растеряло. В 1789 г. во Франции только какие-нибудь старосветские помещики верили в свои «прирожденные права», и целый ряд французских дворян еще за двадцать лет до этого боролся за американскую демократию. Дворянам нечем было защищаться пп

экономически, ни морально—и французская революция потерпела неудачу в схватке не с дворянством (оно было разгромлено), а с крупной буржуазией.

Теперь сравним с этим Россию второй половины XVIII в. Господствовали феодальные методы производства—буржуазное хозяйство существовало лишь в едва заметных зачатках. Не только сельское хозяйство почти во всей производящей полосе, но и большая часть обрабатывающей промышленности были в руках дворян. Как правильно отметил т. П., и хозяйство некрепостных крестьян носило феодальный характер (Ленин писал, что у нас крепостническим является не только помещичье именье, но и крестьянский надел.) Что касается идеологии, то буржуазия существовала опять-таки в едва заметных зачатках (Новиков, Радищев); не только наша художественная литература до второй половины XIX в. была помещичьей (Пушкин, Тургенев, Л. Толстой), но даже и наша публицистика (Кавелин, Чичерин, славянофилы); эпоха, соответствующая французскому «веку энциклопедистов», у нас падает на 1860-е гг. Сознательность самой восставшей массы достаточно характеризуется тем, что ее вождь должен был выдавать себя за царя.

Есть ли какая-нибудь возможность сравнивать Россию и Францию второй половины XVIII в.? Были ли Руссо и Дидро дворянскими публицистами? Выдавал ли себя Робеспьер за Людовика XVII? Меерсоновская теория свидетельствует не только о недостаточно марксистском подходе к делу, но и об отсутствии у ее автора всякой исторической перспективы.

Если я говорил—и очень неудачно—о пугачевщине, как «буржуазной революции эпохи торгового капитала»,—то я обобщал под этим названием те восстания феодального крестьянства, которые были связаны с усилением эксплоатации последнего, благодаря возникновению рынка и образованию купеческого и ростовщического капитала. Связь эта несомненна (см. цитаты из т. III «Капитала» и «Анти-Дюринга» в моей статье[1]), но следует подчеркнуть, что усиливалась-то *феодальная* эксплоатация, интенсифицировались *барщина* и другие феодальные повинности; ответом на эту интенсификацию и были крестьянские восстания. Конечно поскольку все эти восстания были борьбой мелкого крестьянского землевладения против крупного дворянского, а из мелкого производства растет буржуазия (*Ленин*), то в очень высоком теоретическом стиле и к «крестьянским восстаниям» приложим эпитет «буржуазных» (с оттенком «антифеодальных»). Ну, а в данном-то случае, в России XVIII в., мог уже начать расти буржуа из мелкого производителя, в *масштабе* всей страны? Была уже товарность *всего* хозяйства так высока, что это могло случиться? А если этого не было, то на чем же держалось бы

[1] Статья в «Борьбе классов» № 2 за 1931 г. (Напечатана в приложениях к I т. настоящего издания «Русской истории с древнейших времен»—Ред.

буржуазное правительство, вышедшее из буржуазной революции? На торговом капитале...?

Я приводил примеры успешных восстаний феодального крестьянства против помещиков в средние века (Тоскана и в особенности Швейцария). Но в этих случаях на стороне восставших были *внешние* силы: в Швейцарии[1]—купечество, заинтересованное в свободе альпийских перевалов для своих караванов, в Тоскане—цеховая аристократия Флоренции, зачаток уже настоящей крупной буржуазии, отчаянно боровшаяся с тосканским дворянством за политическую власть. Какие внешние силы поддержали бы крестьянское восстание в XVIII в. в России, окруженной феодальными странами?

Из частных замечаний особенно приходится отметить совершенно устаревший взгляд т. П. на Пугачева как на «чучело», которым играли яицкие казаки. Это значит возвратиться к точке зрения Пушкина, но и тот до таких комических преувеличений не доходил. Пугачев был одним из крупнейших (может быть самым крупным) вождем крестьянских движений в России, и если для екатерининских помещиков мужики—дураки и сильны только своей массой, то мы-то на такой *точке зрения стоять не можем*. Тов. П. в этом пункте обнаруживает неведение тех фактов, которые были вскрыты именно марксистскими историками в последнее время. Странно также утверждение т. П., что крепостническое правительство заботилось о дифференциации крестьянства, причем несколько дальше он говорит, что об этом же заботится и его антагонист—крестьянская буржуазия. Есть и досадные фактические ошибки—вроде того, что яицкий городок, который пугачевцам так и не удалось взять, был центром пугачевщины. Казани Пугачев тоже не «занимал»—он только сжег ее посад, а казанскую крепость (кремль) отстояли.

Переходя к частным замечаниям по поводу доклада т. С. приходится прежде всего указать на то, что хмельничина не была «предшественником пугачевщины», потому что она происходила в другой стране, с иными социальными отношениями и иным населением: и та, и другая были лишь крестьянскими революциями *того же типа*, но того же *типа* были и французские жакерии, и крестьянская война в Германии. Или и они тоже «предшественники»? Это частное замечание возвращает нас к общему—о *национальном вопросе* в самой пугачевщине. Он остался неразработанным и как-то на отлете не только у обоих авторов, но и в прениях. По этому поводу кто-то из оппонентов вопил, но схемы и он не дал. Но к этому вопросу еще есть возможность вернуться по теме «Колониальная политика самодержавия».

Далее, конечно, неверно, что «первые шаги капитализма должны были неизбежно сначала усиливать феодализм»: не только *капитализм*, т. е. капиталистическое производство, но

[1] О Швейцарии см. отрицательный отзыв Энгельса.

даже и торговый *капитал* уже разлагали феодальные отношения (ставя на их место сразу что-нибудь новое или нет—другой вопрос). Приводимые автором цитаты из первого тома «Капитала» никаким подтверждением не являются — Маркс вовсе не говорил здесь о *непосредственном* превращении внеэкономического принуждения в экономическое: он имеет ввиду нечто вроде того, что потом было названо «прусским путем развития»; если же понимать это место Маркса, как понимает его С., то Малышев прав.

Далее, неверно, что помещики не грабили накопления крестьян—случаев такого грабежа сколько угодно (их например можно видеть в моей статье о крестьянских волнениях перед 1861 г., по случаю юбилея Чернышевского)[1].

Неверно, что «крепостная» индустрия была одной из форм «капиталистической промышленности». Тут опять т. С. в плену у Малышева: если крепостная фабрика есть «капиталистическая промышленность», то почему барщинное имение, также работающее для рынка, не есть капиталистическое предприятие?

Неверно, что увеличение производительности труда равносильно увеличению эксплоатации рабочего. Совсем эта не наша, а с позволения сказать, меньшевистская точка зрения. Техника может быть и не менялась (хотя откуда это знает т. С.), ну, а квалификация рабочего? Тоже была неизменна?

Неверно конечно, что уральские горнорабочие вносили в пугачевщину суровую пролетарскую дисциплину, ибо они сами пролетариями не были.

Наконец, как бы ни были ошибочны иные точки зрения Плеханова, объявление его взглядов «барскими», есть такое же неприличие, как и объявление Пугачева «чучелом». История «антикрестьянства» Плеханова рассказывается даже в популярных книжках (см. мои «Очерки»)—икапистам стыдно этого не знать.

Есть и еще кое-какие неудачные формулировки, всех не выпишешь. «Скоропалительность», в которой Ленин упрекал Рожкова,—большой дефект, от него нужно отвыкать.

Уже когда были написаны эти строки, я получил заключительное слово т. С. С сожалением увидел, что ни от одной из своих ошибок она не отказалась, а одну—о капиталистическом характере уральской крепостной промышленности—даже нарочито подчеркнула. Тов. С., если капитализм существует везде, где есть капитал, тогда вполне правильно говорить и о торговом капитализме, ибо капитал там несомненно есть. Если же под капитализмом разуметь определенную общественно-экономическую формацию, с определенными методами эксплоатации, то барщина есть барщина, на заводе ли она применяется или в поле.

[1] Статья М. Н. Покровского—«Чернышевский и крестьянское движение конца 1850 годов» («Историк-Марксист», 1928 г., т. 10, стр. 3—12) включена в приложения к IV т. настоящего издания «Русской истории с древнейших времен» — *Ред.*

Зато т. С. совершенно права, когда она опровергает утверждение, что крестьяне в пугачевщине боролись за замену оброком барщины. Раз они истребляли помещиков, кому же они платили оброк?—позвольте спросить. И насчет купечества она ближе к истине, чем ее противники, хотя тут вопрос сложнее: провинциальные купцы, большая часть мелких капиталистов были настроены оппозиционно и часто примыкали к Пугачеву, но крупный экспортный капитал и крупный ростовщический капитал (скупщики) были несомненно вместе с дворянским правительством.

АЛЕКСАНДР 1 [1]

Александр I, русский император (1777—1825 гг.), вступил на престол в 1801 г., сын Павла I, внук Екатерины II. Любимец бабушки, Александр воспитывался «в духе XVIII века», как этот дух понимался тогдашним барством. В смысле физического воспитания старались держаться «ближе к природе», что дало Александру закал, очень полезный для его будущей походной жизни. Что касается образования, оно было поручено земляку Руссо, швейцарцу Лагарпу, «республиканцу», настолько впрочем тактичному, что никаких столкновений с придворной знатью Екатерины II, т. е. с помещиками-крепостниками, у него не выходило. От Лагарпа Александр получил привычку к «республиканским» фразам, что опять-таки очень помогало, когда нужно было блеснуть своим либерализмом и привлечь на свою сторону общественное мнение. По существу дела Александр ни республиканцем, ни даже либералом никогда не был. Порка и расстрел казались ему естественными средствами управления, и он в этом отношении превосходил многих из своих генералов [образчиком может служить знаменитая фраза: «военные поселения будут, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова», сказанная почти одновременно с другим заявлением: «чтобы обо мне ни говорили, но я жил и умру республиканцем»].

Екатерина имела в виду завещать престол прямо Александру, минуя Павла, но умерла, не успев оформить своего желания. Когда Павел в 1796 г. вступил на престол, Александр оказался по отношению к отцу в положении неудачного претендента. Это сразу же должно было создать невыносимые отношения в семье. Павел все время подозревал сына, носился с планом засадить его в крепость, словом, на каждом шагу могла повториться история Петра и Алексея Петровича. Но Павел был несравненно мельче Петра, а Александр гораздо крупнее, умнее и хитрее его злосчастного сына. Алексея Петровича только подозревали в заговоре, Александр же действительно организовывал против отца заговоры: жертвою второго из них Павел и пал (11/23 мар-

[1] Большая советская энциклопедия, т. II, 1926 г. стр. 153—156.

та 1801 г). Александр лично не принимал участия в убийстве, но его имя было названо заговорщиком в решительную минуту, а его адъютант и ближайший друг Волконский был в числе убийц. Отцеубийство было при сложившемся положении единственным выходом, но на психике Александра трагедия 11 марта все же отразилась сильно, подготовив отчасти мистицизм его последних дней.

Политика Александра определялась, однако же, не его настроениями, а объективными условиями его вступления на престол. Павел гнал и преследовал крупное дворянство, придворную челядь ненавидимой им Екатерины. Александр в первые годы опирался на людей этого круга, хотя и презирал их в душе («эти ничтожные люди» было сказано однажды о них французскому посланнику). Аристократической конституции, которой домогалась «знать», Александр, однако же, не дал, ловко сыграв на противоречиях внутри самой «знати». Вполне на поводу у нее он шел в своей внешней политике, заключив союз против наполеоновской Франции с Англией, главной потребительницей продуктов дворянских имений и главной поставщицей предметов роскоши для крупных помещиков. Когда союз привел к двухкратному разгрому России, в 1805 г. и в 1807 г., Александр вынужден был заключить мир, порвав тем самым со «знатью». Складывалось положение, напоминавшее последние годы жизни его отца. В Петербурге «говорили об убийстве императора, как говорят о дожде или хорошей погоде» (донесение французского посла Коленкура Наполеону). Александр несколько лет пробовал держаться, опираясь на тот слой, который впоследствии назвали «разночинцами», и на поднимавшуюся, благодаря именно разрыву с Англией, промышленную буржуазию. Связанный с буржуазными кругами бывший семинарист, сын сельского попа, Сперанский, стал государственным секретарем и фактически первым министром. Он сочинил проект буржуазной конституции, напоминающий «основные законы» 1906 г. Но разрыв сношений с Англией равнялся, фактически, прекращению всякой заграничной торговли и ставил против Александра основную экономическую силу эпохи—торговый капитал; новорожденная же промышленная буржуазия была слишком еще слаба, чтобы служить опорой. К весне 1812 г. Александр сдался, Сперанский был сослан, а «знать», в лице созданного—формально по проекту Сперанского, но фактически из враждебных последнему социальных элементов—государственного совета опять вернулась к власти.

Естественным последствием был новый союз с Англией и новый разрыв с Францией—так называемая «отечественная война» (1812—1814 гг). После первых неудач новой войны Александр почти что «удалился в частную жизнь». Он жил в Петербурге, в Каменноостровском дворце, почти никуда не показывался. «Вам не угрожает никакая опасность,—писала ему его сестра

(и в то же время одна из его фавориток) Екатерина Павловна,— но вы можете представить себе положение страны, главу которой презирают». Никем не предвидевшаяся катастрофа наполеоновской «великой армии», потерявшей в России от голода и морозов 90% своего состава, и последовавшее затем восстание центральной Европы против Наполеона, неожиданнейшим образом радикально изменили личное положение Александра. Из презираемого даже своими близкими неудачника он превратился в победоносного вождя всей антинаполеоновской коалиции, в «царя царей». 31 марта 1814 г. во главе союзных армий Александр торжественно вступил в Париж—в Европе не было человека более влиятельного чем он. От этого могла закружиться и более сильная голова; Александр же, не будучи ни глупцом, ни трусом, подобно некоторым последним Романовым, все же был человек среднего ума и характера. Он теперь прежде всего стремится удержать свое властное положение в Западной Европе, не понимая, что оно досталось ему случайно и что он сыграл роль орудия в руках англичан. С этою целью он захватывает Польшу, стремится сделать из нее плацдарм для нового похода русских армий в любой момент на запад, чтобы обеспечить надежность этого плацдарма, всячески ухаживает за польской буржуазией и польскими помещиками, дает Польше конституцию, которую нарушает каждый день, восстановляя против себя и поляков своей неискренностью, и русских помещиков, в которых «отечественная» война сильно подняла националистические настроения,—своим явным предпочтением Польши. Чувствуя все возрастающее свое отчуждение от русского «общества», в котором не-дворянские элементы играли тогда еще ничтожную роль, Александр старается опереться на людей «лично преданных», каковыми оказываются, главным образом, «немцы», т. е. остзейские и отчасти прусские дворяне, а из русских—грубый солдат Аракчеев, по происхождению почти такой же плебей, как и Сперанский, но без всяких конституционных проектов. Увенчанием здания должно было быть создание форменной опричнины, особой военной касты, в лице так называемых военных поселений. Все это страшно дразнило и сословную и национальную гордость русских помещиков, создавая благоприятную атмосферу для заговора уже против самого Александра,—заговора, гораздо более глубокого и серьезного политически, чем тот, который покончил с его отцом 11/23 марта 1801 г. План убийства Александра был уже совершенно выработан и момент убийства назначен на маневры летом 1826 г., но 19 ноября (1 декабря) предыдущего 1825 г. Александр неожиданно умер в Таганроге от злокачественной лихорадки, которой он заразился в Крыму, куда ездил, подготовляя войну с Турцией и захват Константинополя; осуществлением этой мечты всех Романовых, начиная с Екатерины, Александр надеялся блестяще закончить свое царствование. Осуществить этот поход без захвата Константино-

поля, однако, пришлось уже его младшему брату и наследнику, Николаю Павловичу, которому пришлось также повести и более «национальную» политику, отказавшись от слишком широких западных планов.

От номинальной супруги, Елизаветы Алексеевны, Александр детей не имел—зато имел бесчисленное их множество от своих постоянных и случайных фавориток. По словам упоминавшегося выше его друга Волконского (не смешивать с декабристом), у Александра были связи с женщинами в каждом городе, где он останавливался. Как мы видели выше, он не оставлял в покое и женщин собственной семьи, состоя в самых близких отношениях с одною из своих родных сестер. В этом отношении он был настоящим внуком своей бабушки, считавшей фаворитов десятками. Но Екатерина до конца жизни сохранила ясный ум, Александр же в последние годы обнаруживал все признаки религиозного умопомешательства. Ему казалось, что «господь бог» вмешивается во все мелочи его жизни, его приводил в религиозное умиление даже, например, удачный смотр войскам. На этой почве произошло его сближение с известной в те времена религиозной шарлатанкой г-жей Крюденер; в связи с этими же его настроениями находится и та форма, которую он придал своему господству над Европой—образование так называемого Священного Союза.

ЛИТ.: Немарксистская литература. *Богданович М. Н.*, История царствования Александра I и России в его время, 6 тт., СПБ, 1869—1871; *Шильдер, Н. К.* Александр I, 4 тт., СПБ, 2 изд., 1904; *его же*, Александр I (в русском биографическом словаре, т. I); б. вел. князь *Николай Михайлович*, Император Александр I, изд. 2, СПБ; *его же*, Переписка Александра I с сестрой Екатериной Павловной, СПБ, 1910; *его же*, Граф П. А. Строганов, 3 тт., СПБ, 1903; *его же*, Императрица Екатерина Алексеевна, 3 т., СПБ, 1908; *Schieman* Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I, Bd. I. Kaiser Alexander I, und die Ergebnisse seiner Lebensarbeit, Berlin, 1901 (весь этот первый том посвящен эпохе Александра I); Schiler, Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas, 2 v. Paris; Memoires du prince *Adam Czartorysky* et sa correspondance avec l'empereur Alexandre I, P., 1887, 2 v. (есть русский перевод М., 1912 г. и 1913 г.). Марксистская литература: *Покровский М. Н.*, Русская история с древнейших времен, т. III (несколько изданий); *его же*: Александр I (История России XIX в., изд. Гранат, т. I, стр. 31—66).

ДЕКАБРИСТЫ [1]

(Легенда и действительность)

Начало революционного движения против царизма до сих пор окутано некоторым туманом. Сначала принимались энергичные меры, чтобы он не рассеялся. Потом не было принято достаточно энергических мер, чтобы его рассеять.

Правительство последних Романовых долго прятало «Дело

[1] Сборник статей М. Н. Покровского—«Декабристы» (Центроархив), Гиз 1927 г., стр. 32—52. Впервые статья была напечатана в журн. «Записки ком. университета им. Свердлова», 1923 г. т. I, стр. 7—20.

декабристов». О них писали, даже разрешалось печатать: почин положила официальная, вышедшая с благословения Александра II, книжка Корфа еще в 1850-х гг. Нельзя было запретить печатать о том, что все знали в известном кругу, о чем была уже целая изустная легенда. Но «Дела» не выдавали никому. Читая «Дело» в подлиннике, сначала не понимаешь: чего они боялись? Ведь не было, казалось бы, лучшего средства рассеять легенду, как напечатать подлинные документы. Мы сейчас увидим это. Лишь постепенно начинаешь догадываться. Нельзя было допустить, чтобы кто бы то ни было узнал, что уже в 1820-х гг. были люди—и притом не какие-нибудь косматые оборванцы, а дворяне хороших фамилий и крупных чинов,—осмеливавшиеся приговорить всю «августейшую царскую фамилию» к смерти. Мысль о «цареубийстве» должна была быть окружена ореолом ужаса. Нельзя сметь об этом подумать. Каракозов, Соловьев, Желябов, Перовская, это—выродки, это исчадие ада, чужое русскому народу, старался уверить царизм. Могли быть подобные изверги и среди декабристов: «донесение следственной комисси», опубликованное (не для публики) в 1826 г., оправдывает виселицу Пестеля его «цареубийственными» замыслами. Но это сказали сами—историкам говорить об этом не полагалось. И в особенности не полагалось никому знать, что идеи Пестеля на этот счет были усвоены чуть не всеми декабристами.

Как раз то, что привлекло к декабристам после 1905 г. некоторых поверхностных революционеров,—привлекло совершенно зря, увидим дальше: суть «декабризма» вовсе не в террористических замыслах,—как раз это по всей вероятности и мешало историкам подойти к «Делу декабристов» до 1905 г. Подпускали только людей прочно забронированных от цареубийственной заразы: преимущественно военных генералов, Богдановича, Дубровина, Шильдера. Другие историки были осуждены пользоваться крохами, падавшими с их стола, или выжевывать крупицы истины из материалов второй руки, главным образом из старческих воспоминаний действующих лиц. Но как раз главные действующие лица воспоминаний иметь не могли: мемуарами Пестеля, Рылеева, Сергея Муравьева служат их показания,—а они были за семью печатями.

В такой обстановке внутри России складывалось то, что можно назвать *либеральной легендой о декабристах*. Полнее всего она отразилась у Пыпина («Общественное движение в России при Александре I»). Персонажи этой легенды менее всего обладали свойствами подлинного революционера: решительностью и жестокостью. Мы имеем в виду, конечно, не болезненную жестокость садиста, а способность не бояться крови, не только своей, но и чужой: без этого качества революционеров, как и героев внешней войны, не бывает. Декабристы либеральной легенды были отменно кроткие люди, которые не только перебить всех Романовых, но и зарезать цыпленка вероятно зат-

руднились бы. Они мечтали исключительно об улучшении участи себе подобных: об освобождении крестьян, об усовершенствовании судопроизводства в России. Конечно, мечтали и о конституции: но это был уже предел мечтаний. Притом все это было чрезвычайно невинно, почти, можно сказать, несерьезно. В подкрепление цитировались воспоминания Н. И. Тургенева, принципиально занявшего весьма остроумную и для того положения, в котором он находился, удачную позицию: он доказывал, что никакого *заговора* вовсе никогда не было, просто Николай воспользовался удобным случаем, чтобы повесить некоторых своих либерально мысливших подданных.

Тургенев укрылся от Николая заграницу. Чтобы отрезать всякую возможность выдачи, ему нужно было доказать, что он не преступник, хотя бы и политический,—а что Николай изверг и деспот не хуже Нерона или Людовика XI. Свою книгу он издал по-французски, т. е. обращался именно к западноевропейскому общественному мнению. Если прибавить, что заимствуемые у него цитаты касаются главным образом Союза Благоденствия, т. е. эпохи до начала заговора, то, собственно, и в искажении истины Тургенева обвинить будет нельзя. О Союзе Благоденствия, той аморфной массе, из которой постепенно выкристаллизовался заговор, и сам Пестель выражался весьма мало почтительно, говоря о нем, что в «Союзе с самого *его начала до самого его конца* ни одно правило не было постоянным образом в действии и ни одна мысль не была постоянным образом в памяти членов, так что часто то, что сегодня было решено, завтра опять поступало на суждение»[1].

Потому-то Пестель ликвидировал Союз и положил начало настоящему заговору. Это превращение пестрой кучи болтающих интеллигентов, к которым с презрением относился не один Пестель—грибоедовский Репетилов есть несомненная карикатура на Союз Благоденствия,—в тесный кружок людей, тихо и в обстановке подлинной конспирации готовивших насильственный переворот, этот Рубикон людей 1825 г. в либеральной легенде совершенно стирался. А между тем тут был такой же перелом, какой пережило народническое движение 1870-х гг. на воронежском съезде: по одну сторону стоял действительно «мирный» пропагандист (в 1870-х гг. все же более серьезный, чем в 1820-х гг.), по другую—настоящий солдат революции. Смешивать Союз Благоденствия с заговором декабристов такая же и даже худшая ошибка, как смешивать кружок Чайковского с Исполнительным Комитетом Народной Воли. Разумеется, в конечном счете одно развилось из другого,—но ведь в конечном счете и человек развился из лягушки, их, однако, не смешивают.

Насколько состояние источников наталкивало на такие

[1] «Дело» № 394 л. 126 об.

взгляды, показывает пример Плеханова. Уж кто, казалось бы, был лучше застрахован от либеральных предрассудков, чем основатель российской социал-демократии? И однако же не кто другой, как Плеханов, изобразил 14 декабря, как «*военную манифестацию*, предпринятую людьми, не успевшими приготовиться к серьезной битве и решившимися погибнуть для того, чтобы своей гибелью указать путь будущим поколениям». И Плеханов же назвал «клеветой» заявление следственной комиссии, что Рылеев обнаружил «совершенное раскаяние и перемену образа мыслей»[1]. Увы! Иногда и николаевские сыщики говорили правду,—а что касается «будущих поколений», то мы скоро увидим, что в первую минуту после разгрома декабристы ничего так не боялись, как того, что у них найдутся последователи.

Было бы, однако же, слишком узко объяснять возникновение «либеральной легенды» только состоянием источников—только тем, что никто из писавших о 14 декабря до 1905 г. «на свободе», а не в генеральском мундире, не видел подлинного «Дела». Это значило бы последовать плохому примеру Плеханова, в брошюре которого классовый анализ движения почти совершенно отсутствует. Либералы здесь, как и во множестве других случаев, только использовали чрезвычайно ловко направленные против них же самих цензурные стеснения. *Им и не нужно было*, чтобы декабристы были революционерами,—как царизму неудобно было показать цареубийц из «порядочного общества», так либералам было неудобно изображать приличных людей, готовящих вооруженное восстание. Спор либералов 1860-х—1890-х гг. и правительства был, в сущности, очень не глубок и представлял собою лишь возведение в теорию весьма невинной грызни помещика и чиновника. Помещик и чиновник могли писать друг на друга доносы и жалобы по начальству,—но против мужика они стояли локоть к локтю, и мужик правильно не делал между ними различия, одинаково называя «барином» и помещика, и мирового посредника, и земского начальника. Вооруженное восстание масс было одинаково страшно для всего этого слоя, который был не прочь помечтать о конституции (о ней Плеве мечтал, а его предшественник 1860-х гг., Валуев, даже сочинял проекты), но только «октроированной» (дарованной свыше). Россию без Романовых весь этот слой мог себе представить так мало, что даже «левые земцы» 1904 г., когда их спрашивали, что делать, ежели Николай II сам убежит в Данию, не колеблясь ответствовали: «привезти обратно». Не в арестантском вагоне,—просим не думать,—отнюдь не в арестантском вагоне и не в Петропавловку: привезти обратно в царском поезде в Зимний дворец.

И тут на пользу либералам шла не только цензура, стоявшая у дверей секретных архивов, а не меньше и та более простая цензура, которая в таможне или в почтамте просматривала

[1] «14 декабря 1825 г. изд. 1921 г., стр. 24 и 28 (курсив Плеханова

привезенные из заграницы книги. Ибо если доступные внутри России источники наталкивали на либеральную легенду, вне России устная традиция, шедшая из кругов, непосредственно близких к жертвам Николая I, давно творила другую легенду, которую в противоположность первой, можно назвать *революционной легендой о декабристах*.

Литературным воплотителем этой легенды был Герцен. Нам трудно сейчас вскрыть его источники. Повторяем, самое вероятное, что основным из них была устная традиция, шедшая из того, сравнительно очень широкого круга людей, которые принадлежали или почти принадлежали к обществу, но которых Николай не тронул, ибо тронуть их значило бы втянуть в дело каждую пятую дворянскую семью в России. Так расширять круг заинтересованных лиц Николаю не было никакого расчета: вот почему, в противоположность прокуратуре Николая II, норовившей упечь в Сибирь всякого, кто хотя бы номинально принадлежал к одной из революционных организаций, следователи его прадеда повыпускали на волю—или даже не арестовывали вовсе—сотни людей, имена которых фигурировали в деле, но активной роли которых установить было нельзя. Они отделались потерей карьеры—и то не всегда—и жили на свободе, в положении полуопальных отставных дворян, которых соседи постарше слегка сторонились, но к которым зато молодежь особенно льнула. Самым знаменитым из этого круга был Грибоедов, пример которого показывает, что даже карьера в этом случае обязательно не была разбита.

Немного менее видным лицом из этого же слоя был видный генерал М. Ф. Орлов, когда-то подписавший капитуляцию Парижа в 1814 г., в 1830-х гг. живший «на покое» в Москве. «Северные» декабристы его противопоставляли Пестелю: Трубецкой успокаивал Рылеева, что стоит выдвинуть на сцену Орлова и влияние Пестеля растает, как воск. Герцен хорошо был с ним знаком перед вятской ссылкой и вероятно в их беседах шла речь не только о химии. Знавал Герцен и Раевского, который был знаком чуть не с половиной заговорщиков, а как раз с главнейшими был приятель. Но нет надобности отыскивать индивидуальные источники «Русского заговора 1825 года», от которого пошла «революционная легенда»: в том кругу, где вращался Герцен, до, во время и после ссылки, можно было на каждом шагу встретить своего рода «очевидцев» 14 декабря, имевших свои сведения, если не из первых, то самое дальнее из вторых рук.

Эту близость Герцена к первоисточникам, которых никакой Николай не мог запечатать, приходится подчеркивать: она объясняет нам необыкновенную *свежесть* его маленькой брошюры, своеобразного дополнения к мемуарам декабристов. Мемуары писались стариками, помнившими события, но позабывшими свое настроение, по которому чугунным колесом прошли Петропавловка, каторга, долгие годы ссылки: осталось плоское ме-

сто: на нем могло вырасти даже примирение с Николаем, даже боязнь революции. Герцен слышал рассказы гораздо более близкие к самому событию, притом рассказы людей менее революционных в 1825 г., чем другие, но зато и не перенесших такого гнета, как сосланные революционеры. И он слушал их сквозь *свое* настроение,—а оно было сродни настроению декабристов *перед* 1825 г.

Это не была, конечно, *фотография* событий: это было их *эхо*. Нельзя себе представить такой картины, чтобы Орлов сидел часами и рассказывал, а молодой Герцен сидел перед ним с пером и бумагой и записывал, как мы то делаем иногда по отношению к участникам того или другого интересного момента Октябрьской революции. В николаевские времена, конечно, никто не позволил бы себе таких неосторожностей. Это были обрывки, случайно оброненные характеристики, случайно вылившиеся в пылу откровенной беседы анекдоты. Этого не было бы разумеется достаточно, чтобы написать связную историю событий: этого было довольно, чтобы *по-новому* связать то, что рассказывали о событиях те же мемуары,—Герцен ко времени своей эмиграции имел их уже несколько в рукописях, позже изданных «Полярной Звездой»,—даже то, что давало донесение следственной комиссии, было недостаточно для *истории*, но вполне достаточно для новой *легенды*.

«14 декабря действительно открыло новую фазу нашему политическому воспитанию, и что может показаться странным—громадное влияние, которое имело это дело и которое сильнее действовало, чем пропаганда и теории, оказало само восстание, геройское поведение заговорщиков на площади, во время суда, в кандалах, перед императором Николаем, в рудниках, в Сибири. Не либеральных стремлений или сознания злоупотреблений недоставало русским, а прецедента, который дал бы им смелость инициативы. Убеждения внушаются теорией, поведение же образуется примером». Так писал Герцен уже в 1851 г., в «Развитии революционных идей в России»[1].

Читатель уловил разницу с либеральной традицией. От невинных разговоров в английском клубе («вслух громко говорим, никто не разберет»...) внимание сразу переносится на Сенатскую площадь, от слов—к *жесту*. В *жесте* Герцен видел главное историческое значение события: разговоров в обществе было слишком довольно. Разговоры могли вести и нереволюционеры—на площадь могла пойти только революция.

Но революцию делают только серьезные люди—несерьезные могут о ней говорить, до дела они никогда не доходят. Более обстоятельный очерк заговора, написаный в 1858 г. (название мы привели выше), весь сконцентрирован около этой идеи: был *серьезный* заговор, была *серьезная* попытка повалить самодер-

[1] *А. И. Герцен.* Полное собр. соч. т. VI, стр. 352, изд. 1919 г.

жавие—и с шансами на успех. Мастерски прослеживает Герцен этапы заговора, ставя во главе его Пестеля (мы ниже увидим, насколько это *исторически* правильно) и его программу: далеко не невинное «улучшение быта» или «устранение злоупотреблений», а республику с аграрным переворотом широкого размаха, позволяющим Герцену по поводу Пестеля припоминать Гракха, Бабефа, Сен-Симона, Оуэна и Фурье. В открытии *республиканизма* декабристов, в хорошем знакомстве с аграрными проектами Пестеля и приходится видеть отзвуки *прямых* источников-рассказов людей, которые слышали если не самого Пестеля, то тех, кто его слышал.

В донесении следственной комиссии, представлявшем собою основную фактическую базу либеральной традиции, все это так перепутано и искажено, что брошюра Герцена была откровением для русских читателей еще и в 1905 г., когда ее впервые издали в России.

И само собою разумеется, то, что тщательно прятали и царизм, и либеральная легенда в добром союзе,—смертный приговор династии, у Герцена становится на свое место. «Теперь уже дело идет не о том, чтобы критиковать английскую конституцию. Пестель прямо ставит членам общества следующий вопрос: «В случае успеха, что делать с царской фамилией?» Предложено—изгнание, тюрьма, ссылка. «Надо ее уничтожить!»—сказал Пестель, выслушав все это. «Как, вскричали все,—это ужасно!».—«Я это отлично знаю». Друзья Пестеля заколебались; пустили на голоса. Большинство было за Пестеля, большинство очень небольшое, только шести голосов»[1].

Брошюра Герцена так заражает своим революционным энтузиазмом, что с *педагогической* точки зрения ее стоит рекомендовать еще и сейчас. Юношам еще и сейчас, может быть, полезно прочесть такие книжки о французской революции, как Минье или Кинэ, прежде чем приниматься за Кунова и Жореса. Хотя мы отлично знаем, что революция происходила *не так*, как описывал ее Минье. Герцен стал своей брошюрой своего рода Минье для декабристов да еще без того мещанского привкуса, который неизбежен у всякого доброго французского буржуа и особенно противен теперь нам, знающим подлинную цену политических добродетелей мещанства. Повторяем, воспитательное значение брошюры Герцена огромно даже и после 1917 г. Но ее *историческая* цена?

Для Герцена декабристы—идеал революционеров. После них революция могла расти количественно, могла усовершенствовать свою тактику; но как *тип* бойца за революцию выше героев 14 декабря подняться некуда. В их неудаче были виноваты не они—виновата обстановка. «В день восстания на Исаакиевской площади и в центре второй армии заговорщикам нехватало

[1] *А. Герцен*, Полное собр. соч., т. IX, стр. 140.

народа. Их либерализм был слишком иноземен, чтобы быть популярным. От нас далека мысль упрекать их. То было логическое следствие цивилизации, перенесенной на один только класс, и того отделения, в котором цивилизованная Россия держалась от России народной» [1].

Эта ошибка Герцена, будто на Сенатской площади не было *народа*, уже исправлена историками. Народ был, хотели или не хотели этого заговорщики. Вопрос, хотели ли они этого? Дальше мы кое-что найдем и по этому вопросу. Другой вопрос: насколько Герцен был прав, утверждая, что 14 декабря свидетельствовало о «*политическом совершеннолетии*» русских революционеров. Декабристы Герцена—подлинные, живые люди, или герои романа, психологически правдивые, но также далеко отстоящие от жизни, как вообще жизнь бывает далека от романа?

Роман, написанный революционером, все же, конечно, ближе к подлинному изображению революции, нежели пасквиль, написанный либералом. Да, Герцен был прав: заговор декабристов был *серьезным* заговором, а не репетиловщиной. У них была *конспиративная* техника,—«Дело» сохранило кое-какие ее следы.

«Говоря о правилах, принятых обществом, я не упомянул об одном весьма важном»,—показывал Никита Муравьев.—«Так как общество не имело и не могло иметь никакой понудительной силы над своими членами, то долго думали, как обеспечить оное от тех, которые перестанут действовать в его смысле. Насилие всего общества против члена было бы несбыточно—частные распри могли бы равным образом быть вредными и открыть его существование. Итак, положено было, что лишь только заметят охлаждение в одном члене, то известить о том всех прочих, с тем, чтобы уже никто ему не говорил о делах общества. В то же время подтверждалось всем членам оставаться в тех же дружественных сношениях с охладевшим членом и давать ему чувствовать, что и все общество подобно ему, за недостатком средств и невозможностью достигнуть цели оного, дремлет и распадается на части, таким образом самолюбие его не раздражалось ничем, он вскоре находился совершенно чуждым обществу и не имел причин вредить оному или доносить, не зная уже, существует ли оно в самом деле или только по имени?»[2]

Он же рассказывает дальше: «О сношениях Северного и Южного общества я уже доносил. Происходя из одного и того же корня (общество 1816—1817 гг.) они вошли в сношение, лишь только образовались, хотя сии сношения были весьма неправильны и прерывались часто. Опасение писать с путешествующими членами, дабы в случае неожиданной их смерти или болезни бумаги сии не достались в посторонние руки, было причиною, что по большей части поручения были изустные. А так как в Северной

[1] *А. Герцен*, Полное собр. соч., т. IX, стр. 149—150.
[2] «Дело» № 336, л. 6.

Думе ничего не записывали, то все основывалось на памяти того, кто был послан и того из членов Думы, которому он это передавал»[1].

И пропагандой декабристы занимались более, нежели о них думают. Впрочем, после опубликования «катихизиса» С. Муравьева—Апостола и прокламаций в связи с восстанием Семеновского полка в 1820 г., едва ли кто думает об этом совсем по-старому. Но вот очень своеобразная форма пропаганды, на которую мы натыкаемся. Знаменитый Шервуд («Азеф» дела декабристов—с преувеличенной, впрочем, репутацией: сейчас мы увидим, что в деле были провокаторы покрупнее) рассказывает со слов одного из заговорщиков, Вадковского, о другом, конногвардейце Барыкове, что тот «женится, что невеста мыслит хорошо, и это единственная причина, которая заставляет Барыкова на ней жениться, как он объявлял Вадковскому; посему советовал ему Вадковский держать открытый дом для соединения членов их общества»[2]. У самого Вадковского была идея (заимствованная им у гр. Бобринского) «завести типографию в имениях кого-либо из их членов, под надзором члена же, и стараться распространить произведения оной на некотором расстоянии от места печатания»[3]. Последние слова не оставляют сомнения, что речь шла о пропаганде в *массах*, среди населения.

Все это, конечно, *зачаточные* формы конспиративной работы,—но зачатки-то нам и любопытно выследить. И, как ни элементарны эти формы были, они все же гарантировали от проникновения в среду заговорщиков слишком грубой и элементарной провокации. Знаменитый Шервуд, собственно, мог только рассказать, что *есть заговор*, что при нескольких сотнях членов общества должно было стать известно, рано или поздно, во всяком случае. До центра заговора Шервуду дойти не удалось, и сыщикам Александра I пришлось прибегнуть к очень смелой и сложной комбинации, чтобы попытаться проникнуть дальше. За дело взялся главный начальник военных поселений юга России, граф Витт, пустивший в дело фигуру гораздо крупнее Шервуда—некоего Бошняка, бывшего предводителя дворянства и человека настолько интеллигентного, что его донесения и теперь читаются с интересом. Он, между прочим, первый вскрыл *республиканскую* программу Южного Общества. Задача Бошняка заключалась в том, чтобы приманить заговорщиков фигурою графа Витта, будто бы им сочувствующего и желающего вступить в общество. По мысли Витта, у заговорщиков должны были разгореться глаза при этой перспективе—видеть в своих рядах главное военное начальство

[1] «Дело» № 336, л. 12.
[2] «Дело» № 3, л. 14 об.
[3] «Дело» № 3, л. 16 об., л. 17.

края; Витт должен был войти в руководящий коллектив заговора и предать всех сразу. К удивлению провокаторов, однако же, и такой жирный кусок в мышеловке не приманил мыши. Бошняку удалось дойти до Вас. Льв. Давыдова—но до Пестеля и он не добрался. И глава «Южного Общества» пал жертвою, как часто бывает в таких случаях, «своего» человека—капитана Вятского полка (которым командовал Пестель) Майбороды. Он постоянно терся около заговорщиков, к нему привыкли, он был «лично предан», при нем не стеснялись, и он шутя мог услыхать такие секреты, до которых никаким Бошнякам было не добраться. «Предают всегда свои» [1]—эта французская поговорка исполнилась над Пестелем буквально.

Итак, не считаясь с этим последним казусом, жертвою которого поочередно были все позднейшие революционные партии в России, одни в большей, другие в меньшей степени,—можно признать, что конспиративная техника декабристов была не ниже, чем этого можно требовать от *первого* по времени политического заговора в России. Принято очень дурно думать о технике *первого* по времени вооруженного восстания в России (не считая стихийных народных выступлений)—о технике самого «жеста» 14 декабря.

Был ли это только *жест*? Так, мы помним, смотрит на дело Плеханов. Сами участники видели ли в этом только некоторое символическое действие, или они преследовали вполне реальные цели и надеялись их достигнуть? Дадим опять слово им самим, не портя их изложения пересказом. Берем показание «северного Пестеля», кн. Трубецкого. Революционная легенда не простила ему его предательства (об этом ниже),—а для либеральной он был желанным аргументом в пользу «несерьезности» декабристов. И та, и другая, по разным причинам, охотно проходили мимо его действительной роли—и он вошел в историю каким-то случайным человеком 14 декабря, оказавшимся во главе заговора, едва ли не потому, что он был старше других чином. От этого гипноза—на этот раз союзного, обеих легенд—надо отрешиться раз навсегда. Трубецкой был фактическим председателем «Северного Общества», северным Пестелем, повторяю: он же держал в руках и все связи с «Южным Обществом». Рылеев был самым живым, самым *активным* членом северного заговора, но вовсе не самым влиятельным, до последних дней. Тут его выдвинули на первое место прежде всего, конечно, фактически уже совершившаяся измена Трубецкого—в эти дни, еще игравшего роль диктатора, но не бывшего уже им на деле,—а затем, отчасти, и случайные обстоятельства: Рылеев, например, был болен и не выходил—естественно, что собирались в его квартире; об этом он сам говорил. Но в чисто военном отношении Рылеев даже в это время всю надежду возлагал на Трубецкого. Его от-

[1] On n'est trahi que par les siens.

сутствием на площади Рылеев объяснял срыв всего дела. «Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади»,—писал Рылеев через несколько часов после события.—«Он не явился и, по моему мнению, это главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились»[1].

Но у Трубецкого был военный план, тем не менее. Он его изложил подробно, и сомневаться в правдивости Трубецкого у нас нет ни малейшего основания. Вот его рассказ—очень свежий, он помечен 23 декабря:

«...Вот какой был план мой. Я полагал, что если полки откажутся от присяги, то собрать их где-нибудь в одном месте и ожидать, какие будут приняты меры от правительства; я надеялся, что если их будет достаточное число, то силою не вздумают их принуждать к повиновению; и для того, чтоб убедиться в собственной силе, должно было тот полк, в котором откажутся люди от присяги, стараться вывести к другому ближнему полку, что побудит и тот полк выйти, если он также отказывался дать присягу, или также отказаться от оной. По рассказам *Рылеева* и *Оболенского*, от коих одних я сначала имел сведения, я полагал, что не присягнут полки: Измайловский, Финляндский, Егерьский, Лейб-гренадерский, Московский и Морской экипаж. Таковую силу полагал достаточною.—Думал, что если в первый день не вступят с ними в переговоры, то, увидев, что они не расходятся и проночевали первую ночь на бивуаках, непременно на другой день вступят с ними в переговоры, или объявят, что послали в Варшаву к государю цесаревичу. Между тем нельзя будет сим полкам отказать в продовольствии; и тогда, если действительно послано будет в Варшаву, ожидать решение от обстоятельств, и если его высочество цесаревич изволит приехать, тогда покориться обстоятельствам. Если же государь цесаревич не приедет, или, что я полагал вероятнее, вступят с полками в переговоры, то сказать солдатам, что есть завещание блаженной памяти государя императора, по которому завещано им убавить срок службы, что надобно вытребовать исполнение сего завещания, но просто на одно обещание положиться нельзя, а надобно сделать крепко, и для того убедить их не расходиться, и что если не разойдутся, то будет все сделано. Тогда требовать всего того, что написано в известной записке, состоящей при деле (примечание на полях: «впрочем, записка сия не полагалась определительно принятою, из оной возможным полагалось многое уступить, исключая, однако же, собрания депутатов из губерний по сословиям») и чтобы все сие было объявлено манифестом от Сената. Для полков же вытребовать удоб-

[1] Показание, помеченное 14 декабря — вероятно, по ошибке: Рылеев писал едва ли раньше утра 15, но так как он не спал, ему это казалось одним днем. «Дело» № 334, л. I.

ное для стояния место до окончания всего. Я не сомневался, что в сие время многие бы и другие полки к сим не присоединились, и даже многие лица во всех местах не поддержали требование. Сие основано было на том мнении, что вероятно есть много людей, желающих конституционной монархии, но которые не являют своего мнения, не видя возможности до оной достигнуть, но когда увидят возможность и, притом, что восставшие войска никакого буйства не делают, то обратятся на их сторону. Я не опасался, чтоб другие полки можно было заставить действовать против сих, но опасался одной артиллерии, почему и полагал необходимым зайти за нею и взять ее с собою.—Обстоятельства должны были решить, где удобнее будет расположить полки, но я предпочитал расположить их за городом, ибо тогда в городе сохранится тишина, да и самые полки можно будет лучше удержать от разброда. Полков же армейских, как я сказывал, мы не боялись, ибо не верили, чтобы можно было подвигнуть полки на полки.—Другое предположение было, чтоб собрать все полки на Сенатской площади, и как скоро вступят с ними в переговоры, то требовать в Сенате завещания, по которому убавлен срок службы солдатам (как выше сказано), а между тем требовать рассылки известного манифеста и тогда уже обстоятельства должны определить, где полкам быть на сборном месте, чтоб не расходиться до окончания.—Впрочем, было мнение некоторых, что если бы все сие так не удалось, то итти к военным поселениям, присоединить их и ожидать окончания. Уверенность вообще была, что окончание будет по желанию»[1].

Остановимся на минуту на этой программе. Как видим, это действительно определенная программа *действия*—отнюдь не революционной манифестации, а действия, заключавшегося в *давлении на власть*. Этим она радикально отличалась от программы Пестеля, которая была программой *захвата власти*. «Я говорил вообще о предложениях его в бытность его здесь и о предположении его ввести республиканское правление»,—рассказывает о Пестеле Трубецкой в своем показании: «мне нужно было узнать, каким средством он сего хотел достигнуть, и я успел узнать тогда же, что он обрекал смерти всю высочайшую фамилию, и для того именно нужно ему было содействие здешних членов. Он надеялся, что государь император не в продолжительном времени будет делать смотр армии, в то же время надеялся на поляков в Варшаве и хотелось ему уговорить то ж исполнить и здесь. Сам он садился в директорию»[2].

Вот тут перед нами отчетливо *два крыла* движения, правое и левое. Не в том суть, что одни хотели конституции, другие республики. Разница шла глубже. Политическая цель определяла всю тактику. Вы вчитайтесь, как представлял себе ход

[1] «Дело» № 333, лл. 39,40 об.
[2] «Дело» № 333, л. 29 об, 30.

восстания Трубецкой. По Пестелю это начиналось из центра—директивой центрального комитета, выражаясь по теперешнему. По Трубецкому, начинается тем, «что полки откажутся от присяги»: сами откажутся, сами солдаты. Тогда только должны были вмешаться заговорщики, и с отказавшимся («забастовавшим») полком пойти снимать другие полки. Но этим на первое время нужно было и ограничиться: а затем «*ожидать решения от обстоятельств* и если его высочество цесаревич приедет, покориться обстоятельствам». Что-то, повидимому, внушало уверенность, что Константин не приедет. Но это все же было «если», зависевшее не от заговорщиков. А вдруг приедет? Весь план рушился... Но допустим, что ожидание оправдалось бы: «обстоятельства» все же оставались командовать положением. «Вероятно, есть много людей, желающих конституционной монархии», и эти люди поддержат—очевидно, морально поддержат, силою общественного мнения, восставшие полки, особенно, увидав, что последние «никакого буйства не желают». С этой целью, избежать «буйства» и «разброда», предполагалось полки расположить за городом. Но опять-таки «обстоятельства должны были решить, где удобнее будет расположить полки»...

Где это вы слышали, что надо избегать «буйства» и «разброда» (читай: массового революционного движения); что надо подлаживаться к буржуазии, а главное, что не надо опережать событий, выжидая всего от «обстоятельств»? Как это последнее называется—итти *за* обстоятельствами, за событиями, в создании которых вы никакого участия не принимали? Это называется, вы помните *хвостизм*,—а проповедывали всю эту философию наши *меньшевики*, *и* во время первой революции, 1905—1907 гг., и во время второй, когда они с таким же терпением ожидали учредительного собрания, с каким терпением Трубецкой ждал своего «собрания депутатов по сословиям»—пункт, на котором он никак не согласен был уступить. Среди гвардейского офицерства 1820-х гг. вдруг перед нами оказываются две тактики, столь близкие и столь знакомые—тактика решительного наступления и тактика трусливого «выжидания событий». Стратегия революции, оказывается, всегда одинакова, и все соглашатели похожи друг на друга, как две капли воды.

В наше время соглашатели ненавидят революционеров; они рассказывают про них всякие нелепости и никогда не забудут намекнуть, что побуждения революционера нечистые: о своей карьере заботится. Хотя всем известно, что карьера революционера кончается обыкновенно виселицей или каторгой, а соглашатели очень часто—особенно теперь—кончают министерским портфелем. Трубецкой, повидавшись с Пестелем, «заключил..., что он человек вредный, и что не должно допускать его усилиться, но стараться всевозможно его ослабить» (!)[1]. «До свидания еще

[1] «Дело» № 333, лл. 29—29 об.

нашего с ним—*Никита Муравьев* представлял уже мне его, как человека опасного и себялюбивого..»[1]. Трубецкой не прочь даже сшить себе шубу из этих качеств Пестеля и пытается уверить Николая, будто и общество-то Северное возникло потому, что «боялись, если такового не будет, то Пестель найдет средство завести здесь отделение, которое будет совершенно от него зависеть, и которого действия будут уже от нас тогда сокрыты»[2]. Как бы то ни было, но ненависть северного диктатора к южному есть несомненный факт, а та форма, которую он давал проявлениям этой ненависти, донося на Пестеля Николаю, тем более знаменательна, что Трубецкой едва ли знал о состоявшемся уже аресте Пестеля: арест имел место 13 декабря (по ст. ст.), известие об этом дошло в Петербург только 21, а мы все время имеем дело с показанием от 23. Сидя под замком сам, как мог Трубецкой так скоро узнать об аресте Пестеля? Почти наверное не знал,—а потому, делая свои «откровенные показания», не только выдавал Николаю личного и партийного врага, а *сознательно стремился сорвать революцию*. Соглашатель легко становился предателем—предатель с такою же легкостью обращался в контрреволюционера.

Но что Трубецкой—его репутация давно сделана. Возьмите Рылеева,—одно упоминание о его нестойкости вызывает негодование Плеханова. Рылеев, вдобавок, сам республиканец и сам цареубийца в воображении. И возьмите его *первое* показание—первое, как он только что был арестован (то самое, что по ошибке помечено 14 декабря). Вы там прочтете: «Страшась, чтобы подобные же люди не затеяли чего-нибудь подобного на юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло возмущения»[3]. Возьмите, далее, его письмо Николаю Павловичу от 16 декабря: «Тогда узнал я, что существует общество и на юге России; о чем, впрочем, я слышал еще и прежде. Кто же оное составляет я не знал и не знаю теперь. Знаю только, что до моего вступления в думу при Трубецком приезжал в Петербург полковник Пестель с разными предложениями, но они все были отвергнуты, ибо правила, принятые здесь, не сходствовали с теми, кои служили основанием предложений Пестеля: он был совершенно против конституции, написанной Никитою Муравьевым. Я виделся с Пестелем один раз; он говорил о необходимости соединения здешнего общества с южным и о недостатках конституции Никиты Муравьева. Заметив в нем хитрого честолюбца, я уже более не хотел с ним видеться. Переговоры же его с Муравьевым и Трубецким кончились ничем, как сказа-

[1] «Дело» № 333, л. 29 об.
[2] Там же, л. 29 об., прим.
[3] «Дело» № 334, лл. 1 об.—2.

но выше. С кем же еще он виделся тут, мне не известно; меня же познакомил с ним, как помнится, Оболенский. По моим догадкам Пестель должен быть начальником южного общества. Трубецкой по возвращении своем из Киева говорил, что общество южное сильно; но кто именно составляет оное—не сказывал. Из слов его можно было заметить, что он и там играет важную роль. Это самое заставляет меня снова просить принять всевозможные предосторожности и как можно скорее; в противном случае опять прольется кровь и погибнут люди, достойные, может быть, лучшей участи» [1].

Первое, что поспешил сделать *лучший* из членов «Северного общества», было выдать «Южное»—Николаю, который 16 то даже и сам не знал об аресте Пестеля. Рылеев опередил Трубецкого ровно на неделю. Что он руководился здесь нежеланием спасти свою голову, как Трубецкой,—едва ли нужно говорить. Достаточно привести одно трогательное место из его позднейшего показания: «Признаюсь чистосердечно, что я сам себя почитаю главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо, несмотря на все вышесказанное, я мог остановить оное и не только того не подумал сделать, а напротив еще преступной ревностью своей служил для других, особенно для своей отрасли, самым гибельным примером. Словом, если нужна казнь для блага России, то я один ее заслуживаю, и давно молю создателя, чтобы все кончилось на мне, и все другие чтобы были возвращены в их семейства, отечеству и доброму государю его великодушием и милосердием»[2]. Ненависть же Рылеева к Пестелю и в это время оставалась столь же свежа. «Во время совещания бывшего у меня о соединении обществ,—показывал он тогда же,—Трубецкой говорил также, что Пестель требует настоятельно, дабы введение нового порядка вещей произвесть через временное правление и чтобы в оное назначить директоров общества. Это и прежний разговор мой с Пестелем заставили меня объявить свое на него подозрение. Причем сказал я, что Пестель человек опасный для России и для видов общества, и что поэтому даже соединение обществ необходимо, дабы не выпускать его из виду и знать все его движения. С этим также были согласны все. Несмотря на то, соединение обществ не последовало, потому что члены думы стали подозревать Пестеля в честолюбивых замыслах, а также почитали необходимым до соединения осведомиться обстоятельнее о силах и настоящей цели южного общества. Так и по крайней мере мне было сказано прежде Оболенским, когда я упрекал его в неисполнении порученности общества, а потом и Трубецким» [3].

---

[1] «Дело» № 334, л. 3 об., 4.
[2] Там же, л. 54, 54 об.
[3] Из показаний 24 апреля 1826, Там же, л. 42.

При таких отношениях «Северного» и «Южного» обществ вполне легендарным, конечно, представляется изображение Герценом Пестеля как главы *всего* заговора. Наоборот, не будет парадоксом утверждать, что было *два* заговора, ревниво следивших друг за другом, один со столь знакомыми нам лозунгами «вооруженное восстание, временное революционное правительство, демократическая республика», другой с несравненно более скромным—созыва «депутатов от губерний по сословиям». Но начинать и второму заговору приходилось с вооруженного восстания: только он заботился, чтобы это было как можно менее восстание, а уж если восстание, то с елико возможно меньшим применением оружия. И слова Трубецкого накануне 14 собравшимся офицерам-заговорщикам: «Что, господа, ведь другие-то полки стрелять не будут, но артиллерия-то будет палить»—были «вечной памятью» по северному заговору. Если будут палить, ничего сделать не удастся: узнав, что «артиллерия взяла по три ящика зарядов», Трубецкой «решился никакого участия не брать ни в каком случае» [1]. Причина измены вождя была, таким образом, строго военная—военно-техническая, можно сказать. Старый солдат двенадцатого года не просто струсил, инстинктивно, как можно бы думать: он трезво расчел, что, при данном соотношении сил, головой рисковать не стоит. Что этот солдат не был революционером, видно уже из этого,—но этого доказательства и не нужно,—мы видели гораздо более убедительные.

Настоящие революционеры, на юге, поднялись, имея один полк против целой армии. Если бы в Петербурге на месте Трубецкого командовал Сергей Муравьев-Апостол?[2] Быть может, пушки тогда были бы не только у Николая. Два конно-артиллерийских офицера прибегали к Рылееву рано утром, но, узнав, что они не надеются увлечь солдат, их отослали обратно. Лишний маленький аргумент, как в пользу того, что даже северные заговорщики отнюдь не чурались «народа»,—наоборот, выступление «народа», в лице простых солдат, было непременным условием их собственного действия,—так и в пользу их «легализма», несколонности прибегать к прямому насилию, разве в самом крайнем случае. Тут вовсе было не отвращение к пролитию крови, спешим мы разубедить читателя, у которого шевельнулась мысль, «а либеральная-то легенда кое в чем была таки права». Вовсе нет: *в это самое время Рылеев предлагал Каховскому убить Николая* [3]. Они боялись не крови, они боялись «пальбы». Ибо «пальба» означала драку, сражение, междоусобную войну—а

[1] «Дело № 333, л. 19 об.

[2] Когда автор писал эти строки, ему еще не была известна по подлинным документам история южного восстания—*М. П.*

[3] Этот эпизод так обстоятельно, даже до излишества, освещен и разработан в известной, недавно переизданной, книжке П. Е. Щеголева о Каховском, что его мы не будем специально касаться.

весь план северных заговорщиков основывался на том, чтобы этого избежать, на уверенности, что «если можно что делать, то должно делать с видом законности, и потому единственное средство есть делать посредством Сената, через который обнародываются все указы и манифесты; что в таком общем и большом сопротивлении невозможно будет подвигнуть полки на полки, и, без сомнения, сам император Николай Павлович не захочет делать кровопролития и лучше, уступя от самодержавной своей власти, согласится на созыв депутатов из губерний; и тогда депутатское собрание установит конституцию; что депутаты, когда будут в достаточном числе, то не будет им нужды ждать от дальних губерний, следовательно, и междуцарствие недолго продолжится. Я написал записку, которая находится при деле»[1].

Отметьте эту заботливость, чтобы и междуцарствие недолго продолжалось. Мы совсем недалеко от левых земцев, уверенных, что Николая II необходимо было как можно скорее привезти из Дании. «Без законной власти» никак нельзя! При таких строгих правилах насчет законности какую цену могла иметь техническая возможность через конно-артиллерийских офицеров достать орудия? Ведь, казалось, стрелять из них можно было и без солдат (предполагая, что среди восставшего Морского экипажа не было ни одного комендора: а они там, конечно, были)—любой из сотни офицеров-заговорщиков сумел бы зарядить пушку (особенно тогдашнюю, простецкую) и выпалить из нее. И первая же картечь, посыпавшаяся на колебавшиеся полки,—а колебалась даже конная гвардия, атаковавшая каре весьма вяло,—оставила бы Николая на площади с одним преображенским батальоном: да вопрос, остался ли бы еще и этот последний. Но это значило начать междоусобную войну... Николай не побоялся этого—и при относительном равенстве сил победил. «Революционная инициатива» оказалась в руках самодержавия: на этом парадоксе оборвался северный заговор. И, казалось, навеки была осуждена *его* тактика, что не мешало ей воскресать при аналогичных обстоятельствах в течение целого столетия. Палить или не палить? Тут весь спор «Великоросса» и «Молодой России», народовольцев и чернопередельцев, большевиков и меньшевиков.

Нереволюционная революция... И этой нереволюционной революцией объясняется самая тяжелая черта всего дела—то, что началось после крушения. О «геройском поведении» декабристов, как массы, смешно говорить. Любители легальности, попав, помимо их воли, в нелегальное положение, прежде всего другого спешили себя легализировать, выдав все и вся, раскрыв перед «законной властью» все тайники своей души, а равно и чужих душ, если они, по неосторожности, были для них открыты. На основании показаний Трубецкого был составлен следователями

[1] «Дело» № 333, л. 17.

первый, основной список заговорщиков. Но Трубецкой—ославленный изменник... Вспомните приведенные отрывки из показаний Рылеева—и вспомните, что Рылеев не боялся смерти. Ему не голову свою спасти было нужно, а примириться со своею совестью, не мирившеюся с восстанием против «законной» власти.

Казалось, ужаснее показаний Рылеева ничего быть не может, но ему самому и они казались еще недостаточно откровенными, и в заключение их он так обращается к следователям: «Засим покорнейше прошу высочайше учрежденный комитет не приписать того упорству моему или нераскаянию, что я всего здесь показанного не открыл прежде. Раскаявшись в своем преступлении и отрекшись от прежнего образа мыслей своих с самого начала, я тогда же показал все, что почитал необходимым для открытия общества и для отвращения на юге предприятий, подобных происшествию 14 декабря, и если что до сего скрывал, то скрывал не столько щадя себя, сколько других»[1].

Все это говорилось без всякого *внешнего* принуждения. Первое показание Рылеева помечено, мы помним, 14 декабря,—ни о каком влиянии долговременного заключения и т. д. и речи быть не может. Не может быть речи и о пытке. В наших руках теперь книга о «заковании в железа»—той форме истязания, которая применялась к «несознательным». В книге нет имени—ни Рылеева, ни Трубецкого, ни целого ряда других столь же откровенных декабристов. Откровенны, в конце концов, были *почти все*,—и мне очень приятно закончить эту печальную повесть примером, показывающим, что все-таки не совсем все—и что немногих настоящих революционеров не так-то легко было сломить и пыткой. Вот ряд документов, опять во всей их непосредственности. «При высочайшем вашего императорского величества повелении ко мне присланный *Якушкин* для содержания, как злодея, во вверенной мне крепости, мною принят и по заковании его в ножные и ручные железа, посажен в Алексеевском равелине в арестантский покой № I, о чем вашему императорскому величеству всеподданейше доношу. Комендант генерал-адъютант Сукин. С.-Петербургская крепость, 14 января 1826»[2].

Это было 14 января. Просидев, «как злодей», месяц, Якушкин 13 февраля показывал: «Лица, принадлежавшие вместе со мной к тайному обществу, известны мне единственно потому, что я дал им уверение хранить имена их втайне. Доверенность их ко мне обратить во зло, дабы сим уменьшить ответственность мою перед законом, почитаю я нарушением обязанности, совестью моей на меня возложенной; почему, на требование комитета назвать лица, принадлежавшие вместе со мной к тайному обществу,—удовлетворительно отвечать не могу.—Во всем, отно-

[1] «Дело» Рылеева, л. 59.
[2] «Дело» № 35, л. 8.

сящемся до меня лично, употреблю старание отвечать чистосердечно и сколько возможно справедливо.

«1. С 1812 года на исповеди я не был; не имея истинного убеждения в таинстве причастия, не почитал я себя вправе приступить к оному,—тем более, что никакие постановления, мне известные в России, не позволяли видеть в исповеди и причастии единственно обряд наружный.

2. Государю императору Николаю Павловичу на верность подданства я не присягал, ибо мне известно, что в приносящем присягу предполагают веру к исповеданию церкви, которой в себе не чувствуя, я не почитал себя вправе присягнуть по установленному на сей счет порядку» [1].

Да, и среди декабристов были люди, оставшиеся революционерами даже в Петропавловке, даже перед Николаем. Но как их было мало!

[1] «Дело № 352, л. 10.

ЗАСТАВКИ И КОНЦОВКИ

Наказание кнутом на уральских горных заводах в конце XVIII в. Гравюра английского художника Аткинсона . . . 5

Парад царской гвардии перед Зимним дворцом в Петербурге. На первом плане Александр I и его брат Константин. Направо — Зимний дворец, налево — главный штаб, вдали—здание адмиралтейства. (Соврем. немецкая гравюра; из собр. Гос. исторического музея) . . 148

На Сенатской площади 14/XII 1825 г. (Акварель худ. Кольмана, современника восстания; из собр. Гос. исторического музея) 191

Петровский завод, место ссылки декабристов. В центре рисунка — тюрьма, построенная в 1826 г. для «государственных преступников», вдали заводские постройки, рабочий поселок и церковь, возле которой ряд могил декабристов. (Акварель декабриста И. Бестужева (из собр. Гос. исторического музея). 232

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА XI

Стр.

МОНАРХИЯ XVIII В.

1. Бироновщина.

Стр.

Анна и шляхетство: предполагаемые «уступки», к чему в сущности они сводились? торжество петровской традиции 5
Кабинет как преемник верховного тайного совета. 8
Придворные нравы; Бирон; Остерман 9
«Русские» и «немцы», в чем был объективный смысл националистической реакции? . . . 12
Бироновщина и английский капитализм 14
Националистическая реакция и дворянский заговор; осадное положение правительства Анны; дело Долгоруких . . . 17
Англо-французское соперничество и его отражение на русских делах; дворянский заговор и французская интрига; кандидатура Елизаветы Петровны; Lettres Moscovites и дело Волынского 21
Шведский проект: договор царевны Елизаветы со Швецией 25
Крушение бироновщины . . . 27

2. Новый феодализм.

Военный характер нового царствования: лейб-компания; Елизавета — «полковница». Лагерные нравы двора . . . 30
Дворянский режим; роль сената 33
Пережитки бироновщины; Россия и Англия при Елизавете Петровне: Лесток; Бестужев; вел. княгиня Екатерина Алексеевна 34
Переворот 28 июня 1762 г. как окончательная ликвидация «бироновщины» 42
Внутреннее управление; деятельность сената; служебные льготы дворянству: финансовая политика Шувалова 43
Новый феодализм в деревне: вотчина-государство 48

3. Теория сословной монархии.

Политическая теория нового феодализма; олигархические тенденции и необходимость дворянской самообороны . . 53
Предшественники екатерининского «монаршизма»: Салтыков и Волынский . . . 54
Значение Монтескье; *Дух законов и Наказ* Екатерины II; роль, которую приписывают этому последнему, и его действительное значение . . . 56
Дворянские проекты 1767 г.: центральная власть; местное самоуправление; «петровская традиция»: к чему она сводилась на практике? 61
Политические привилегии, неприкосновенность дворянской личности. 65

Стр.

Экономические привилегии дворянства; Ярославский наказ. 66
Вопрос о гарантиях, проекты Щербатова 69

4. Денежное хозяйство.

Распространенное мнение о «натуральном хозяйстве» русских феодалов XVIII в. Ошибочность этого мнения: отзывы современников; проекты Вольного экономического общества; роль денег в личном хозяйстве помещика. 71
Условия перехода к денежному хозяйству; относительное перенаселение центральной России 74
Экономическое разложение феодальной деревни; земледельческий и неземледельческий отход во второй половине XVIII в. 76
Индустриализация крепостного имения; домашняя промышленность, ее размеры; крепостная мануфактура 80
Помещичьи винокурни; дворяне—горнозаводчики 83
Зачатки аграрного капитализма в крепостной деревне: пенька, хлеб; турецкие войны и хлебный вывоз; внутренний хлебный рынок 86
Хлебные цены; их рост в конце века; влияние этого факта на дальнейшее разложение деревни; крушение эмансипационных планов; интенсификация барщины; плантационное хозяйство 91

5. «Домашний враг».

Непрочность положения Екатерины II в первые десять лет ее царствования; попытки дворянского заговора; пугачевщина кладет им конец . . 100
Пугачевщина и разинщина; различие экономических условий 103
Пугачевщина как ответ на интенсификацию барщины; горнозаводские крестьяне; их положение, их волнения; «Петр III» на Урале 104
Тактика уральского движения; карательные экспедиции и их результаты 108

Стр.

Движение яицких казаков; денежное хозяйство и классовая борьба среди уральского казачества; роль в этой борьбе Петербурга 111
Пугачев и его предшественники; начало его карьеры; особенности тактики уральских казаков в 1773 г.; военная роль горнорабочих: пугачевская артиллерия 113
Регулярные войска на службе Пугачева: башкиры и крепостные крестьяне; опасения за «фабричных». Пугачев и духовенство. 119
Дворянская паника, паника в Петербурге и «секретная комиссия»; Екатерина и Павел 122
Политические ошибки Пугачева; их причины; он теряет время: действия Бибикова . 125
Роль Панина; правительственный террор; Екатерина и дворянство в конце пугачевщины 127

6. Централизация крепостного режима.

Административные уроки пугачевщины: «умножение» местных «правительств», наместники 129
Центральная полицейская диктатура; Потемкин; особенности его «фавора», его военные реформы; его церковная и социальная политика . . . 131
Отношение к Потемкину екатерининского дворянства; характеристика нового режима у кн. Щербатова 134
Вырождение потемкинского режима; Зубов 136
Павел Петрович как продолжатель Потемкина и Зубова; безграничное расширение полицейской диктатуры 138
Крестьянская политика Павла; история указа о трехдневной барщине. 141
Павловская демагогия; «желтый ящик», льготы общественным низам, Павел и раскольники, Павел и дворянство 143
Патологические черты павловского режима; неизбежность катастрофы 146

ГЛАВА XII.

АЛЕКСАНДР I.

1. 11 марта 1801 г.

Стр.

Дворянское движение начала XIX в. как реакция против полицейской диктатуры; 11 марта 1801 г. и 14 декабря 1825 г. 148
Экономические условия дворянской революции 1801 г.; внешняя политика Павла и первый заговор против него . 150
Второй заговор; позиция знати: Пален и Беннигсен; участие великих князей и императрицы 152
Гвардия; офицерство и солдаты; отношение последних к Павлу; влияние этого на катастрофу 155
«Народное ликование», поворот во внешней политике 157

2. «Молодые друзья».

Александр Павлович и его кружок; отсутствие самостоятельности, зависимость от екатерининской традиции; «молодые друзья» как представители крупнейшего землевладения; индиферентизм среднего помещика к «реформам», роль самого императора . . 159
Внешняя политика Александра до Тильзита; влияние Чарторыйского; влияние Англии. 164
Внешние неудачи и петербургское общество: начало разрыва между Александром и «знатью» 168

3. Континентальная блокада и дворянская конституция.

Экономические результаты Тильзита; положение «знати» становится безвыходным; лондонская брошюра и разрыв Александра с «молодыми друзьями» 169
Значение Сперанского; интересы крупной буржуазии; континентальная блокада и развитие русского капитализма 174
Сперанский и франко-русский союз; разрыв последнего и катастрофа Сперанского . . 178
Объективные условия деятельности Сперанского и его идеология; проект *буржуазной* конституции; уступки действительности; роль дворянства в проекте 180
Отношение Александра к конституционным проектам; особенности его положения в 1810 г.; близость «катастрофы»; неизбежность мира со «знатью», Государственный Совет. 183
Победа «знати» и падение Сперанского; роль Армфельда . 189

ГЛАВА XIII.

ДЕКАБРИСТЫ.

1. Тайные общества.

Двенадцатый год: поведение «знати»; личная роль Александра I 191
Война и дворянская оппозиция; Растопчин и «мартинисты»; «Русские Рыцари»; проект республиканской конституции. 194
Отражение войны на декабристов: *национализм* д-ов . . 195
Профессиональные черты движения: офицерство и военные поселения 199
Оппозиционное настроение широких дворянских кругов; двусмысленность положения русского помещика начала XIX в.: денежное хозяйство и крепостное право. Декабристы и крестьянский вопрос: опыт Якушкина . . . 202
Буржуазные черты движения: конституционные проекты декабристов: отношение к движению современной русской буржуазии; идеология буржуазии 20-х годов 205
Идеолог буржуазной демократии Пестель и его «Русская Правда» 208
Республиканизм декабристов; его не-буржуазное происхождение; заграничные примеры, влияние дворянской традиции. 211

2. 14 декабря.

Тайные общества и Александр I; влияние западно-европейских

Стр.

революций; семеновская история, проекты переворота . . . 214
Смерть Александра; вопрос о престолонаследии 219
Николай Павлович 221
Николай и либеральное офицерство; влияние гвардии на решение вопроса о престолонаследии; роль Константина. 223
Подготовка coup d'etât, с одной стороны, вооруженного восстания, с другой: тактика обеих сторон: Ростовцев; социальн. подкладка конфликта 226
Народное движение 14 декабря: отношение к нему декабристов; причина их неудачи . . 229

ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Предисловие к «Пугачевщине» 233
2. К вопросу о пугачевщине. 243

Стр.

3. Александр I 248
4. Декабристы (Легенда и действительность) 251
5. Список заставок и концовок 271

КАРТЫ.

1. Колониальные захваты 1725—1825 гг.
2. Сельское хозяйство в конце XVIII в.
3. Промышленность во II пол. XVIII в.
4. Промышленность в I четв. XIX в.
5. Русский экспорт в начале XIX в.
6. Сибирь.
7. Движения националов 1735—1771 гг.
8. Пугачевщина.
9. Декабристы. Схема движения Черниговского полка.

Редактор **Н. Вапаг.** Техн. редактор **Р. Шапиро.**

Сдано в производство 3/VI 33 г. Подписано к печати 3/XII 33 г. Огиз С-4-41 № 1167. Формат 62×94¹/₁₆ 17¹/₄ п. л. по 48 256 зн. в п. л.+9 карт. вклеек. Тираж 40 000 экз. Уполномочен. Главлита Б-35 055. Заказ № 702

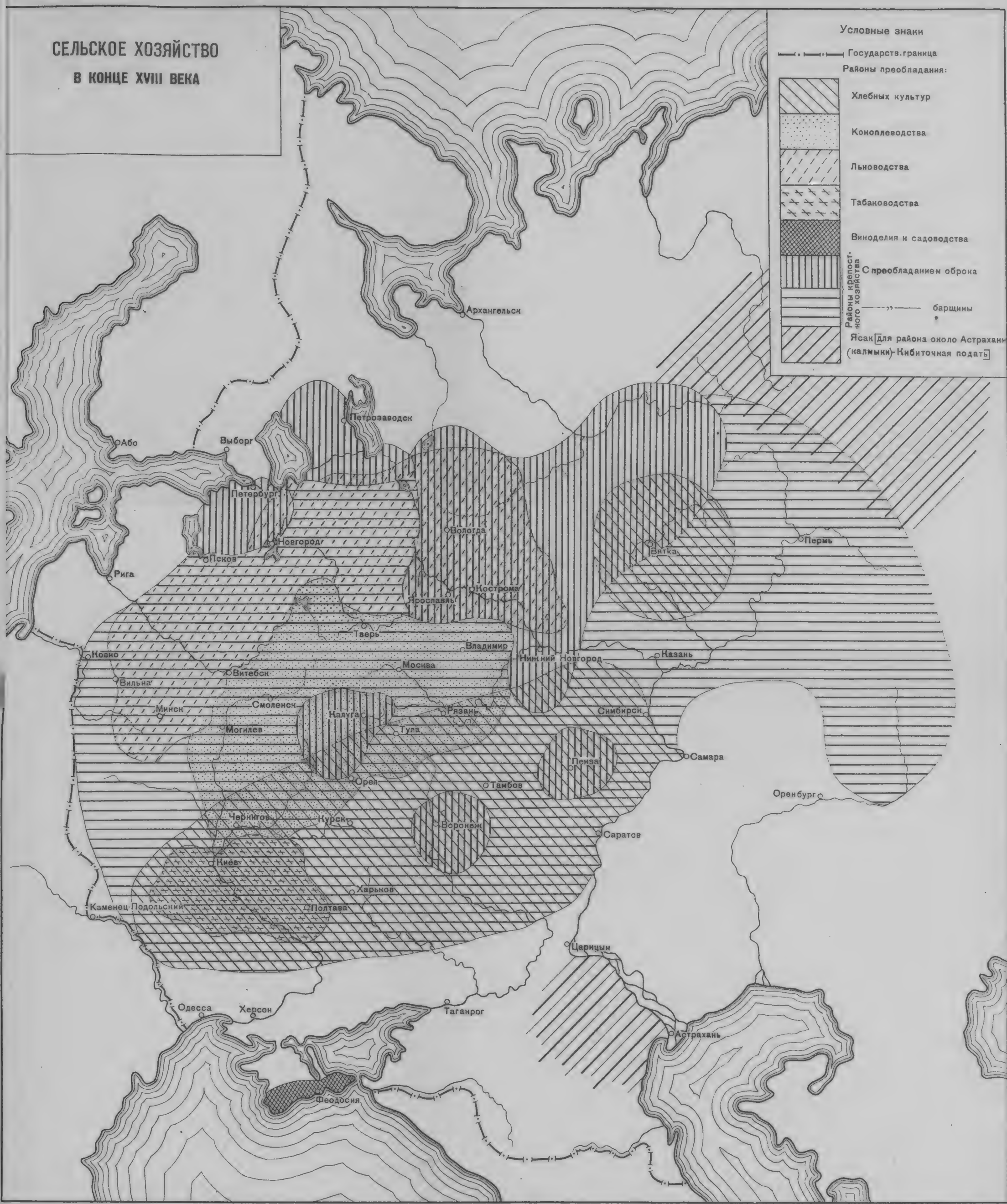
Отпечатано в 16 типографии «Полиграфкнига», Москва, Трехпрудный, 9.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ
1725–1825 гг.

1809
1743
1815
1812
1774
1774
1783
1785
1818
1784
1803
1804
1804
1820
1813

Або
Гельсингфорс
Выборг
Стокгольм
Ревель
Петерб.бург
Новгород
Псков
Рига
Данциг
Кенигсберг
Ковно
Вильна
Витебск
Гродно
Познань
Ломжа
Минск
Могилев
Смоленск
Варшава
Радом
Бреславль
Люблин
Краков
Владимир Волынский
Львов
Чернигов
Киев
Каменец-Подольский
Полтава
Очаков
Кинбурн
Азов
Севастополь
Харьков
Орел
Курск
Воронеж
Тула
Калуга
Рязань
МОСКВА
Тверь
Ярославль
Кострома
Владимир
Нижний Новгород
Вологда
Вятка
Пермь
Екатеринбург
Казань
Уфа
Симбирск
Самара
Пенза
Тамбов
Саратов
Оренбург
Уральск
Царицын
Астрахань
Дербент
Баку
Карс
Эрзерум
МИНГРЕЛИЯ
ИМЕРЕТИЯ
ГРУЗИЯ
Тифлис
ДАГЕСТАН
АЗЕРБЕЙДЖАН

Захваты 1725–1800 гг.
Земли захваченные по 1-му разделу Польши в 1772 г.
„ „ 2 „ „ 1793
„ „ 3 „ „ 1795
Земли захваченные в 1800 – 1825 гг.
Граница Польши до 1772 г.
Государственная граница в 1825 г.


СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В КОНЦЕ XVIII ВЕКА
Условные знаки
Государств. граница
Районы преобладания:
Хлебных культур
Коноплеводства
Льноводства
Табаководства
Виноделия и садоводства
Районы крепостного хозяйства
С преобладанием оброка
барщины
Ясак [для района около Астрахани (калмыки)-Кибиточная подать]
Архангельск
Петрозаводск
Або
Выборг
Петербург
Новгород
Псков
Рига
Вологда
Кострома
Ярославль
Тверь
Владимир
Нижний Новгород
Вятка
Пермь
Казань
Ковно
Витебск
Москва
Вильна
Минск
Смоленск
Калуга
Рязань
Симбирск
Могилев
Тула
Пенза
Самара
Орел
Тамбов
Оренбург
Чернигов
Курск
Воронеж
Саратов
Киев
Харьков
Каменец-Подольский
Полтава
Царицын
Одесса
Херсон
Таганрог
Астрахань
Феодосия

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВО II ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

Архангельск
Петрозаводск
Рэвель
Петербург
Новгород
Псков
Рига
Ковно
Вильна
Витебск
Смоленск
Минск
Могилев
Ярославль
Тверь
Владимир
Москва
Нижний Новгород
Калуга
Тула
Рязань
Орел
Тамбов
Пенза
Симбирск
Самара
Казань
Вятка
Пермь
Соликамск
Екатеринбург
Уфа
Оренбург
Воронеж
Саратов
Черниго́в
Курск
Киев
Харьков
Полтава
Екатеринослав
Царицын
Таганрог
Азов
Херсон
Астрахань

Условные знаки

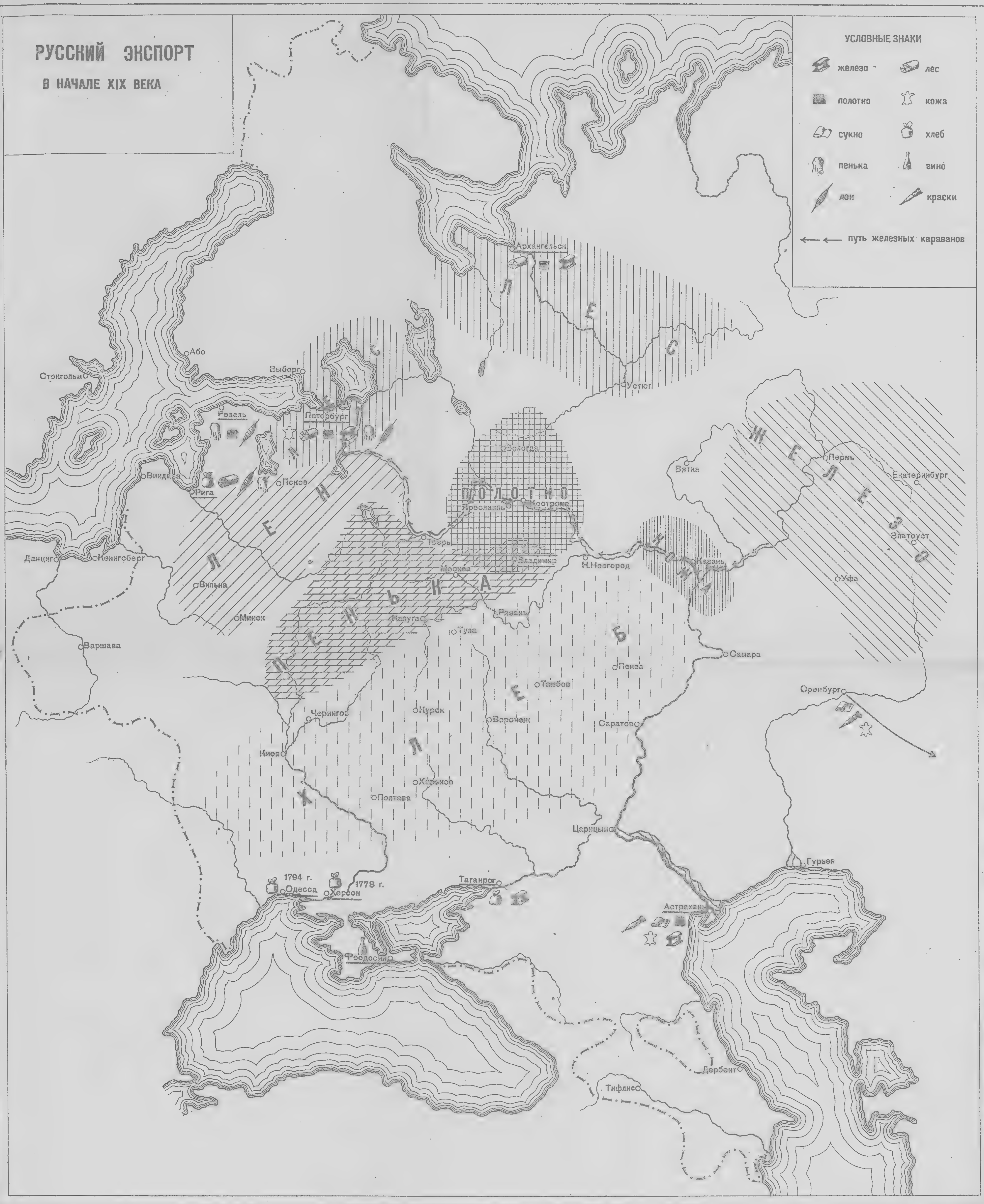
- Государственная граница
- Судостроение
- Металлург. заводы
- Золотые прииски
- Текстильные фабрики
- Кожевенные заводы
- Силикатные —„—
- Писчебумажные фабрики
- Крупные солеварни и места добычи
- Промышленные районы
- Районы сосредоточения крестьянской и купеческой фабрики

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Архангельск
Петрозаводск
Або
Выборг
Ревель
Петербург
Новгород
Псков
Рига
Валдай
Сольвычегодск
Устюг
Вологда
Галич
Кострома
Ярославль
Тверь
Торопец
Владимир
Нижний Новгород
Москва
Вильна
Смоленск
Калуга
Рязань
Тула
Минск
Могилев
Варшава
Орел
Чернигов
Курск
Воронеж
Тамбов
Пенза
Киев
Харьков
Полтава
Каменец-Подольский
Екатеринослав
Кишинев
Вятка
Пермь
Екатеринбург
Казань
Уфа
Симбирск
Самара
Оренбург
Саратов
Царицын
Астрахань
Ставрополь
Моздок
Тифлис

Условные знаки

- Металлургическая промышленность
- Текстильная ——,,——
- Силикатная ——,,——
- Писчебумажная ——,,——
- Кожевенная ——,,——
- Золотые прииски
- Салотопенная и мыловар. промышленность
- Промышленные районы
- Районы с преобладанием вольно-наемного труда
- Государств. граница


РУССКИЙ ЭКСПОРТ
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
железо
лес
полотно
кожа
сукно
хлеб
пенька
вино
лен
краски
путь железных караванов
ЛЕС
ЛЕН
ПОЛОТНО
ПЕНЬКА
ХЛЕБ
КОЖА
ЖЕЛЕЗО
Архангельск
Устюг
Вологда
Або
Стокгольм
Выборг
Петербург
Ревель
Виндава
Рига
Псков
Данциг
Кенигсберг
Вильна
Минск
Варшава
Тверь
Ярославль
Кострома
Владимир
Москва
Н.Новгород
Казань
Вятка
Пермь
Екатеринбург
Златоуст
Уфа
Рязань
Калуга
Тула
Пенза
Самара
Тамбов
Чернигов
Курск
Воронеж
Саратов
Оренбург
Киев
Харьков
Полтава
Царицын
Гурьев
1794 г.
Одесса
Херсон
1778 г.
Таганрог
Астрахань
Феодосия
Дербент
Тифлис

СИБИРЬ
В 1725-1825г.г.

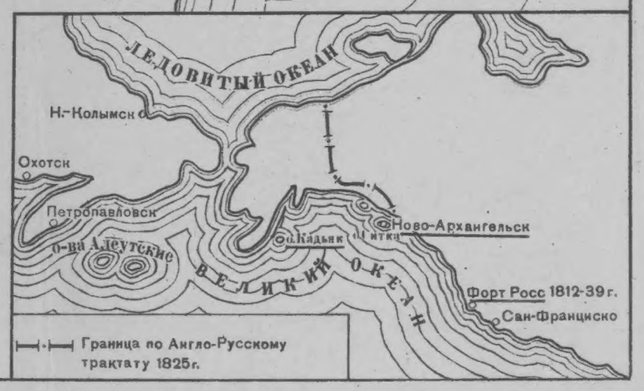
Архангельск
Русское Устье
Нижне-Колымск
Гижига 1775г.
Петропавловск 1740г.
Охотск
Вятка
Казань
Пермь
Екатеринбург 1723г.
Ирбит
Тобольск
Тюмень
Ялуторовск
Ишим
Оренбург 1743г.
Троицк 1743г.
Курган
Орск 1736г.
Петропавловск 1752г.
Омск
Сургут
Нарым
Туруханск
Верхоянск
Якутск
Олекминск
Енисейск
Томск
Ачинск
Красноярск
Кайск
Барнаул 1738г.
Кузнецк
Ямышевская
Бийск
Колыванский 1725г.
Семипалатная
Усть-Бухтарминская 1763г.
Минусинск
Усолье
Иркутск
Верхнеудинск
Селенгинск
Кяхта 1730г.
Нерчинск
Албазин
Удский острог

Условные знаки

- Госуд. граница 1725-1825 г.г.
- Крепостная линия средины XVIII в.
- Границы губернск. деления 1775г.
- Медно-плав. заводы
- Серебро-плавильн. заводы
- Суконные фабрики
- Золотые прииски
- Соляные промысла
- Путь в Китай
- Ярмарки

Города без указания даты основаны ранее 1725 г.

- Район ясака
- Захваты XVIII в. (после 1725 г.)



ДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛОВ
1735—1771 г.

Устюг
Соликамск
Тобольск
Ирбит
Пермь
Кунгур
Ярославль
Челябинск
Н Новгород
Казань
Мензелинск
Москва
Уфа
Бугульма
Симбирск
Бугуруслан
Самара
Бузулук
Пенза
Оренбург
Орская
Саратов
Уральск
Царицын
Черный Яр
Гурьев
Красный Яр
Астрахань

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:

Район восстания Кара—Сакала 1735—40 гг.

Район восстания Батырши 1754—55 гг.

Район калмыцких движений

Путь калмык. в Джунгарию в 1771 г.

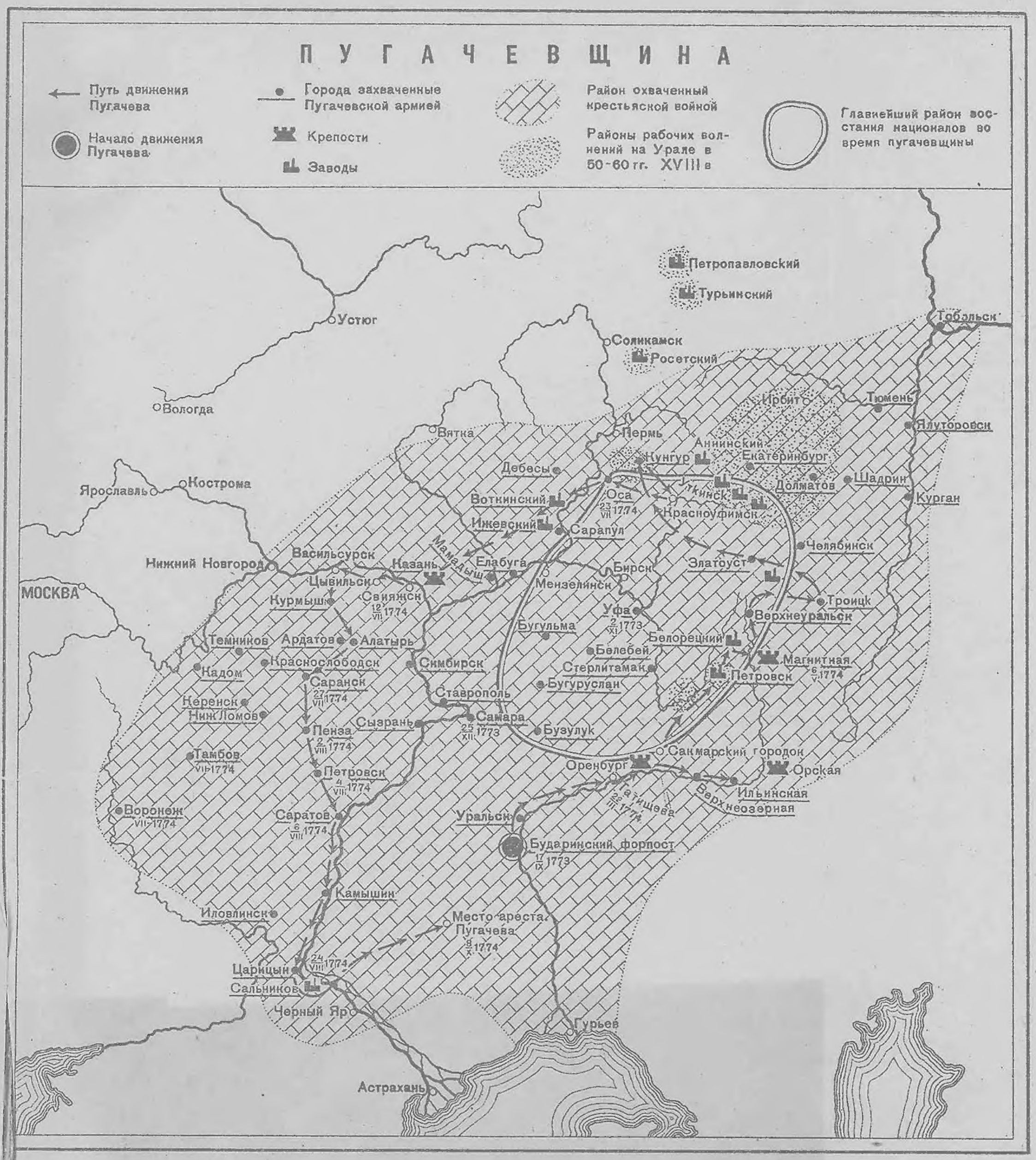
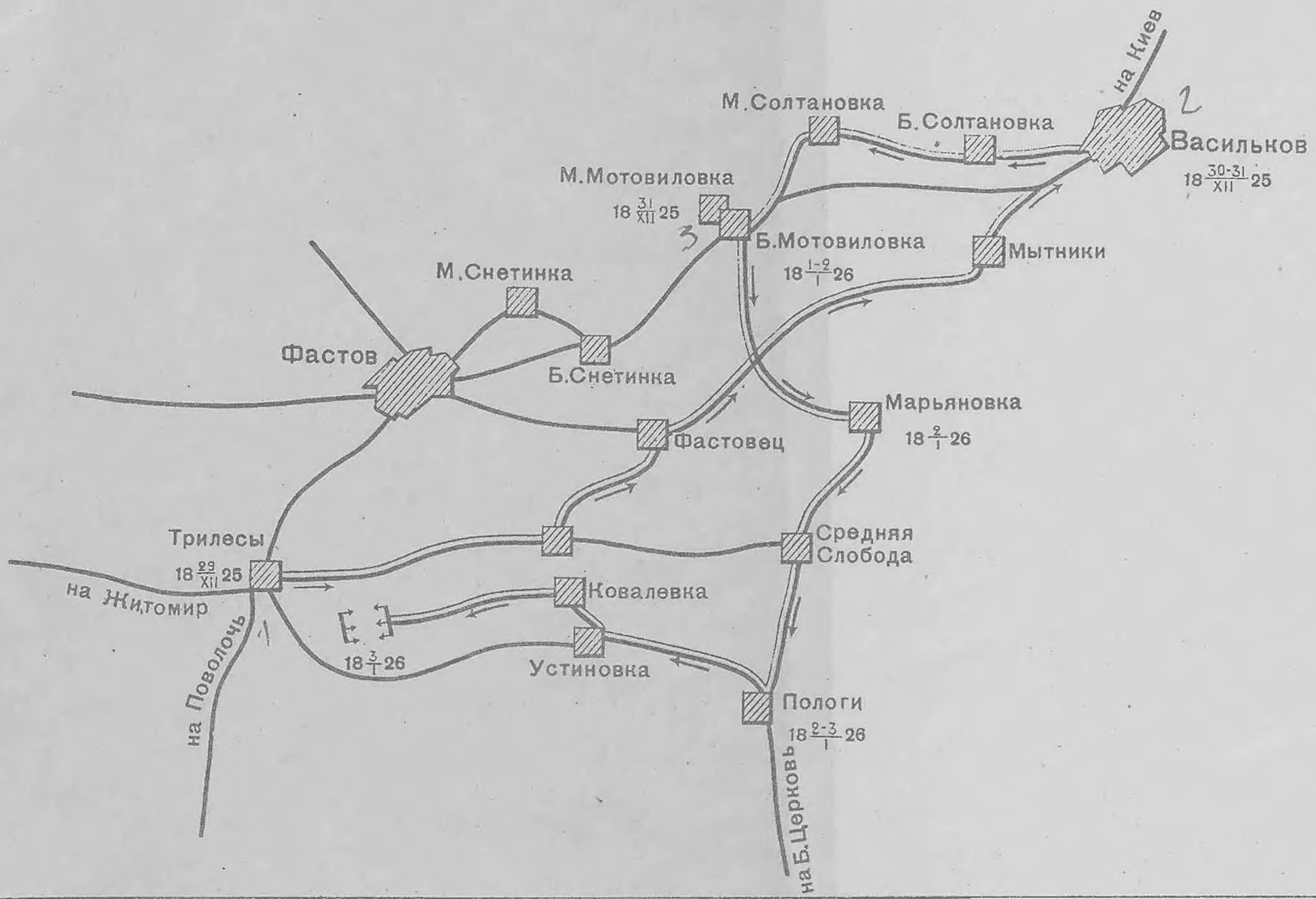

ПУГАЧЕВЩИНА
Путь движения Пугачева
Начало движения Пугачева
Города захваченные Пугачевской армией
Крепости
Заводы
Район охваченный крестьяской войной
Районы рабочих волнений на Урале в 50-60 гг. XVIII в
Главнейший район восстания националов во время пугачевщины
Петропавловский
Турьинский
Устюг
Соликамск
Росетский
Тобольск
Вологда
Ирбит
Тюмень
Ялуторовск
Вятка
Пермь
Аннинский
Кунгур
Екатеринбург
Дебесы
Долматов
Шадрин
Ярославль
Кострома
Оса
23/VII 1774
Уткинск
Курган
Воткинский
Красноуфимск
Ижевский
Сарапул
Челябинск
Нижний Новгород
Васильсурск
Казань
Мамадыш
Елабуга
Бирск
Златоуст
Цывильск
Мензелинск
МОСКВА
Курмыш
Свияжск
12/VII 1774
Уфа
2/XI 1773
Троицк
Верхнеуральск
Бугульма
Темников
Ардатов
Алатырь
Белорецкий
Белебей
Краснослободск
Симбирск
Магнитная
6/V 1774
Кадом
Стерлитамак
Петровск
Саранск
27/VII 1774
Бугуруслан
Ставрополь
Керенск
Ниж Ломов
Сызрань
Самара
25/XII 1773
Пенза
2/VIII 1774
Бузулук
Сакмарский городок
Тамбов
VII 1774
Оренбург
Орская
Петровск
4/VIII 1774
Татищева
22/III 1774
Ильинская
Верхнеозерная
Воронеж
VII 1774
Саратов
6/VIII 1774
Уральск
Бударинский форпост
17/IX 1773
Камышин
Иловлинск
Место ареста Пугачева
8/X 1774
Царицын
24/VIII 1774
Сальников
Черный Яр
Гурьев
Астрахань

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

восставшего Черниговского полка с $\frac{29}{XII}$ 1825 г. по $\frac{3}{I}$ 1826 г.